

Независимый альманах

КОНЕЦ ВЕКА





Литературный
альманах
"КОНЕЦ ВЕКА"

учрежден молодыми
писателями Москвы. В
1991 году выйдут шесть его
номеров. Мы возвращаем
запрещенные цензурой имена и
открываем новые таланты.

Желающие читать "КОНЕЦ ВЕКА"

№№ 4,5,6! Наш расчетный счет № 609871
в Дзержинском отделении ЖСБ г. Москвы,
МФО 201638. Перечислив 27 рублей на наш счет
(цена номера, стоимость справочных материалов о
будущих номерах и книжных приложениях, а также
почтовых расходов по доставке), копию сбербанковской
платежки высылайте, пожалуйста, по адресу: 103055,
Москва, К-55, аб. ящик 95. К сведению деловых людей!

Искусственный бумажный "голод" тормозит выход очередных
номеров альманаха "КОНЕЦ ВЕКА", мешает сделать его
периодическим! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество!
Помогая защищать свободу слова, вы защищаете право на свой
выбор! Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации!

СОДЕРЖАНИЕ

Эхо. Петр ПАВЛЕНКО
Из книги "Путешествие в Туркменистан"
5

Владимир МАКАНИН
Лаз. *Повесть*
6

Юрий БАЛАБАНОВ
Штучки
66

Борис СЛУЦКИЙ
Между столетиями
71

Анатолий ГЛАДИЛИН
Туман в Анн-Арборе. *Рассказ*
72

Владимир ПАЛЕЙ
Стихи
100

Вячеслав ПЬЕЦУХ
Два рассказа
108

Эхо. Владимир КОНАШЕВИЧ
Фрагмент из книги "Воспоминаний"
123

Виктор КОКЛЮШКИН
Повинуйся! *Повесть*
124

Виктор СУВОРОВ
Аквариум. *Повесть*
180

Татьяна БЕК
Я не желаю тесниться в единой обояме...
321

Юрий ДОМБРОВСКИЙ.
Книга стихов
323

Независимый литературно-художественный и общественно-политический альманах "КОНЕЦ ВЕКА".

Выходит с января 1991 года.

Над номером работали:

Юрий КАЛЕЩУК

Владимир ЛОКТИОНОВ

Александр НИКИШИН

(главный редактор альманаха)

Виталий САВЕНКОВ

Игорь ШЕИН

(главный художник)

Виктория ШОХИНА

К сведению уважаемых авторов! Наш адрес: 103055, Москва, К-55, абонентный ящик 95. Рукописи, представленные к рассмотрению, не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на "Конец века" обязательна.

© Независимый альманах
"Конец века". 1991.

© СП ИВО-Сид. 1991.

КОНЕЦ БЕРКА





ПЕТР ПАВЛЕНКО

1899 — 1951

Мне говорил в Ашхабаде человек почтенных лет и когда-то знатного рода:

— Мы, наш род, были всегда в почете у русских. Мой отец позировал Верещагину. Портрет его висит в Третьяковке. Не помните?

Я не вспомнил.

Он объяснил мне, иронически улыбаясь:

— Помните виселицу перед крепостными воротами? Когда Верещагин захотел написать повешение, Скобелев велел срочно вздернуть ему для натуры несколько текинцев. Под рукою никого не было, кроме отца и двух его сородичей. Они пришли для переговоров, но ведь искусство прежде всего. Я часто езжу в Москву посмотреть на отца.

Он помолчал и сказал, не ожидая ответа:

— Хороший художник. Теперь его убрали в подвал, и мне приходится хлопотать особое разрешение, чтобы посетить отца. Я не виноват, что моя родовая могила в русском искусстве.

Павленко Петр Андреевич — советский писатель, неоднократный лауреат Сталинской премии, автор неизвестной литературной "панамы" под названием "Счастье" (роман, опубликованный в 1947 году). Приведенный фрагмент взят из очерковой книги "Путешествие в Туркменистан", изданной в 1932 году.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

ЛАЗ

Повесть Владимира Маканина “Лаз” нова во всех смыслах. Прежде всего она являет новое качество необыкновенной маканинской прозы. Но это и новый “образ мира”, в котором мы вдруг, неожиданно, с точки зрения обыкновенного человека, оказались и к которому столь тяжко и мучительно приноравливаемся. Речь не только о быте, скудном и трудном, не только о политике, шумной, митинговой и по-российски сюрреалистичной, не только о причудах массового сознания или интеллигентских рефлексий, не только об угрозе, исходящей от толпы, мы все — толпа, даже самые умные и независимые... Находящиеся на историческом перевале, на стыке времен — конец века не шутка! — мы не способны пока постичь все измерения нового бытия, весь объем его и весь его (да не убоимся высокопарности) судьбоносный пафос. Да, мы на перевале, а за перевалом — что?.. Немногим, очень немногим дано это высшее знание, но тот, кто читает “Лаз”, сможет хотя бы прикоснуться к нему.

1

НЕРЕШИТЕЛЬНАЯ КОШКА У ДВЕРЕЙ. То есть она у самых дверей. Ни туда, ни сюда. И конечно, мешает ему прикрыть дверь. “Ну?.. В дом? или на улицу?” — торопит ее Ключарев интонацией голоса, после чего захлопывает дверь квартиры и быстро спускается вниз. Обогнав кошку (она мягко прыгает по ступенькам лестницы), Ключарев выходит на улицу.

Он думает вдруг о смерти своего приятеля Павлова — как умер? каковы подробности?.. Он ничего не знает. В толпе, в давке движения погребло две сотни народу, если считать только на проспекте. Толпа не считает. (Но ведь Павлов там не был.)

О том, что улица пуста и что многие жители прячутся в квартирах за плотно зашторенными окнами, Ключарев старается не думать. Конечно, без людей диковато. Но нет людей — нет и опасности. На улице тепло. Вечереет. Но еще не ночь. Ощущение уличного тепла таково, что вот-вот раздастся свист и хлынут толпой некие люди, а с ними убийства, грабежи, попрание слабых, — ощущение тяготит, и как тут не пасть духом. Но в то же время на улице пусто. Тихо. Это и есть жизнь... — так колеблются его тонкие, пугливые мысли интеллигента, сам же Ключарев шагает.

Если посмотреть сейчас сверху — опустевший город, ни людей, ни движущихся машин (есть отдельные мертво стоящие машины на обочинах, но они еще более подчеркивают общую статичность). Пустые тротуары. По глянцевой улице движется один-единственный человек, он в свитере, в шапочке с помпоном, помпон чуть припрыгивает во время его хода. Этот человек — Ключарев, наш старый знакомец. (Он несколько постарел; потускнел; виски поседели уже сильно, проседь в волосах. Но еще крепок. Мужчина.)

Во время движения он иногда как-то странно на ходу подергивает телом, словно у него на боку под свитером и под рубашкой не вполне зажившая ссадина (так оно и есть, притом несколько ссадин). Вязаная легкая шапочка с помпоном (похоже, что лыжная) натянута на голову. Завершая свитерно-брючную обыденность, лыжная шапочка делает его чудаковатым. (Ключарев с этим не согласен. Он видит в шапочке проделавшую долгий путь логику его интеллигентности, которая нашла скромный вызов и одновременно защитную форму. Но не мимикрия.)

Свист и впрямь раздается, когда Ключарев проходит мимо третьей по счету пятиэтажки. Ключарев приостановился. Оглядывается. Нет. Нигде ни души. (Что ж, кто-то мог свистнуть и просто так.)

Продолжая путь вдоль ровно стоящих пятиэтажек, он выходит знакомой асфальтовой тропой к пустырю — пустырь переходит в разнотравье, а тропа из асфальтовой становится обычной тропой, узкой, петляющей в траве. Тропа еще хорошо различима. Вот и приметные два куста конского щавеля, высоко выбросившего свои метелки. Ключарев подходит к узкому лазу в земле, или к дыре, как он этот лаз окрестил; он привычно постукивает ногами, чтобы не тащить с собой в дыру лишнюю грязь. (Когда дождь, он счищает налипшую грязь о жесткую траву. Но дождя нет. Слава богу.)

Свесив в дыру ноги, Ключарев сидит и некоторое время решается на спуск. Затем спускается, правильнее сказать, протискивается. Тело его трется о края дыры, окорябиваясь о неровности, но не обдираясь. (Иногда в дыру спускаешься довольно легко.) И тут же, подумавший о легкости спуска и забывший об осторожности, Ключарев острым торчащим кремнем вспарывает на боку старую, уже было запекшуюся ссадину. Ч-черт. Рубашка сразу намокла, разумеется, кровь. А оборвавшиеся пуговицы рубашки полетели вниз. Ключарев еще только спустился до горловины (до середины), а пуговицы уже летят вниз много прежде него, и даже слышно, как они там внизу звенькают. Горловина узка. Тело Ключарева делает умелое вращательное движение, вкручивается, на миг ему перехватывает от стиснутости дыхание, но только на миг — он уже пролез, тело его висит теперь над пещерным пространством, но только не над темным, а над освещенным пространством довольно большого зала, где стоят столики и за столиками сидят и беседуют, пьют вино люди.

По лестнице-трапу (что-то вроде высокой стремянки), ступая ногами на металлические прутья, Ключарев спускается — и попадает уже внутрь этого красивого помещения, с ярким полом в крупную шахматную клетку. Темные и белые большие квадраты разбросаны по всему полу. Спустившись, Ключарев ступает на один из них, тут же находя и две свои пуговицы.

Погребок шумит: люди пьют, разговаривают. (В сущности, Ключареву нужна была лопата, хорошая обычная лопата с гладким черенком, но, конечно, он не может сразу же и спешно пойти ее покупать.) Он видит Андрея Башкина, Северьяныча и Таню Еремеву, они машут ему рукой. В них уже не только сходство, уже родство. Ключареву все равно проходить мимо них. Вероятнее всего, они искренно машут ему, зовут подойти, побыть с ними (оттенки! — тут ведь никогда до конца не знаешь), и Ключарев подходит, он тоже рад их видеть. Наливают в стакан вина, приветствуют радостно и шумно, подвигают блюдец с орешками, — ну как? как ты там живешь?.. небось хочешь пообщаться, поговорить? — спрашивают чуть не хором, зная его тягу.

— Хочу. Очень! — отвечает он очевидностью на очевидный вопрос, так что они, угадавшие, дружно смеются.

— Ну, молодец! молодец!.. рады тебя видеть! Садись!.. Что пить будешь?

Тут же находят ему стул (слегка побранившись с кем-то и пошучивая, оттаскивают для него стул от соседнего столика) — Ключарев не собирается с ними засиживаться, но, конечно, сидит, с удовольствием сидит, держа в руках стакан и отхлебывая глотками темное вино (вино холодновато, он греет его руками). Он слушает продолжающийся их разговор о том, что есть по сути своей современное общество: община? или артель?.. если община уходит корнями вглубь, то артель — это уже организация. Ключарев только-только вслушивается, он получает удовольствие, он тоскует по разговору, когда к столику подходит Никодимов, как всегда деловой. Он дружески кладет Ключареву руку на плечо и наклоняется к нему (чтоб говорить негромко):

— Виктор, пойдем. Обещаю тебе — там ровно на одну минуту.

Ключарев наспех бросает в рот два орешка. Они солоноваты, хорошо очищены. Ключарев хотел бы еще посидеть, но Никодимов просит:

— Витя, я уже пообещал, что как только ты появишься — приведу. Ну, выручи меня. Не подводи.

Ключарев кивает всей компании, умной и приятной ему, — мол, вернусь. Вдвоем Ключарев и Никодимов идут меж столиков через весь этот погребок-ресторан и выходят, сворачивая в длинный коридор с великолепным мягким освещением. Здесь, как на улице в яркий день, всегда светло. Со вкусом и талантом так сделано, что и не угадать, где источники света. Никодимов идет чуть впереди. Ага. Вот и офис. Ключарев чувствует, что идет он туда, в редакцию, за Никодимовым безо всякого желания; и ведь будет там без желания что-то говорить. Ему это не нужно. В сущности, ему нужна лопата. Обычная лопата. Ну не смешно ли?

Они входят через вертящуюся дверь. “Со мной он“, — просто сообщает Никодимов вахтеру, ведя Ключарева вперед.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ. Так они сказали. Кругом стеллажи книг. Девушка за пишущей машинкой. В углу постукивающий телекс, автоматически принимающий сообщения извне. И два человека за письменным столом. Оба — сидящие мужчины. Когда Никодимов и Ключарев входят, оба журналиста встают с вертящихся кресел. Представляются.

А Никодимов называет, кого он привел (пригласил):

— Ключарев.

— Да, да, — оба благосклонно кивают. Заинтересованы.

Говорят — рады, мы вам очень рады, и помните, пожалуйста,

помните: любая информация нам интересна. Мы ведь в одной стране, но, спеленутые жизнью, мы от той половины оторваны. Так получилось. Мы ведь страдаем. Та жизнь — это тоже наша жизнь, поймите нас правильно... Ключарев понимает. (Он кивает в знак честного согласия и понимания их.)

Он понимает (и немного досадует: вдруг они предложат деньги. Но им хватает такта. Они же знают, что там, на темнеющих улицах города, деньги мало что значат). Когда Ключарев только вошел, он был для них, несомненно, лишь деловым моментом — делом. Но вот теперь их лица не могут скрыть растерянности. Они не знают, о чем спросить. Они вдруг (в голосе боль) спрашивают, нет ли на улицах, не валяются ли убитые, не видел ли Ключарев.

— Не видел, — отвечает он.

Разговор иссяк. Ключарев, кивнув им, уходит. Один из них идет за Ключаревым вслед, вдруг торопится и говорит на прощанье, что сам он жил в Мневниках, а первые годы почти в центре, на Таганке, — обе родные улицы и посейчас стоят перед глазами.

Когда Ключарев и довольный визитом Никодимов выходят, сознание Ключарева (до этой минуты совершенно ясное) начинает путаться. Глаза его не умеют найти опору. Вертящаяся на выходе дверь, которую они миновали, все еще вертится и вертится — дверь становится огромной и теперь вертится медленно, плавно. “Виктор!..” — слышит он вскрик Никодимова, но какой-то далекий вскрик. Он едва не падает. Ухватившийся за косяк дома, он стоит и прощается с Никодимовым. “До свидания, Виктор”. — “Будь здоров”.

Но едва Ключарев сворачивает за угол, как ему снова плохо, и только тут он осознает, что головокружение и что так остро болит рана в боку. “Надо бы в медпункт”, — говорит он самому себе. Аптеки здесь на каждом углу. Где-то близко должен быть пункт первой помощи.

Фонари освещения сделаны под старину — а не просто гнутые столбы с головой кобры. Фонарики пригнаны, словно бы прилеплены к стене, провисая старомодными коробочками прекрасных пушкинских времен. Из них льется не давящий на глаз, но достаточно яркий свет (так что лица яркие, надписи яркие, можно читать!). Приятно идти. Коридоры, сверкая, раздаются вширь — уже улица. Стены домов вдоль улицы всюду с легким рисунком, этакая не прерывающаяся фреска, прыгающая со стены на стену. Конечно, есть иногда мальчишьи надписи. Подростки всюду одинаковы и с удовольствием пробуют себя на границе мата и речи. Но творчество их аккуратно стирается, зарисовывается вновь: борьба за пространство... На этом рассуждении Ключарева (отчасти бредовом, но опирающемся на виденную реальность) медицинская сестра делает ему укол.

Врач и сестра занимаются Ключаревым, он лежит, и в глазах его мягкое освещение потолка. Да, освещение здесь — чудо. Радостное (другого слова и не подберешь) отсвечивание стен, красивые светлые календари, и даже их белые медицинские халаты собирают в себя (помимо обязательной чистоты) частицы этого рассеянного теплого света. Ключарев знает, что он в маленьком пункте, где первая помощь. Но и здесь нет пугающей стерильности. И топчанин как тахта: лежи себе. И когда Ключарев выйдет, ну, через полчаса или сколько там займет времени, свет не переменится — свет словно пройдет с Ключаревым вместе, превращаясь в мягкую подсветку коридоров, в неущербные фонари улицы, а в том погребке-ресторане, где остались Северьяныч и Таня Еремеева, освещение сомкнется над столиками в желтоватый, добрый свет уюта, который будет вполне гармонировать с теплыми кремовыми скатертями...

Тем временем врач говорит:

— Рана запеклась. Но, разумеется, потом открылась. И был шок от боли. Однако крови вы потеряли немного, так что госпитализация ненадолго...

Они осматривают его уважительно, как осматривают, скажем, известного спортсмена. Вероятно, таков стиль. И, конечно, преувеличивают. Но Ключарев уже почувствовал некоторую искусственность их заботы. Говорит спокойно, но им понятно — что вы, доктор, какая госпитализация. Мне надо идти.

Сестра закончила обламывать очередные ампулы.

Врач в завершение постукивает пальцем еще по одной, по красенькой ампуле. Называет препарат и назначает:

— Три укола в область плеча. Там связка неладна. Застарелое что-то. (Что-то нес тяжелое?..)

Ключарев вспоминает о не сделанных еще своих покупках и — в связи с этим — вновь думает об умелом здесь освещении: удивительны их светильники возле магазинов, яркие, но не настолько, чтобы притушить прыгающую неоновую надпись. Кроме того, светильники прожекторного типа направлены откуда-то извне, как удар шпаги, на тот или иной товар, так что товары ты отлично видишь, но опять же товар не отсвечивает, а поглощает свет. (За счет поглощения становится емче, выпуклее.)

Вероятно, после шока это как бред, навязчивая мысль о светильниках. (Первое, что Ключарев увидел, когда открыл глаза, это медсестра и в ее руках ампулы — ампулы отбрасывали свет светильников и горели, вспыхивая, как звездочки.)

Сестра делает укол за уколом, в то время как врач, сидя на стуле напротив Ключарева, рассуждает — это удача, что вы упали неподалеку. Разве вы не упали?.. А вы теряли раньше сознание? Нет?.. Значит, болевой шок. Но в общем чепуха. Не стану вас больше пугать... И вот тут, не меняя интонации разговора, он как бы са-

мо собой разумеющееся спрашивает — ну, как там сейчас наверху? Ключарев отвечает: “Так же, как и раньше”. “Конечно, конечно”, — говорит доктор. (Принимать насилие за испытание.) И говорит Ключареву — ну-ка встаньте. Ключарев встает. Ключарев видит себя в отсвете стеклянного шкафа, где лежат их стерильные салфетки и бинты. Видит себя сбоку: обработанная рана, как всегда, кажется страшнее, чем на самом деле. Ну и вид. Но чувствует он себя хорошо. Топает показательно ногами. Машет руками. Плечо чуть побаливает. “Нет, нет... Это у вас что-то со связкой. Старое ваше”, — говорит доктор.

Ключарев одевается. Благодарит. Забирает свою рубашку, свою лыжную шапочку с помпоном (знак интеллигента), а также свитер со спинки стула. Бинт на груди сидит плотно, ничуть не мешает. Доктор рассказывает, как важна повязка и как умело сестра Таня обрабатывает раны, она еще до прихода врача сделала все существенное, такая умненькая. Уходя, скажите и ей доброе слово.

Ключарев выходит из медпункта, ощущая на теле все четыре наклейки, где йодистый пластырь, но к ним, говорят, скоро прикнешь. Зато сам бинт при движении не чувствуется.

Теперь бы стопку водки.

СТОПКА ВОДКИ. Он вошел туда, где люди выпивали стоя, если люди стоят — значит, будет быстро. Он замечает автомат, ага, полтинник!.. стаканчик уже вставлен. Ждет. И даже в маленьком этом питейном помещении светильники мягки и замечательно запряты. Свет и свет, а откуда — неясно. Ключарев бросает полтинник в щель автомата, сосредоточивая взгляд на своей монете, чтобы не промахнуться, и... только теперь замечает светильник! На серебристой грани полтинника отраженно мелькнула лампа — вот она где! С улыбкой угадавшего, Ключарев чуть перегибается через разменный прилавок, заглядывает — да, вот и лампа. Так хорошо они ее разместили. Так хитро. Лишь полтинник, как его третий глаз, приметил лампу — все правильно, глаз не любит, чтобы свет давил на сетчатку. Возможно, и свет не любит давить на глаза. Взаимность. Ключарев в два глотка выпивает водку и выходит, уже слыша живительную влагу и быстрое пробуждение тела.

ЛОПАТА. Оторванные пуговицы на рубашке не смущают Ключарева, сверху свитер. И вообще он идет в хорошем настроении. Если о внешности, он больше боится за брючный ремень, от спусков через узкий лаз и от протискиваний по лазу вверх ремень постоянно перетирался. Ключарев попросту боится, что брюки однажды упадут, — может, ему и ремень купить, пока он тут? На углу Ключарев видит добротный ресторан, люди там едят и пьют неспешно. Чинно сидят. Умеют. Ага, за рестораном пошли наконец

мелкие магазинчики и киоски — то, что ему нужно. Газетный открыт. С конфетами и с напитками — тоже. Магазинчиков полно, и все они открыты, но Ключарев тут покупать не спешит; ремень его пока держится, так что Ключарев сворачивает еще раз налево и выходит к складским помещениям. Склады — в то же время и магазины, правда, покупателей здесь почти нет, люди идут мимо. И то сказать, зачем им так вдруг инструменты?

А инструменты здесь можно приобрести (или просто взять на время за малую мзду) самые разные, любые. Можно даже маленький тракторишко вывести своим ходом — но куда Ключарев с ним денется? (Нет уж, нужна лопата.) Склад одноэтажен, вытянут, пять складских дверей; возле первой двери Ключарев замечает женщину со связкой ключей — хозяйка. Стиль всех складов в мире одинаков: хочу — выдам, хочу — не выдам. Апостол Петр у врат рая. (Дамочка в годах.) Конечно, даст Ключареву лопату, если хорошо просить, но, конечно, ей лень.

Подняв связку на уровень глаз, она бренчит ключами.

— Нет, мой дружок. Уже вечер...

— Но какой замечательный вечер, Ляля! — атакует Ключарев, вспомнив ее имя.

Но, оказывается, вспомнил он плохо и она не Ляля. Нет уж, только атака, и Ключарев, спешно возликовав, объясняет ей, что все-таки она Ляля и что нет никакой тут ошибки, ибо Ляля — имя всякой ласковой женщины, всякой доброй женщины, которая способна быть ласковой и способна понять человека (и выдать ему лопату, не беря за это большой платы).

— Вот как?.. неужели? — Она кокетничает. Облизывает губы, охорашиваясь, и поправляет свой фиолетовый форменный халатик. (Его длиннословие значит мало, но зато много значит ее внутреннее состояние.) Так и есть. Вот она уже говорит, глядя Ключареву прямо в глаза: — А я сегодня выпила как следует. Коньяк. Потом вино...

И смотрит; ля-ля-ля-ля — напевает голосом слабенько, но не фальшиво.

— Лопата нужна.

— Дам, дам тебе лопату. Ля-ля-ля...

Надо бы поладить и ублажить. Несколько смутившийся Ключарев краем глаза прикидывает возможности — стара, но там и тут жирок. Еще женственна. Пожалуй, он справится. И уже решившись, он смело подмигивает — ух ты какая!

Она как раз выносит лопату. И ломик. К тому же она, кажется, хочет, чтобы Ключарев добивался ее расположения. (Иначе ей сахар не сладок.)

— И кирку, — просит он.

Щуря глаза и через каждую минуту хмыкая: “Ишь ты!.. Неужели и кирки нет, и как вы, нищие, там живете?” — она выносит и кирку. Запирает дверь. И только мелькнул, оставаясь в глазах Ключарева, такой красивый и такой строгий изнутри склад. Завернутые в пластик ряды инструментов. Чистота. Ряды и пирамиды. Тысячи банок краски. Но она уже запирает свою дверь, дорожит местом работы. Обнимая, Ключарев ведет ее вдоль других дверей и поглядывает — ну, где тут у тебя тихая комнатка и какие-нибудь мешки? Но только не с углем, а?.. — именно такой разговор ей нравится, он угадал, и в ответ она с удовольствием смеется: ишь, наглый. И вдруг делает попытку освободиться: крепко ли ее держат? — рванувшаяся на миг и сразу обмякшая, далее она уже ступает с ним шаг в шаг, и тело слышит тело. Они заходят в самом конце складского помещения в последнюю дверь. И точно — мешки. Ключарев быстро и довольно грубо сделал свое дело, разрядка; но она и тем оказывается очень довольна. “Жаль, ты спешишь...” — немного сетует. И после паузы вновь: “Ты меня так и не узнал”, — мол, как женщина она могла бы проявиться побольше, раскрыть себя в любви, не с первого же раза. Сказала, что любит пообщаться с мужчинами и любит играть в карты, в последнее время в покер. Да, научилась. Их всех на складе научил один усатый толстяк. “Ты меня так и не узнал”, — повторяет она. Она хозяйка, и Ключарев не спорит. “Дело, Ляля, поправимое, жизнь еще долгая”, — заверяет ее Ключарев, торопиться, мол, нам незачем. Но тут же вопреки своим словам встает и самыми энергичными движениями приводит себя и свой внешний вид в порядок.

— Я полежу, — говорит она. Или это он, Ключарев, тихо спрашивает: ты полежишь? — и она в ответ томно ему кивает.

В своем чистом фиолетовом халате она продолжает лежать на мешках, мешки упруги; апостольская лень. Лежит и слушает в тишине себя, свое расслабившееся холеное тело. Она уже и не смотрит на Ключарева. Не нужен. Глаза в потолок. (В то время как Ключарев стоит в дверях, озабоченный тем, как унести все, сгруппировав вместе лопату, ломик, кирку.) Ее жирок приятно ощутим под рукой и отнюдь не растрясен, и если в те минуты она вскрикивала, то не от страсти, а лишь когда Ключарев нечаянно делал ее мякоти больно, проминая своими руками до косточек, — но-но, не делай так больно, щади мой жирок.

Ключарев уходит — до свиданья, Ляля.

— А дверь прикрой. — Она продолжает лежать, смотреть в потолок и на старый расползшийся гобелен, изображающий средневековую битву — мешанина рыцарских тел и коней. В минуту близости Ключарев вполборота вдруг углядел там рыцаря, трубящего в рог, но потом потерял. Нагруженный инструментом, он бросает на ткань быстрый взгляд, опуская глаза вплоть до мешков с красивы-

ми печатями и с огромными буквами на боковинах мешков: КУЗЬМИН и ЛЮМБКЕ. NO SMOKING. КУЗЬМИН и ЛЮМБКЕ. Рыцари, монахи. Такой старый этот гобелен. Лошади скачущие. Лошади упавшие, с задранными копытами. Но трубящего в рог Ключарев не видит.

И всюду — люди, люди. Осторожно ползут по улице сверкающие машины. Навстречу Ключареву молодая пара; смеющаяся, слегка навеселе женщина и пьяненький парень, оба красивые, оба с мороженым в руках, так что Ключареву с его инструментом, который он тяжело держит (а как еще? не через плечо же лопату с ломом?), приходится приостановиться, ибо они, улыбаясь и мало что соображая, вот так, парой, и движутся прямо на него. Следом надвигается некая немолодая группа встретившихся друзей: этапность жизни. Идут густо. С ними нанятое цыганское трио, скрипка, гитара и аккордеон, — цыган со скрипкой выскакивает на несколько шагов вперед...

Можно бы и послушать, но Ключарев поторапливается. В погребок-ресторан он входит через боковую дверь, чтобы пройти сразу в задние комнаты. Мимо столиков Ключарев, не задерживаясь, быстро идет по черно-белому, в клетку, шахматному полу и уже на ходу подымает глаза кверху — там лаз. На белом потолке видна рваная дыра, все более сужающаяся и темнеющая. (Северьяныч, Таня Еремеева и с ними присоединившийся за это время старенький Иван Николаевич сидят за своим столиком, но Ключарева не видят. Счастливые их лица. Ключарев не станет ни прощаться, ни откланиваться — нет времени. В следующий раз он посидит с ними подольше.)

Ключарев уже в самом углу. Подталкивая, он двигает приспособленную и довольно легкую лестницу, по которой он поднимается к лазу. Лестница напоминает трап самолета, так же подкатывается на колесиках, так же и крута, но только, когда поднимешься, вместо самолетного люка (из которого обычно нам машут, сняв шляпу, улетающие президенты) — вместо люка черная рваная земляная дыра.

ДЫРА СТАЛА УЖЕ. Ключарев протискивается до самой горловины, вползая и цепко держась. В узком месте он может уже ослабиться, удерживаясь за счет трения о землю. Зависнув, он подымает лопату в правой руке, то есть над головой, — движение кистью, и он выбрасывает лопату наружу и даже улавливает слухом, как она там упала, несильно скрежетнув. Затем он спускается вновь на самую верхнюю перекладину лестницы, берет лом, к счастью, нетяжелый, и, протиснувшись до горловины и зависнув, повторяет с ломом все то же самое, но с большими предосторожностями (раскачав в руке, сильно выталкивает его и тут же после броска

прикрывает рукой темя: при плохом броске лом мог бы убить, падая вновь вниз). Когда раскачивал лом, задевал края, и щебень, песок с шорохом сыпались на макушку. Но кирку, конечно, выбросить не удастся, будет цеплять землю. И рука устала.

Привязанная к животу, кирка мешала Ключареву, но главная трудность в самой горловине: лаз сузился. Или это сказывается близость к реке, где обычное подмывание из года в год (и из века в век) крутого берега ведет к опережающему подмыв смещению грунта. Или же подземная, и соответственно земная, нестабильность вызвана тектоническими переменами?.. Переживание, не потерявшее остроту. Он, Ключарев, знает лишь то, что с землей все время (и даже каждый час) что-то происходит. Земля — дышит; нас сотрясают процессы, природы которых мы не понимаем; уже ясно, что в тишине не отсидеться, хотя, разумеется, есть научные объяснения, гипотезы, но природа остается природой — тайной. Дыра сужается, вот и все; стискивается, сползает краями — вот и вся простота земного дела. А иногда лаз становится шире. (Тоже бывает. В этом и простота.)

Придавлив, кирка продолжает и дальше деформировать тело протискивающегося Ключарева; привязанная у живота, она продирается вместе с ним, остриями забойных концов скребя, чертя борозды по кремнистым округлым стенам лаза. Они приспособляются друг относительно друга — кирка и его живот, и все же Ключарева сдавливает до такой степени, что он думает об отступлении, об обратном пути (можно же вылезти, а затем вытянуть кирку на веревке — веревки, правда, нет, мелькает в сознании склад, на миг старая Ляля с ее жирком, — в конце концов, он обойдется без кирки. Дыхание пресекается, Ключарев начинает хватать воздух открытым ртом, сыроватый воздух с песком). Плечи Ключарева обдираются, сужаясь и беря на себя весь перегруз дергающегося движения, которое затем переходит в движение нацеленно вползающее, — так движется червь, так движутся и люди, если они не притворяются. Больно?.. Конечно, больно. Его правая рука все время впереди, как у пловца, плывущего на боку, но левая — у живота, где Ключарев сторожащими движениями смягчает вдруг упершуюся в ребра кирку. Вот когда больно. Ключарев кривится, лицо его, глаза забиты темным песком. Левая рука ищет углы кирки, в то время как телом Ключарев делает новое усилие протискивания. Плохо, потому что кирка отстала. Вновь левая шарит, ощупывает, пробует подтянуть кирку на уровень, — через боль, покряхтывая, Ключарев вздергивает (тянуть не получилось) кирку повыше и еще повыше и выводит ее даже с некоторым запасом выше мякоти живота; обрывок бинта, которым кирка привязывалась к поясу, давно сбился и, вероятно, смялся в комок. Сантиметр за сантиметром кирка продвигается по Ключареву, ударные острия теперь на уровне груди,

на уровне его сосков, но шире. Теперь она еще больше мешает Ключареву, но теперь он не боится ее потерять. Плечи удастся свернуть для протискивания, однако острия давят, упираются в предплечья, — но надо же лезть, Ключарев начинает дергаться, он едва не рвет правое предплечье своей же киркой. Взывает к разуму: спокойнее. Ведь уже в горловине, в самой горловине, — и чем дальше, тем легче. Ключарев заставляет себя дышать ритмичнее; заодно он улавливает первые запахи свежего воздуха, воздуха уже о т т у д а. Неуправляемые судорожные дерганья наконец прекращены. Спокойнее. Теперь Ключарев выносит плечо, правильное сказать, выпирает свое правое плечо вверх и в обвод острия кирки, делает это настолько, насколько возможно, и только тут в ход идет его левое плечо, повторяя тактику переползающих препятствие червей, которую знает в себе всякий, если опять же он не притворяется. Сколько-то пути (десять сантиметров?.. пятнадцать?) Ключарев продвигается, обдирая кожу, но зато его плечи расходятся и сходятся вновь без той острой боли, и вот таким именно образом (правое выше, левое оттянуто вниз, затем выравнивание), повторяя маневр многократно, Ключарев продвигается уже до уровня, где в лицо ему дышит черная земля: почва еще не перед глазами, но уже дышит эта темная тонкая прослойка, которой кормится все живое. Становится свободнее. Голова может стряхнуть с макушки песок. Еще немного. Безо всякой мысли, однако же это получается вполне осознанно, Ключарев отрывает вдруг кирку от тела и выбрасывает ее, почти выкладывая в броске ее рукой наружу, ибо край рядом. Край земли, если идти изнутри. Когда он вскидывал голову, стряхивая песок и землю с макушки, он видел светлое небо. Но это обычный обман, когда смотришь на небо из дыры. Еще одно усилие рук — и Ключарев вылезает. Вокруг тот же вечер. Смеркается.

От слабости его шатает. Он повалился на землю, на зелень травы. Рядом лопата, рядом лом и далее всего выброшенная последним усилием кирка. Он отдышится. Немного. Спазм смирения. Если смотреть вперед, ему видны их пятиэтажки еще хрущевского производства — дома стали в сумерках вполне различимы, — виден и его дом, чуть выдвинутый. Если же смотреть налево, свинцово светлеет река.

МЫСЛЬ, В КОТОРУЮ ОН НЕ СЛИШКОМ-ТО ВЕРИТ, — это мысль о пещере. (Которая достаточно близко от пятиэтажек, от своего дома.) Ключарев выбирает место. Отступая, он на несколько шагов спускается вниз. Овраг сходит к реке, это удобно. Овраг — это своеобразный разрез, и копать здесь легче, ибо принцип всякой пещеры прост и состоит в том, что копаешь не вглубь, а вбок. Вгонять лопату удобнее, также и отвал прост, так как земля отбрасывается или ссыпается сама собой вниз, не торчит кротовьей кучей и

не мозолит глаза чужому человеку. Да, немного на склоне. Но не слишком вниз. Когда ударят ручьи, чтобы не заливало.

На миг Ключарев осматривается: запоминает место. Бурьян. Две стелющиеся корявые березки, а по склону над ними довольно рослая черемуха. И для совсем цепкой памяти — крапива, уже суховатая на выходе из оврага.

Обозначив глазом тропку, видную только ему, Ключарев приминает бурьян. Здесь. Лопата, лом пока в стороне, зато кирка сразу и хорошо идет в дело, не зря же лез с ней через всю дыру и едва не вогнал себе под ключицу, когда прижало. Копают. Мысль, в которую Ключарев не слишком-то верит, — мысль-минимум: если не удастся ни с кем объединиться, Ключарев сможет отрыть пещеру для себя и своей семьи на тот случай, если в домах жить станет невозможно. Копают.

Сбрасывает свитер, но останавливаться не хочет, дабы не прошел первый запал. Теперь (и все еще не останавливаясь) за лопату — отбитая земля теперь летит вниз комьями и россыпью, после чего Ключарев выравнивает пространство, выбитое по первому разу грубой киркой. Старательно стесывая лопатой углы, он замечает, что результат пока лишь напоминает собой нору и, пожалуй, дыру, в которую Ключарев лез и из которой только что так болезненно и трудно выбирался, — да, он невольно копирует. Что поделать, не столько интуитивное, сколько подинтуитивное, земляное мышление, которое вбирает чужой опыт, даже не доложив своему собственному сознанию, — вот что его ведет. Колея веков. Ползучие движения, как и ободранность (оглаженность) плеч и коленей, усвоены лишь на дальнем стыке с опытом тысячелетий; тех тысячелетий, когда не было еще опыта чужого или опыта своего и был лишь один опыт — сиюминутный. Ключарев устал. Бинт, стягивающий грудь, и зализы пластыря вновь раздражают кожу. Когда протискивался в лаз, бинта не слышал, но после того, как помахал киркой, тело изошло потом. Ладно. До пояса он уже может в свою пещеру войти. Он слышит вдруг звуки. Вот! Внизу слабо булькает ручей, значит, к реке где-то совсем близко спадает чистая водица, родившаяся здесь же, в овраге. Удобно. Не бегать к реке. (Возможно, что у самой реки будет небезопасно, как и в пятиэтажках. Как и на всяком заметном месте.)

Ключарев припрятывает инструмент в кустах. Придет попозже и покопает, еще не ночь.

Надо позвонить Чурсину. (Надо пытаться.) И конечно, Оле Павловой.

Но как позвонить на вымершей улице?.. В телефонной будке трубки попросту нет, ее оторвали и выбросили. Торчит огрызок провода, более ничего. Ключарев идет дальше. Надо пытаться. В следующей вдоль по улице будке телефона-автомата телефонная

трубка также оторвана, но она хотя бы видна: трубка валяется под ногами, раздавленная несколькими ударами сапога. Не хватало только столбика пыли. Расплющенная телефонная трубка впечатляет и заставляет поработать воображение (заставляет представить себе гигантское ухо).

Ни души. Одинокий прохожий возник, но и он, увидев другого человека, шмыгает куда-то за угол дома и там ждет. (Ждет, пока Ключарев пройдет.) В окнах домов темно. В некоторых квартирах, несомненно, живут, но они там забаррикадировались, а чтобы их не выдал свет в окнах, сделали самые плотные шторы. Шторы — наши запоры. Нас нет. Нас никого нет. Нас с о в с е м нет.

Ключарев тем же шагом проходит запертый магазин, проходит разбитую витрину. (Но успевает оглянуться: человек из-за дома выскочил.)

— Послушайте! — торопливо кричит Ключарев.

Тот быстро уходит.

— Послушайте же! Я не собираюсь вас догонять! — кричит Ключарев громче.

Голос Ключарева на пустой улице неожиданно звучен и гремит (для самого Ключарева неожиданно тоже), и человек тем более припускает бегом, сильно вжав голову в плечи, словно Ключарев собирается после окрика взять его на мушку прицела.

Спросить некого. Ключарев один посреди улицы — наконец впереди (дальнозоркость сорокасемилетнего книгочея) он высматривает телефон-автомат с трубкой, исправно висящей на своем месте; он подходит туда, он спешит!.. Но телефон, разумеется, также оказывается неисправным. В ухо сыплются беспрерывные частые гудки, по этому телефону уже высказали людям все свои досады, дав вечный отбой.

Сквозь гудки Ключарев, еще не оторвав трубки от уха, умудряется услышать некий скрип: поскрипывание двери. Он оглядывается. Позади телефонной будки виден подъезд дома с распахнутой дверью до предела, и, значит, скрипит не эта зафиксированная жестко дверь, а какая-то дверь внутри. Он идет в подъезд. Так и есть. Одна из квартир на первом этаже открыта, и легкий сквозняк гоняет дверь туда-сюда. Кажется, еще не ограбили. Голос?.. Нет, это включенный телевизор. Диктор, как обычно, сообщает о фактах, которые подтверждают, что обстановка мало-помалу нормализуется.

Вещи на местах. Пустая квартира. Водяные знаки отсутствия. Ключарев ходит по комнатам, на всякий случай не включая свет. Вот и телефон.

И чудо — отменные редкие гудки. Можно звонить.

Оля Павлова заплакала и подтвердила, что Павлов умер. Умер на улице от инфаркта, подробностей пока никаких. Оля всхлипы-

вает, давится слезами. Но может быть, случайная с кем-то стычка? драка?.. Нет. Она не знает.

— Что Чурсины?

— Ничего... — Оля Павлова говорит, что звонит Чурсиным беспрерывно — гудки длинные, телефон работает, но к телефону никто не подходит.

Оля плачет. Она рассказывает, что тело Павлова не знали, куда деть, так что и сегодня тело по-прежнему лежит в 3-м мединституте, и ей страшно — ей тягостно и страшно думать, что студенты станут вдруг делать на нем, мертвом, свой тренаж, опыты, как на всяком невостребованном покойнике. “Какой тренаж! какие студенты!..” — кричит Ключарев, пытаясь ее успокоить. С ума сошла! Кому сейчас нужен труп?! Выражение чудовищно по отношению к мертвому Павлову, но Ключарев не успеваешь себя поправить. Он спешит. Он спешит рассеять ее тревогу — суть в том, что Оля Павлова беременна. На пятом или шестом месяце. И надо сбить ее волнение хотя бы нажимом и уверенным криком.

Кричит Ключарев на нее (и для нее) — сам, однако, он не так уверен. Вечером и ночью город отключается, но ведь с утра занятия в институте, возможно, будут.

— Не плачь. Не плачь, Оля... — Ключарев говорит, что придет, что поможет похоронить. Он обещает, он клянется, что придет. — Не плачь.

Сразу же после Оли Павловой он звонит Чурсиным, но трубку не берут. Ключарев помнит, что у Чурсиных есть старенькая дача, и номер телефона помнит. Он звонит и туда, но впустую.

Смерть всегда некстати. (Хотя, по сути, в жизни человека нет ничего более естественного. Всего лишь конец жизни.) Но боже мой, до чего Ключареву не хочется сейчас, в это безвременье, ехать куда-то и хоронить беднягу Павлова, не хочется хлопотать, добиваться, много говорить, тем более в присутствии плачущей Оли Павловой. Ничегошеньки не умеющей сделать, еще и беременной. Второстепенность смерти, он думает об этом. Конечно, Ключарев поедет. Конечно, долг по отношению к умершему проснется и даст Ключареву хорошего пинка под зад, погонит его, заставит, но та минута еще не подошла, а в эту минуту он, Ключарев, не готов, даже растерян, настолько это сейчас некстати, невпопад.

Думает: кому бы еще позвонить? (Если уж под рукой телефон, который не отключен. Но в памяти телефонных номеров больше нет.) Ключарев оставляет квартиру. Дверь он маскировочно прикрывает, зажав меж дверью и металлической полоской замка плотно свернутый обрывок газеты. (Дверь открыта, но никому, кроме Ключарева, это не заметно. Ведь он придет еще звонить. Жизнь не кончилась.)

Но вдруг осеняет — дверь была специально оставлена открытой

для других, для всех, и ведь он сам потому только и позвонил, что дверь была открыта и к тому же скрипела. Разумеется, Ключарев тоже оставляет дверь открытой. (Пусть скрипит.) Он только запомнит номер дома и подъезд.

2

У СЕБЯ ДОМА. Когда Ключарев приходит домой, жена кормит сына — их сын огромный парень, четырнадцать лет, переболевший в детстве и теперь в своем развитии медленно наверстывающий упущенное. Он плохо делает движения руками, особенно мелкие (не умеет застегнуть пуговицу), плохо говорит (каша во рту) — в надежде, что сознание его восстановится, не отказано, надежда есть, но как медленно в таких случаях ползет время! Пока что он — громадный, с кроткими глазами ребенок лет пяти, он на целую голову выше Ключарева, значительно более мощный в торсе и крепкий. Жену Ключарева, то есть свою мать, он превосходит объемом и весом раза в четыре.

— Давай, давай! — Ключарев, едва войдя, поддерживает голосом их важное занятие.

— Даем, — откликается жена; она и сын вместе держат одну громадную ложку. Сын несет ложку в рот самостоятельно, но какого-то малого усилия ему все же недостает, и вот тут-то рука матери, подхватывая ложку в конце спадающей траектории, добавляет необходимую долю усилия, после чего ложка с картофельным пюре причаливает к вяло жующим губам.

— На-на-нела несть, — произносит он. (Надоело есть.)

Но мать ведет его руку вновь, и он вновь покорно черпает и покорно ест, как это всегда и делают отстающие в развитии дети.

Ключареву она говорит:

— Надо нам все-таки связаться с Чурсиным. И с Павловыми...

— Надо.

— Что ж это мы все так потерялись! — Она продолжает кормить.

Ее боязнь, что Ключаревы останутся в одиночестве, облегчит ему вскоре уход. (Он это отмечает.) Но он не спешит. Бытовая подкладка.

Он не рассказывает жене про смерть Павлова и про необходимость похорон, зато он охотно рассказывает, что нашел место недалеко от дома и от реки и уже начал рыть убежище. Они обговаривали это и прежде, но теперь жена спрашивает с новой силой, она должна быть убеждена — разве в доме оставаться страшнее? почему?.. Ключарев объясняет: все зависит от обстоятельств, представь себе, что воды нет, света нет, канализации, разумеется, тоже нет — дом уже не дом. А если к тому же в половине квартир никто не жи-

вет и там спят пришлые, курят и сводят счеты, то часам к четырем ночи замечательная их пятиэтажка непременно вспыхнет и будет гореть довольно долго, потому что пожарная машина (если она даже приедет) не найдет, где накачать воды. Что касается пещеры, то там чудесно, он уже выкопал ее по пояс. Выкопает глубже, нарубит веток, выстелит изнутри — можно и какое-то покрытие придумать. И ведь они переселятся туда с теплыми вещами..

Ключарев бодро болтает: воздействует на ее интонацию своей. Сам тем временем зашел в ванную комнату, снял рубашку, — смочив йодом вату, он, как бы с той же неиссякаемой бодростью, шлепает ватой по царапинам и краям своей раны, чтобы не воспалилась. Жена закончила кормление. Она ставит на электроплитку чайник. Затем она подходит к Ключареву сзади и другим комком ваты — шлеп-шлеп-шлеп — обрабатывает ему спину, где самому рукой не достать. Она оттягивает бинт, смачивает там, под бинтом. Она словно штемпелюет большое письмо.

— Дыра, как я вижу по ссадинам, еще сузилась — что только делается с этой дырой?!

— Спроси лучше: что делается с землей?.. Стискивается земля, а не дыра.

Жена не желает вступать в спор. Обрабатывает ему спину. И говорит, призадрав одну из его штанин:

— Смотри, что с ногами!..

Но ноги у Ключарева достаточно грубокожи, пореза там нет, а воспаляющиеся ссадины он в расчет не берет.

Ключарев все еще бодр, взятый тон не дает проговориться про Павлова — да, да, он сейчас же отправится и к Павловым, и к Чурсиным. Да, да, друзья есть друзья, общение важно. Но надо поторопиться. Скоро станет темнеть. Вечер, согласно кивает жена.

Они моют сына. Когда раздели, становится особенно заметно, какой сын большой. Огромной белой горой он стоит в ванне и тихонько всхлипывает — боится воды. Вода бежит и бежит с журчаньем. (Хорошо, что она есть.) После тяжелого и осторожного перемещения сына в ванну Ключарев присаживается на край ванны и некоторое время натужно дышит... Жена, взяв мочалку, моет сыну руки. “Правую... А теперь левую. Ну какие мы молодцы!” — теперь они начинают уговаривать, чтобы мальчик присел, не пугайся, я же держу тебя за руку; вода со дна ванны словно бы взлетает кверху, вмиг заполняя объем по самые края — столь много занято его мощным телом. Ему уже не зябко, ему приятно. Его глаза поднимаются благодарностью. Он добрый мальчик. Отставание от сверстников не сказалось на его внутреннем мире, а даже просветлило его; но вот эти-то благодарные глаза, взгляд их Ключарев не умеет выдерживать. Мой мальчик, думает он. Он отвернул лицо, а

сын той рукой, которой держался, теперь гладит спину отца. Возможно, сын знает, что его голос хрипл и невнятен, и только поэтому он не произносит: “Папа...” — но, касаясь, его ладонь скажет в эту минуту именно это слово и никакое другое. Вполне внятно.

— Теперь ты, — говорит Ключареву жена.

Она выходит. Ключарев моет его пах, половые органы — он у нас сильный мужчина, несмотря на свои четырнадцать лет, и это вовсе не от гормональных препаратов, которыми его начали кормить лишь год назад. (Растительность повышенная — да, от препаратов.) Добротню намылив мочалку, Ключарев моет, трет его пядь за пядью, стареющий хлопотун, он любит сына — мальчик нежно играет резиновым львом, который в воде не тонет, пуская и пуская пузыри. Но вот, булькнув в финале, лев все же тонет. Тогда Дениска берет уточку, от его перемещения в ванне вода едва не выходит из берегов — сын опасно и лукаво косится на Ключарева, но не из-за колыхнувшейся от неловкого движения воды, а из-за того, что когда-то Ключарев объяснил ему, что уточки — девчачьи игрушки, в то время как его игрушки — лев, слон, лодка.

— Голову сегодня не моем? — кричит Ключарев жене в пространство квартиры.

— Нет...

Смывает мыло с его могучей спины, спускает мыльную воду, затем душем еще раз чистой струей по чистому телу — теперь вставай, мой мальчик. Помогает сыну подняться, тот боится, потому что скользко. “Ну-ну!” — говорит Ключарев, внушая ему голосом уверенность, а грудью и плечом принимая всю тяжесть на себя. Дениска наваливается огромным весом, но, молодец, пока Ключарев кричит, успевает вынести правую опорную ногу из ванны на пол — вот. Первый шаг трудный.

ПО ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ — К АВТОБУСУ № 28, что делать, если весь остальной транспорт не работает и если в их районе ходит единственный автобус. И то спасибо. Маршрут автобуса извилист, искривлен, однако же можно выбраться в другие кварталы города, а дальше, если повезет, пересечь.

Ни души. Ключарев на остановке. Обычно возле остановки люди чертыхались на валявшийся тут собачий кал. Мол, безобразие, не убирают. Теперь асфальтовый пяточок на удивление чист. Поскольку из еды остались консервы да крупы, собачники вывезли своих собак и, как говорят, отпустили всех за городом: мол, живите как сможете. Другие, конечно, уехали в деревню, в какую-нибудь самую далекую, темную. Уехали, если, конечно, у них есть машина и если, конечно, они достали бензин. Бензина нет. Тщета усилий. Машины мертво стоят у домов. Настолько мертво, что хозяйева даже не приглядывают за ними из-за плотно пришторенных окон.

Подошел автобус — пустой. Кроме Ключарева, в автобусе единственный пассажир, старушка, она рассказывает Ключареву все время какой-то вздор — вероятно, от страха. (Хотя Ключарев, войдя через заднюю дверь, сел от нее достаточно далеко, за пять сидений.)

Два дня назад, рассказывает старушка, в автобус входила группа людей и снимала с женщин хорошую обувь. И с мужчин тоже. И все безропотно отдавали, а те обувь заберут и на следующей остановке выходят. Хотя бы тапочки предлагали людям вместо их обуви, как в музеях, острит старушка и оглядывается на Ключарева, чтобы он сказал что-то в ответ, желательно тоже остроумное.

Отважная такая старушка.

— А вот я свои ботиночки не отдала бы, — смеется она негромко.

На остановке автобус замедляет ход, но, не остановившись, вдруг загудел, зарычал, прибавил — и мчит мимо. Ключарев видит в окно троих мужчин, размахивавших руками и показавшихся водителю агрессивными. Водитель решил не рисковать. Автобус мчит по пустым улицам.

Сходит наконец отважная старушка. Ключарев один — от водителя он узнал, что по пути следования они пересекут линии двух курсирующих автобусов (только двух), и теперь он соображает, какой из этих двух лучше, чтобы ему выбраться за город, к даче Чурсиных. Автобус летит как пуля. Улицы сплошь из домов с темными печатями окон. Ни огонька.

Ключарев вспоминает глаза своего мальчика. Они так кротки и добры; если к тому же в них вдруг появляется на миг осознание нынешней ситуации (как он ее чувствует? каким тайным знанием?) и вместе с тем осознание своей личной беды, он спрашивает: “Нана, нанему ня наной?” (Папа, почему я такой?) А Ключарев теряется, не может выдержать его взгляда. Мой мальчик. Ему не пролезть ни в какой лаз. Но что будет с сыном, если Ключарев тем или иным случайным образом погибнет? Был же Павлов Сергей Леонидович — и нет больше Павлова Сергея Леонидовича. Глаза моего мальчика — прекрасные глаза. Они никогда не выразят лишнего, житейского. Они полны знанием, которое люди знают, но которое выразить они не могут. (Знанием как печален и как открыт человек.) Не выдерживая его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успевает заметить. Заметить и понять. Он чуток. Он кладет Ключареву руку на плечо или на спину и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: “Не нана. Не нана...” (Не надо.)

Там, где дачи, Ключарев появляется после того, как еще дважды пересаживается с автобуса на автобус. Движение возможно лишь галсами, зигзагами маршрутов, спасибо, что они есть, — и

когда колесный путь кончается, Ключарев, оглядев местность, идет пешком там, где уже пахнет хвоей, сосной. Там, где дачи.

Сначала вдоль мощных заборов, глухих, как стена, — это убежище, пожалуй, надежно, никто и никогда не знает, живешь ты здесь или нет, уехал или таишься. Забор высок, величав, внушает уважение. Но величественное кончается скоро. Уже пошли с обеих сторон дачки пообыкновеннее, с малой землей, со штaketником, просвечивающим далеко насквозь и жалко защищенным сиренью. В одной из плохоньких и явно брошенных дач виден подыхающий пес. Некормленный и забытый, он лежит у своей будки не в силах подняться. Жалость к животному (она еще есть! — удивляется Ключарев) толкает Ключарева войти в калитку, чтобы отвязать его с цепи, но, оказалось, подыхавший пес не привязан. Просто он там, где всегда. И если другие голодающие собаки разбежались, этого что-то удерживает, любовь или долг. Глядит на Ключарева спокойным взглядом животного, уже знающего смерть. Поискав в кармане, Ключарев отламывает половину сухаря, кладет близко.

У Чурсиных дачка также из плохоньких, из серых, и Ключарев не уверен, нашел бы он ее сейчас в подступающей темноте, если бы не один бедненький пейзаж, который вдруг встает перед его глазами. Обыкновенная опушка. Изгиб, поворот дороги. Сосна у поворота. Это и есть опушка Чурсина, поворот дороги, который он не раз показывал Ключареву и говорил, что вот — часть его жизни. Он, Чурсин, может смотреть на этот поворот дороги бесконечно. Он приходит сюда и в дождь. Ключарев не знает, что за тени или какие такие души минувших веков будоражат тут память его друга. Он не знает, что это дает Чурсину, но ему, Ключареву, это тотчас дает сориентироваться в дачной географии. Как план-карта. Через три минуты Ключарев уже возле их дачи. Собаки у них нет. Ключарев гремит их негромким звонком, затем входит, сначала, разумеется, подсунув руку и сбросив щеколду калитки.

Пусто на даче, но запустения нет. Ключарев отмечает, что нет березовых чурбачков, на которых они любили посиживать в былые времена. Но также он замечает, что вьюн вдоль террасы недавно полит водой, земля влажная, — это поливала, конечно, Галка, жена Чурсина. Или их красивые дочери, совершенные красавицы пятнадцати и семнадцати лет, — Галка боится за них невысказанно, вся трясется, и, вероятно, Ключарев очень скоро это особенно хорошо почувствует (Галка не захочет Чурсина с ним отпустить).

Отыскав ключ под половицей, он входит. Пусто. Тихо. Но на столе лист бумаги, где выведено крупно: “ПОМНИШЬ ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...” — слова обрываются многоточием, и Ключарев мигом напрягает память и (какой точный ход!) сразу же вспоминает, как именно прошлым летом Чурсин водил его к своему соседу по даче, водил как бы с визитом вежливости. Бывший детдомовец

Чурсин любил подшучивать над своим старичком-соседом, который был совсем уж древних лет, тем не менее побаивался атомной войны — нашел чего побаиваться! — и соорудил бункер, подталкивая себя страхом (а также пользуясь своими былыми связями). В прошлом почтенный строитель, старичок сделал бункер просто и остроумно. Огромную цистерну он зарыл в землю, рядом с ней зарыл другую цистерну, в одной — вода, в другой — воздух; живи, дыши в обеспеченном тебе объеме. Из соседней цистерны проведена, разумеется, трубка с краном: пей, в воду брошен серебряный оклад с иконы — святая вода желудка не испортит. Тогда они мило посмеивались; старичок тоже.

Теперь же, вдруг воодушевившись чужой, всплывшей на поверхность идеей, Ключарев быстро проходит на соседнюю дачу. Он идет напрямую — через огород с кустами малины, как ходили прежде и ходят, вероятно, сейчас сами Чурсины. По пути съедает, выхватив из листвы, несколько ягод.

Отыскивает вход. Стучит. Вход в бункер в густом разросшемся малиннике, еще более мощном, чем у ограды. Спуск в несколько ступеней в яму, где из земли выступает голый темный бок цистерны, как бок присыпанного землей динозавра. “Привет!” — говорит Чурсин, открывая скрипящий люк. Ключарев протискивается, дверца люка вырезана прямым куском из тела самой цистерны, после чего посажена на грубовато приваренные штырьки. Зато прочно. Внутри цистерны на маленьком крепком столике горят две свечи. Третью свечу держит в руках одна из дочерей.

— Входи, входи!.. Мы как раз сидим и от скуки рассматриваем старичково богатство.

Объясняют: старичок помер месяца три назад, похоронен. И надо же быть столь недогадливыми: целых два месяца Чурсины сидели в своей хлипкой даче, запираясь на все засовы, задвигая трухлявую входную дверь комодом (да, да, дорогой, каждую ночь, жена велит, что поделаешь!), пока вдруг не догадались. Ну ясно! Что может быть лучше!.. И вот уже неделю (нет, две, две!) как Чурсины живут днем на даче, а как только сумерки, посмотрят программу “Время” и напрямик через малинник — сюда.

— Но я звонил вам на дачу.

— Мы не берем трубку. В городе разве работает телефон?..

— У меня отключили, а у Павловых работал еще два или три дня.

Свечное слабое освещение дает увидеть вокруг высокие каре киселя в порошке. Пирамиды сгущенного молока. Пакеты риса и сахара.

— Вот тебе и старичок! Мученик идеи! Ах, если бы еще керогаз! или примус!.. не жизнь, а рай! — говорят Чурсины радостно, даже восторженно, и, конечно же, они не только показывают сва-

лившиеся на них запасы, но и готовы поделиться — да, да, приходите прямо сюда. Да, да. Если что, будем сидеть здесь вместе, держать осаду!

Ключарев сомневается — Дениска вряд ли сюда пролезет.

— Мы его протиснем, разом возьмем за ноги, за руки — и полный вперед!

Чурсины хорошие люди, особенно когда они в энтузиазме, — более того, они из тех чудесных людей, кто готов поделиться, даже когда сам настигнут бедой. Однако Ключарев знает, что в этой замечательной цистерне станет нечем дышать для слишком многих. Что касается Дениски, один раз его, возможно, и протолкнут, ободрав ему кожу, а в другой и в третий раз? а как Дениска втиснется, если ему придется на время остаться одному? А если все побегут, куда побежит он?.. Мой мальчик. Он сядет в том малиннике и никуда более не двинется. Будет сидеть, рассматривать листики.

Галка Чурсина спрашивает Ключарева о его жене, они подруги; ты, Ключарев, запрети ей выходить на улицу — это опасно, да и есть ли хоть что-то сейчас в магазинах?.. Чурсин в эту самую минуту с энтузиазмом рисует Ключареву закрытое ведро, он придумал, как его сделать. Надо иметь одно-два закрытых ведра. Ну, типа лейки, только с отрезанным носом. Опять забота: лейку достать, примус достать. Все трое (включая Ключарева) возбуждены, говорят чуть не разом; красивая дочка молча их слушает. Вторая красавица-дочь и вовсе стоит поодаль, все так же со свечой в руках — как мадонна. Рядом с ней освещенные колеблемым светом ряды банок сгущенного молока.

Ключарев говорит — да, заботы; но для нас есть еще одна забота — надо хоронить Павлова.

После этого они молча сидят долгую печальную минуту. Павлов их друг.

Мало-помалу разговор сам собой катится к уже предвиденной Ключаревым ссоре. Это понятно: Галка не хочет отпускать мужа, не хочет отпускать своего Чурсина, такого энергичного и находчивого интеллигента с детдомовским прошлым. Ей без него страшно. (Ей и двум подрастающим дочерям без него не жить.) А ведь Павлов умер, и его уже не спасти.

— Я уверена, что Павлова похоронят. И Оле непременно сообщат, где он похоронен, — ничего случайного в таких делах не бывает. Люди везде люди...

Оля беременна. Оля сейчас одна — вот довод Ключарева.

Но зачем? тем более зачем ей сейчас появляться на темных улицах?

— Но Галя! Возможно, Павлова надо забирать. Он валяется в морге какой-то приинститутской больницы. Кому он нужен, подобранный на улице?

— Значит, его похоронят, если уж подобрали! Как раз в этих учреждениях люди работают во все времена и при всяких переменах.

Ссора. Только дочь молчит, смотрит на свечи, горящие на маленьком столике; подперла щеку рукой. Вторая дочь со свечой все еще в глубине комнаты-цистерны.

Чурсин нервно объясняет жене — керогаз, мол, нужен, термос нужен, их надо достать, а чтобы достать, Чурсину все равно надо уйти с дачи и поехать в город.

— Мы с тобой и трех часов здесь не проживем, если не обеспечим себя керогазом или примусом загодя! — кричит он жене.

И... подмигивает Ключареву.

Ключарев понял, он прощается. Он извиняется, что принес в их дом столько шума, и просит Галку его простить — такое сейчас время. До свидания. Он передаст привет жене и Денису. Спасибо.

Он уходит, а Чурсин его нагоняет (он ведь должен Ключарева проводить!). Едва они вышли за малинник, Чурсин бранит себя: он увлекся спором и забыл, что с женщинами не спорят, а немножко их обманывают и отвлекают. Да, да, обманывают чуть и чуть отвлекают.

Кстати сказать, разумные лидеры именно так поступают с неспокойным народом. (Этим камешком Чурсин бросает в верха: в отличие от Ключарева, он не верит в лидеров, в их помощников и высших чиновников, в весь этот пульсирующий рой, слепо кружащий над нами.) Не столько обмануть, сколько отвлечь, вот как надо, — через полчаса Чурсин еще раз поговорит с женой и убедит. И непременно ее убедит. Уверен? Абсолютно. Так что самое большее через час-два я освобожусь — и встречаемся мы с тобой прямо у Оли Павловой.

Они идут мимо дач; за весь долгий путь ни души. Люди затаились. Чурсин показывает дачу некоего Веретенина-Воронина, ограбленную уже трижды, — унесли посуду, унесли даже одеяла. Хозяйка давно куда-то слиняли.

— Считается, что первыми начнут грабить тех, кто на дачах. Таково мнение народа, — уважительно сообщает Чурсин. — Вот там металлические засовы. А там пудовый замок, кто как может!.. Но вот если пройти по тому проулку, ты увидишь заборы, обтянутые колючей проволокой. Ей-ей. Страх — двигатель регресса. Однажды среди ночи я слышал, как опробовали старый пулемет. Не шучу! Да ей-богу! Я тоже сначала подумал, что “калашников“ берет, однако прислушался, не-еет — подстукивает самый настоящий пулемет. Разгадка проста: среди наших дач есть дача музейного работника, из музея гражданской войны, разумеется, он и принес. Украл, разумеется. Почему бы и нет, если наш истопник в котельной — мужик рукастый и умелый, и починить “максим“ ему ника-

кого труда и никаких расходов. Если же “максим” починить, штука надежнейшая. У тебя нет знакомых в музеях?

Шутит, но и не шутит — таков Чурсин. Энергично объясняет, размахивая рукой. Вот так же приободряет Чурсин свою пугливую жену и своих молчаливых красавиц-дочерей. Старается добыть керогаз. Прибивает доски к забору. Хлопочет с незащищенной своей дачей, хлопочет с бункером. (Как и спохватившийся Ключарев со своей пещерой.)

Они прощаются, после чего Ключарев идет по дороге, выводящей на автобусный маршрут. А Чурсин сворачивает на левую просеку. Чурсин говорит, что этим путем ему возвращаться ближе.

Но Ключарев догадывается, почему выбрана левая просека. Таким образом Чурсин пройдет мимо той опушки. И мимо того поворота дороги, где сосна. И постоит там минуту. Обретение пространства.

АВТОМАТЫ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ, они самые. Но сначала Ключарев на пустынной улице у витрины магазина видит пугливого вора. Боязнь вора — это как раз естественно, но надвигающаяся ночь несет, вероятно, некий общий страх, и Ключарев сознает, что в этом чувстве он с вором един, совпадает. Витрина темна (гладь ее как гладь темной воды), и стоящий там вор словно прилип. Вор не виден. Он, кажется, пытался взрезать витрину и проникнуть в магазин — Ключарев вдруг видит, как тот стоит на коленях, прикладывая к стеклу линейку, и камешком, вероятно, эрзац-алмазом, пытается отрезать угол стекла.

Он похож на старательного ученика со своей линейкой. Тихий скрежет. Ключарев догадывается, что это вор, только когда оказывается в шаге от него и когда тот, схватив свою линейку, срывается с места и скрывается за углом. Страх ночного вора?.. Ключарев слышит удаляющиеся шаги, словно вор бежит на тонких-тонких ножках — такие вот ломкие звуки, — и с внезапной ясностью Ключарев понимает, совместившись, что и этот вор, и он, оба они боятся толпы. Этим переболеть. Опережающим слухом (опережающим знанием) Ключарев слышит не существующий пока топот тысяч ног на улице, ш р а х - ш р а х - ш р а х!..

Темнеет. На улице ни единой машины, ни автобуса, и, конечно, безлюдье — Ключарев пересекает гладь улицы напрямик. Никаких правил перехода, он идет, чтобы сразу и круче свернуть в переулок, и вот тут, на повороте, натывается на автоматы с газированной водой. Ключарев больно ударился о край одного из них. (Единственный горящий фонарь стоит далековато, у подземного перехода.) Ушибся. Узнал. Волна узнанной (но не выпитой) газировки ударяет ему в небо. Слюна обжигает небо, горло, душу. Глаза слезятся. Забытое удовольствие торопит Ключарева найти в карма-

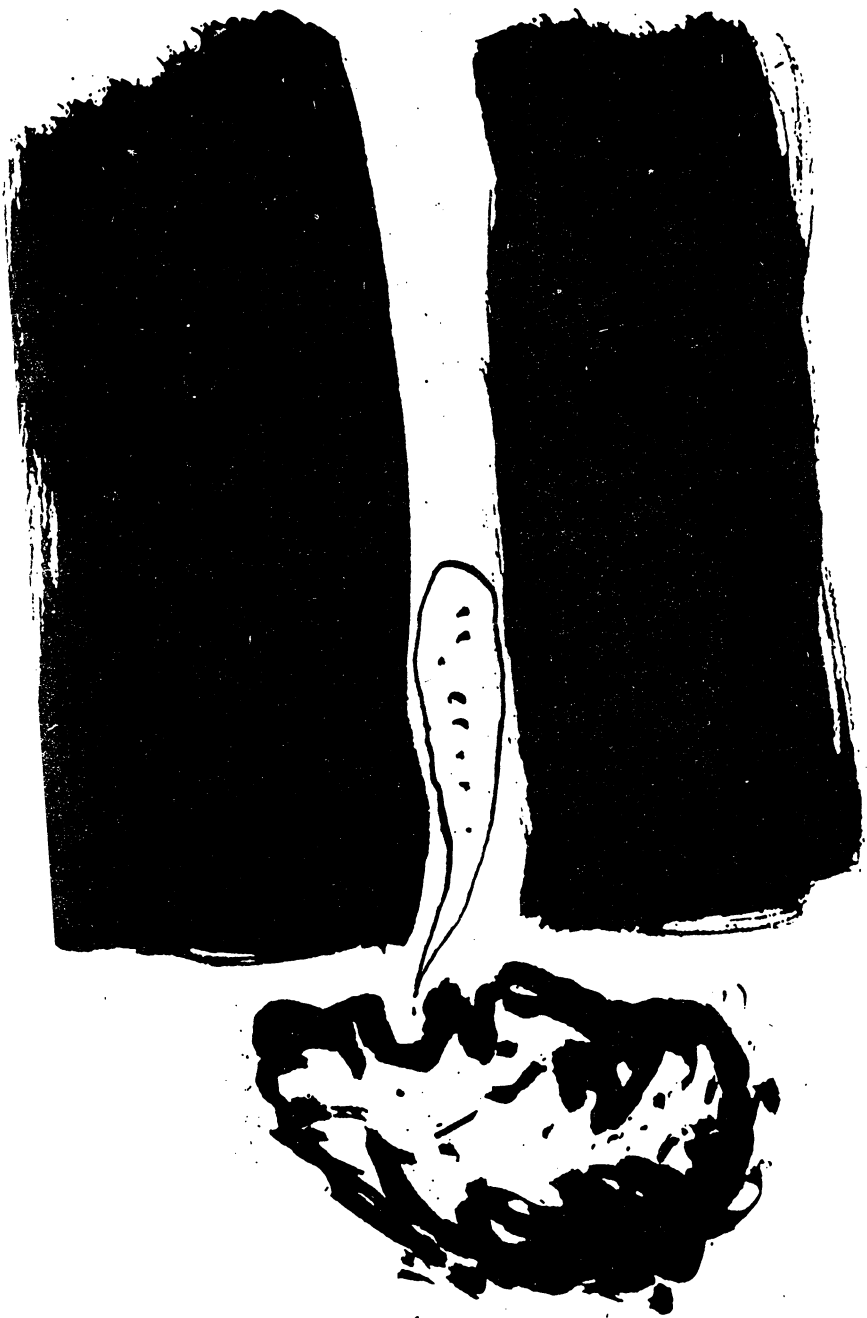
нах монетку. Нашел. Бросает в щель. Не работает. Другой автомат. Не работает. Но Ключарев все упорствует, бросает. Нет. Нет... но вот зашипел, смотри-ка, срабатывает. И поскольку никаких, конечно, стаканов, Ключарев торопливо подставляет ладони ковшом, набирает пузырящейся долгожданной жидкости, пьет, припав. И когда вода кончается (так скоро!), мокрыми ладонями отирает лицо.

Когда улица пуста до самого горизонта, человека, тем более нескольких, замечаешь мгновенно: на другой стороне Строительной улицы, не на тротуаре, а несколько в глубине, меж двух зданий, Ключарев видит мужчин, которые насилуют женщину, поставив ее на колени. Двое держат, справа и слева. Третий стоит прямо перед ней и, расстегнув брюки, сует ей в лицо, в рот. Все молча, все как в немом фильме, с некоторой даже медлительностью, и все совершенно понятно в этой притихшей полутьме.

Героического желания метнуться к ним через улицу в Ключареве не возникает, нет также желания, вступившись за нее, получить ножом под ребро, ибо в известном смысле это их час, это их время — такова полутьма. Однако срабатывает инстинкт (или это осознанное чувство?) не дать хотя бы ее убить. Ключарев пересекает улицу и, надвигаясь на них, кричит: “Эй! твари!..” — голос Ключарева угрожающ, но идет Ключарев к ним, конечно, медленно. Да, спугнуть. И в этом смысле опыт с тем магазинным вором — свежий опыт. “Эй! твари!” — второго его рыкающего крика хватает, ибо тут они туда-сюда оглядываются, бросают ее и скрываются, бегут двое, потом и последний. Ключарев подошел. Она уже поднялась с колен, идет, она молодая, Ключарев идет с ней рядом и выговаривает ей с укором, нельзя же, мол, в такой час выходить на улицу, разве она не знает. Стареющий человек в шапочке с помпоном; правда, шапочку он потерял. “Да ничто, — говорит она хрипловато. — Ничто“.

Молодая. Им по пути — по этой пустынной улице. Прокашлявшись, она рассказывает Ключареву своим простоватым, неожиданно певучим голосом: “Садист. Никак кончить не мог. Это он нарочно. Хотел, чтобы я захлебнулась, — и тут она добавляет, как бы не желая на людей наговаривать лишнего: — А те двое ничего. Нормальные“.

Она жалуется ему, как ужасно без кино, без развлечений. Да уж, не золотой век, соглашается Ключарев. Там, где Строительная улица пересекается с улицей Жебрунёва, где стоят без пользы и без смысла мигающие, меняющие цвета светофоры, там Ключареву поворачивать. Оба приостановились, прежде чем разойтись. “Если по-человечески, если нормально, то я сглотну... Хочешь?” — спрашивает она. Ключарев отвечает, что он торопится, и ощупывает голову, где же его шапочка с помпоном.



— Я тоже тороплюсь. Автобуса нет, пешком прошла уже три километра, если не четыре.

Держится она неплохо. Молодая. Прежде чем расстаться, говорит Ключареву, что вообще-то она улицы не боится. “Но боюсь, что люди вдруг набегут. Набегут и затопчут. Прямо вижу, как тыщи и тыщи бегут по улицам...” — она тоже боится толпы.

ЗИГЗАГИ АВТОБУСОВ. Но в том и незаметность, что лишние километры расстояния неощутимы и не в тягость, если ты сидишь внутри автобуса и если в пути автобус зажег все огни, в салоне светло.

Еще не ночь, еще вполне видно. Но возможно, что водитель при огнях чувствует себя смелее.

В автобусе Ключарев один.

Зато в следующем автобусе, в который Ключарев пересаживается, в салоне, кроме него, робкая семейная пара, — Ключарев слышит, как они шепчутся и как она вдруг произносит слово “Милиция...”, показывая мужу за окно и голосом внушая ему (или себе) чуточку спокойствия. Ключарев тоже видит — на пустой улице стоят двое постовых. Оба при дубинках. Оба при пистолетах в кобуре, которая, по правилам этих дней, висит не на боку, а прямо на животе, под рукой. Один, конечно, с рацией.

Зигзаги автобусов таковы, что ехать к Оле Павловой неизвестным путем Ключарев не решается (зигзаги могут вынести и выбросить совсем на другую окраину города), и потому знакомым уже маршрутом он сначала возвращается в район, где его дом. А уж дальше он двинется на ощупь, от печки.

Когда Ключарев идет вдоль реки, в том месте, где он начал копать пещеру, его настораживают чужие звуки. Он было прошагал мимо, но ведь сам выбирал столь запрятанное место. Слышать Ключарев ничего не слышит (там замерли раньше), но он словно бы отмечает за двумя корявыми березами мелькнувшую вспышку. Именно там. Беспокойство за пещеру (и за инструмент) тотчас толкает его вперед и в бой. “Кто там?” — спрашивает Ключарев грозно, стоя наверху. Отвага человека в шапочке с помпончиком. Голос его нацелен в врага, на спуск, и вот оттуда слышится вздох и такой знакомый Ключареву голос: “Виктор? Ты?.. Боже мой, как я напугалась”, — ее голос.

ЖЕНА. Пока Ключарев спускается к черемухе и к корявым березкам, вновь вспыхивает фонарик; их домашний обслуживающий фонарик; укрепив его на ветке куста при призрачном свете (батарея уже еле дышит), жена Ключарева занималась тем, что в одиночку продолжала работу мужа. Копала.

“Денис спит”, — говорит она, оправдываясь, и, чтобы Ключа-

рев ее не бранил, уверяет его, что она вышла из дома на пять минут и что сейчас (сейчас же! клянусь тебе!) собирается вернуться домой. Нервы на пределе. Чтобы не обругать ее сгоряча, Ключарев заставлял себя заняться осмотром пещеры-самоделки. Смотрит. Пещера углубилась, жена стоит в ней уже по самые плечи. Копают она здесь не менее получаса. “Углублять не следует, — говорит он, все еще стараясь не вспылить (ему страшен ее приход сюда в одиночку, животный страх, хватающий за кишки), — копай теперь вширь. Чтобы был объем”.

“Как?” — она не понимает. “Для объема надо копать в сторону”. — “В какую?” — “В какую хочешь. Это все равно. Но не вглубь”, — дает немного еще ей покопать, отбирает лопату. Осматривает теперь изнутри. Пасть пещеры расширять более не стоит. Пещера должна быть как кувшин. Вход узкий — а дальше уже только вширь. Сначала киркой Ключарев работает как забойщик, отворачивая ком за комом. Земля довольно суха, осыпается с хорошим сухим шорохом. Жене ни слова. Он бьет киркой, пока отбитой, осыпавшейся земли не становится ему по колено, так что Ключарев не в состоянии сместить собственный центр тяжести, и при каждом следующем ударе тело его заносит. Он едва не падает. Стоп. Высвободил ноги. Набитую киркой землю он руками, точнее сказать, ладонями, распятив их, как бы бульдозером, всей горой сдвигает к зеву пещеры, земля пахнет корнями, жуками, иногда падающий кремень царапнет руку. Вылез.

Стараясь на скосе ступать осторожно — ага, уже луна, — он перенацеливает луч фонарика себе под ноги, укрепив его на той же качающейся ветке куста. Лопатой Ключарев сбрасывает землю в обрыв, не заботясь о тишине и отчетливо слыша, как комья влетают, вонзаются шумно в кусты (его исходящая озленность) и, распавшаяся, летят с шорохом дальше. Жена все это время ощущает свою вину.

— Не сердись, — произносит она наконец.

Он молчит.

— Не сердись... Я пойду. Как бы Денис не проснулся...

Молчит.

Она виновато начинает карабкаться вверх, падает, пискнув, как птица, и кое-как ухватывается за ветки. Вздвигается. Надо бы и еще помолчать — чем суровее Ключарев будет сейчас, тем глубже в нее вживется чувство вины за этот случай и тем вернее, что больше она сюда без Ключарева в темный час не придет. Ведь безумие!.. Но Ключарева не хватает. Конечно, если уж ты роешь пещеру, то в отношениях ты должен сам стать отчасти пещерным и деспотичным, ибо иначе ни тебе, ни твоей мягкосердечной семье не уцелеть и не выжить. (Но, видно, Ключарева еще недостает на это. Он еще только на полпути.) Ключарев спешит к жене, помогая ей выбрать-

ся из оврага. Наверху он говорит ей: “Извини. Одну минуту“, — спускается опять вниз, скоро припрятывает инструмент, забирает фонарик. Он нагоняет ее. Отдает ей фонарик. Даже суетно не сумел отругать, помпончик на шапочке. Впрочем, наверху светлее, чем в овраге, и они оба радуются тому, как хорошо и далеко видно, вплоть до их пятиэтажек. Еще не ночь! Ключарев рассказывает жене, что был у Чурсиных, передает привет от Галки, рассказывает также про умершего их старичка-соседа (помнишь его?!) и про оставшийся от него и занятый теперь ими бункер.

— Теперь я поеду к Павловым, — размышляет вслух Ключарев. — А уж от них вернусь домой.

— Но уже темнеет.

Она произносит слова с тем легким укором, с легчайшим, который посторонний человек не ощутил бы никак, но Ключарев, конечно, слышит и доволен, ибо ее упрек уже вводит их обоих в обычные отношения друг к другу — в отношения, когда он виноват, а она права. “Слава богу“, — думает Ключарев. Ожила.

Она продолжает говорить: воду не отключили, но горячей воды больше нет, мы Дениса вовремя вымыли. Пшено кончилось. Телефон?.. Нет, не работает.

Ключарев не провожает ее, но он, конечно, видит, как она подымается к пятиэтажкам.

Ключарев идет вдоль реки. Не выпуская жену из поля зрения, он садится, чтобы снять ботинки и высыпать из них набившуюся землю (иначе ему не дойти даже до автобуса). Сняв носки, вытряхивает из них песок. Сидит с босыми ногами. Он вдруг видит, что сел он рядом с лазом. Он едва не вскрикивает: лаз совсем сузился! Земля стянулась, кусты, что у самой дыры, торчат теперь с наклоном градусов в тридцать, почти полегли вдоль земли, так сильно сдвинуло их подземным смещением относительно их корней. Сдвиг не сказался на дереве черемухи, но по кустам и даже по пучкам травы все видно, как по стрелкам приборов.

Ключарев не собирался туда сейчас, но мысль, что он отрезан от тех людей навсегда, толкает его к дыре.

Ногами вниз (как обычно) лезть безопаснее, но так теперь далеко не пролезешь; ноги слепы. Ключарев нервничает, решает рискнуть: он вползает головой вниз. Прилив крови неприятен. (И опасен.) Но зато Ключарев может ощупывать землю впереди себя рукой, может втискивать и изгибать отсыревшее тело, используя на все сто процентов опыт ползущих, генетическую память всякого гнущегося позвоночного столба. Притираясь щекой и выискивая рукой, так Ключарев и ползет — на ощупь. Вот оно. Как стиснулась горловина лаза! Нет, не пролезть... Вероятно, Ключарев сможет лишь немного втиснуть туда голову, так как смещение пласта при-

вело в этом узком месте уже не к изогнутости, а к излому лаза, и не может же Ключарев и точно ползти как червь; у человека тело прямое. Но голову он втискивает. Через шум крови в висках и в ушах он различает теперь слабый гул погребка, звуки застолья и малопомалу голоса. Но уже ясно, что если он продвинется еще немного, то скорее всего погибнет, потому что не сумеет выбраться назад. Стоп. Не шевелись. Но его заложенных ушей уже достигают слова, слова волнуют, дают высокий настрой духа: **в ы с о к и е с л о в а**. Затем Ключарев расслышивает пение сдвинувшихся за столом, милого голоса звуки любимые, перебор гитары и спор о духовности, и чей-то неожиданно живой, хотя и отрезвляюще терпкий густой басок: “Да, да, Виталик... всем еще по сто грамм! Не поленись, милый!” — от чего Ключарева не только не коробит, но обдает теплом, любовью и стремительным человеческим желанием быть с ними, быть там. Ну-ну, успокаивает он себя, мол, не прислушивайся слишком и не огорчайся, не надо.

Дыра сомкнулась, лаз стиснулся до невозможности, и Ключарев старается не думать о том, как огромна его потеря. Не застолье и даже не мыслящих людей в том застолье теряет он, но саму мысль — ход мысли. Разумеется, никто из говоривших там не знает и не может сейчас ничего знать до конца, но все они (и Ключарев с ними) пытаются, и их общая попытка — их спасение. Хотя бы попытка! Нет-нет. Нечего об этом и думать. Иначе погибнешь. Который век перебирают высокие слова. Который век рождают их или хотя бы припоминают уже прежде рожденные, отчего и дается почувствовать всякому (и полюбить по нашей слабости). Что же еще, если не тот укол высоких слов, напоминает, что он и она (и ты с ними) не просто ползущие или вползающие существа? Что он и она (и ты тоже) не умрут — что же еще?.. Высокое небо потолков над столиками, где сидят и говорят. Нет, нет, Ключарев не станет об этом думать. Высокие слова, без которых ему не жить. (И без которых не жить его жене. И без которых не жить Денису, ибо даже не понимающий слов человек понимает, что слова есть; и живет пониманием. И Чурсиным не прожить. И той девке, что хотела сглотнуть там, возле бессмысленно и мерно мигающего светофора. Мы — это слова. Даже если только проходим синюшной тенью мимо друга друга, мы успеваем их передать один одному — тем и живем.)

Стараясь не думать и гоня мысли прочь, Ключарев уже выкарабкивается обратно, когда вдруг испытывает то, чего не испытывал никогда в жизни: ощущение стискивающейся земли. В области живота перехватывает его как петлей, и Ключарев понимает, что еще один малейший сдвиг — и он погибнет. Так просто, думает он. **В о т о н о к а к**. Но испуг подхлестнул.левой рукой, которую он все время держит вдоль тела именно на случай заднего хода (напоминает и тут пловца, плывущего на боку, плывущего в земле), — это!

самой левой рукой он судорожно хватается за выступы земли. Из всех сил пружиня животом, прессом, он одновременно выталкивает свои ороговевшие ноги назад, вверх по лазу. Он дергается, он бьется, выталкивая себя пульсирующими движениями кверху. Ноги уже в воздухе. Ноги над землей. Последнее пружинящее усилие вверх, и ноги его падают своим весом, тело Ключарева вытаскивает самое себя и (в последнюю очередь) голову. Ключарев сидит и плюется землей. Протирает глаза, полные песку. И дышит, дышит.

Все вместе длилось, вероятно, совсем недолго. Во всяком случае, прочистив глаза, Ключарев видит свою жену, которая продолжает подниматься по сизо-серой асфальтовой тропе. Она уже подошла к пятиэтажкам. Возможно, меж домами темно, и потому жена включает там фонарик — Ключарев видит скошенный эллипс светового пятна у ее ног на темной дороге.

Жена уже возле второй пятиэтажки. (Он полез бы туда, прополз, протиснулся, ободрав щеку и окровавив ухо, а земля сдвинулась бы не до того, как он полез, а после, и Ключарев остался бы там, отрезанный и отделенный от темнеющей этой улицы, где идет сейчас жена, и где Денис, такой огромный и добрый, и где мертвый Павлов, и где на темных улицах не купить ни гвоздя, ни батарейки.)

Ключарев наклоняется и кричит в сомкнувшийся лаз: “Эй!.. Э-эй!.. Э-эй!” — это уже ярость, уже бессмыслие, но и яростный его крик не доходит. Ни звука в ответ. (Вот и вся от него информация — несколько камешков да песок, ссыпавшийся, когда Ключарев пытался туда протиснуться. Официант подмел, даже не ругнувшись.) Жена Ключарева уже возле дома. Световое пятно ее фонарика погасло; вероятно, вблизи дома она экономит последнее дыхание батарейки. Но возможно, батарейка сама сомлела, иссякла. Сколько Ключарев видел, жена шла, не оглянувшись: обдумывала. Больше она одна не выйдет на улицу. Не уйдет из квартиры. (Денис, если он проснулся и если никого рядом нет, — плачет; простая душа, он открывает на улицу окно и зовет плачущим голосом: “Мама! Мама!..” — подарок для любителей жизни и поживы. Пустая вымершая улица. И плач ребенка — чего же проще!)

3

ДВЕРЬ ИНЖЕНЕРА ПАВЛОВА. Вот она. Ключарев знал про дверь еще от Павлова, когда тот был жив. В одну из своих тихих минут, на самом острие страха, Павлов придумал эту дверь — так просто и так гениально (но проще ли той пещеры, гениальнее ли?). Ключарев замечает вязь металлических полосок, и на них, как точки, пропускающие отверстия — своеобразные поры двери, которые выделяют из себя маленькие дозы смерти. Маленькие, но

достаточные. (Так должны думать люди толпы. Дырочки — для них.) Дверь через свои металлические поры дышит, ибо сзади, за дверью, находится небольшая, но опять же достаточная рентгеновская “пушка”. О чем и сообщает крупная над дверью надпись, мол, никаких тайн, мужики, и никаких иллюзий. ЗА ДВЕРЬЮ “ПУШКА”, ДВЕ СЕКУНДЫ ВОЗЛЕ ДВЕРИ — 2000 РЕНТГЕН, ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ — 4000 РЕНТГЕН. И никаких иных слов инженер Павлов более не оставил, полагая, что надпись и без пояснений прочтется понятно и свежо теми людьми, кто вздумает выламывать дверь (сколь бы ни были они профессиональны и быстры и храбры от выпитого).

Кнопку звонка Ключарев нажал, секунды идут — так что сейчас Оля Павлова уже подошла, посмотрела в глазок и думает: убить Ключарева рычажком-выключателем или, узнав его, просто открыть ему дверь?.. Она открывает дверь, вся заплаканная, с красным от слез носом. “Проходи. Как ты долго!..” — и точно, Чурсин уже здесь. Чурсин сидит за столом, раскинув перед собой карту города, и жирным карандашом помечает маршруты автобусов, что еще ходят.

Оля торопит сразу же — только давайте не медлить, не медлить, смотрите, как быстро темнеет!.. Но сама же подает им по чашке чаю. Она в фартуке. Живот стоит горой — шесть, но, может, и семь-восемь месяцев?

За чаем спор: Чурсин, добравшийся сюда своим путем, уверяет, что 42-й автобус ходит укороченно и до 291-го автобуса не добраться. Он предлагает пройти два квартала в сторону, до кинотеатра, но зато сразу сесть на 295-й, и тот почти прямехонько повезет их к мединституту. Ключарев возражает: кинотеатр давно пустует, и, стало быть, автобус, тем более такого растянутого маршрута, как 295-й, может спрямить путь и не проезжать мимо кинотеатра — что мы будем тогда там делать?

— И все же он там проезжает, — уверен Чурсин.

— Ну, смотри.

Чурсин уверен. Чурсин в старой кепке, надвинутой на лоб. Кепку он надевает, когда готов вступить в борьбу без правил. (В борьбе за выживание кепка взывает к его запасным внутренним силам, к бывшему детдомовству. У него действительно меняется облик, стиль поведения, даже речь.)

Оля Павлова переделалась; они выходят. Оля собрала сумку — она кладет в нее белые простыни. “Могут пригодиться”, — говорит она негромко (видно, позоря чужого опыта умудренную фразу) и громко всхлипывает. То есть простыни понадобятся, чтобы там его завернуть, или зачем еще? Чтобы отвлечь ее мысли от белых простыней, Ключарев задает вопрос — Оля, а где же агрегат? “пушка” где? (Разумеется, он понимал, что никакой “пушки” нет. Но хотя

бы ярко вспыхивающее устройство. Чтоб за дверью через дырочки что-то струилось.)

— Павлов сделать не успел.

— Но я не вижу и начала.

Они стоят минуту у дверей, прежде чем выйти (тут никакого даже намека на устройство). Искрой укалывает Ключарева мысль, что Павлов ничего и не делал. Насмешливый ум. Веселый и лукавый. Иногда впадал в пафос, мол, никогда и никакой лаз его не заманит надолго, и, как бы ни сложилось, Павлов останется на этих улицах, когда начнет темнеть. И остался.

АВТОБУС 295-Й, он подходит, и в салоне его уже плещется свет — еще не ночь, но, конечно, автобус уже едет с огнями. В автобусе десяток милиционеров, их везут, чтобы расставить по точкам. На каждой третьей остановке сколько-то милиционеров выходит. Обычно двое. Парой. По одному их уж давно нигде не расставляют — слишком легкая добыча.

Оля Павлова рассказывает про мужа. Позвонили не ей, а позвонили на АТС, энергопитание которой кончалось: станцию уже консервировали. Блоки отключались с минуты на минуту, и лишь с контрольного аппарата Оле Павловой перезвонили, прокричали в трубку, что ее Павлов упал прямо на улице. Инфаркт. Его подобрала бригада мединститута, у них есть морг, все это ей прокричали наспех, глотая слово за словом, и за то им спасибо, великое спасибо... Оля плачет: ведь мединститутские люди поднимают на улице бездомных для чего? — да только чтобы потрошить...

— Ну-ну! — обрывают ее Ключарев и Чурсин.

Успокаивают:

— Прекрати плакать...

Мотор натужно гудит; автобус идет на подъем — значит, они уже за 1-м микрорайоном.

На остановке входит в автобус крепкий, хладнокровного типа мужичок. Он в новеньком ватнике, в коротких сапогах (так и думается, что за сапогом у него нож. Таких и боится милиция, охота за милицейскими пистолетами идет каждый вечер). Сильный мужчина лет тридцати пяти. С ленцой выискивающие жертву светлые серые глаза. Сидит, гоняет желваки. Скрываемая улыбка. Он выходит на одной из остановок, сходит в полутьму, как к себе домой. Его время.

Остановки не объявляются, водитель молчит.

Чтобы ориентироваться и прочесть название остановки на табличках, Ключарев смотрит в окно, не отрываясь. Еще можно прочесть. В полутьме мелькают опустевшие детские площадки, давно без детей. Пустые качели, успокаивающее присутствие. Тянутся длинные-длинные витрины магазинов с мелькнувшей крупшой надписью: "ТОВАРОВ НЕТ, ПРОСЬБА НЕ БИТЬ ОКНА", — но окна,

конечно, разбиты. Сияют дыры от камней, с далеко расходящимися трещинами. Один полукирпич так и застрял в стекле (первое пробито, во втором застрял), исчерпав свою полетную силу, засел, торчит в стекле, и двухметровые трещины расходятся от него, как лучи от солнца.

Они трое только и остались в автобусе.

Автобус внезапно тормозит на одной из остановок, так что они дергаются головами вперед, а Оля Павлова при этом опасливо хватается за живот.

Автобус стал. Двери открылись. Конец пути — это понятно и без слов, однако маршрут автобуса кончается не на этой остановке, и потому, уже сойдя, все трое подходят к кабине водителя попытать удачи: “Нам дальше ехать”, — напирает Чурсин, но водитель только мотает головой — нет, не еду. Нет, он дальше не едет. Чурсин не отстает:

— Но ведь она беременная! Не видишь?..

— Ясно, что беременная! — кричит водитель с вдруг вспыхнувшей злобой на интеллигентов, которые были и есть виноваты. — Ясно и вижу, что беременная! Если б не живот, вы бы с ней давно в свои дыры улезли! попрятались бы!

Социальная ярость как всегда груба, но ведь она только и претендует на грубую, приблизительную точность попадания. Вероятно, он прислушивался к их разговорам, и поскольку не матюкались, не говорили о примусах и жратве, то было ясно, что они и довели страну до ручки. Погубили! (Если не продали.)

Но водителя тоже можно было понять (Ключарев немедленно это отмечает, спешит простить), ибо как раз за той небольшой площадью, которую водитель автобуса не решился переехать, начинались темные, глухие и заведомо опасные улицы, с малым числом домов и недостроенными корпусами мединститута.

— Ну, и езжай, мать твою!.. — кричит Чурсин, еще пять минут назад так надеявшийся на свою кепку. (Считал, что она его опрошает и чуть ли не делает из него работягу.)

Стоят.

Автобус медленно разворачивается. На какую-то минуту кабина водителя, вычерчивающая круг, оказывается против них. Водитель, притормозив, кричит, что он на те глухие улицы уже съездил и с него хватит! — вчера ездил! — там в темноте его тотчас окружили мужики и забрали бензин. Прямо с бензобаком. К тому же отобрали ужин, который дала ему с собой жена. Отобрали последние две сигареты. Забрали поясной ремень. А какая-то сука велела снять ему ботинки, но, увидев, что ботинки плохонькие, просто нассал в них — такой вот умный, мать его!..

Водитель все это выкрикивает под рычанье своего разворачивающегося автобуса, под выстрелы выхлопной трубы.

— Езжай, езжай, вонючка! Жаль, тебе на башку не нассали! — кричит Чурсин ему прямо в лицо, не прощая и не снисходя. Социальная ярость, если уж она выходит на поверхность, делает все взаимно проще и взаимно злее.

Оба продолжают орать друг на друга под рев мотора, наконец автобус трогается в обратный путь.

Перекресток пуст.

Довольно долго идут в тишине. Оля Павлова держится за руку Чурсина, уж очень здесь пусто и тихо. Сумку несет Ключарев.

В совершеннейшей тишине откуда-то издали, но именно с той стороны, куда они идут, возникает в воздухе шероховато плывущий звук. Этот звук ни с чем не сравним (хотя и принято сравнивать его со звуком набегающих волн, но схожести мало; натяжка на образ). Звук особый. Звуки ударные и звуки втяг, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа.

Шарканье тысяч ног с каждой минутой приближается; но все еще кажется происходящим где-то поодаль, тем неожиданнее это тысячагое шарканье, и гул вдруг материализуются в большую группу людей. “Боже мой!” — вскрикивает Оля Павлова. Людской поток возник сразу. Люди идут, торопятся, но, и поспешая, они движутся тесно, плечо к плечу. Поток пока невелик, но что за ним дальше?

Ключарев, Чурсин и Оля остановились, смотрят — людской поток возник из-за дома, притом огибает дом так плотно, что угол и стены, вероятно, уже вытерты плечами до кирпича. Почему по закону стопорящегося движения толпа желала поворачивать тут, а не там? — неизвестно. Вырвавшиеся, выскочившие из пробки люди отделяются от общей круговерти и — с относительной свободой — тут же устремляются почти бегом (спешка, подбадривающие крики! топот ног по асфальту!). Через головы бегущих виден теперь еще один людской поток. За ним — третий.

— Потоки мы пересечем, но после столкнемся сразу со всей толпой. Они будут давить все подряд! Не выбраться нам, — говорит Ключарев.

Чурсин отшвыривает окурочку, сплевывает.

— Но иначе мы вообще не пройдем.

— А если дворами?

Спорить времени нет — надо на что-то решаться. Оба смотрят на Олю Павлову, словно это она может решить или хотя бы дать им знак на решение. Но Оля, конечно, ни слова не произносит, глаза ее в растерянности остекленели.

Они идут в обход. Дома глухи. Дворы тоже — пусты детские качели, пусты натянутые веревки для белья. Пусты скамейки для

старушек, что у подъезда. И откуда-то выскакивают, проносятся мимо две собаки: “Пшли! Пшли!” — кричит Чурсин, а Оля Павлова в страхе жметя к Ключареву. Остановились. Сложив руки рупором, Чурсин взывает к окнам домов: “Э-эй!” — после чего тянется долгая-долгая минута. В одном из темных окон возникает лепешка лица, слышится совет через фортку:

— Не пройдет тут. Возьмите еще левее. И идите до самой стены!

Дома с мертвыми глазницами окон тянутся без конца, бесконечны пустые дворы, но как только в междомье Чурсин, Ключарев и Оля оказываются на сквозняке, сразу же слышно то же тысяченое шарканье по асфальту и смутный гул (все же не рев) толпы. Стихающий на миг топот обманчив. Чтобы определить этот надвигающийся гул, они еще больше огибают дворы, но появляется линия прилепившихся друг к другу гаражей, она опасна, она может напрочь отрезать, и тогда как идти?.. Дворы... Детские площадки. Песочница, брошенные детские совки. А гаражи все тянутся (один гараж со взломанной дверью, машины, конечно, нет). Вдруг объявляется пьяный мужичок. Маленький, худой, он идет за ними и ноет: “Тто-тто-варищи. Нни... нне... бросайте меня...”

Ключарев и Чурсин не говорят ни да ни нет.

Пьяный тащится сзади, бормочет о потерянном лотерейном билете, о том, что только что его сбил автобус и даже, кажется, переехал, так что теперь “все внутренности стали вытянуты”.

— Не ной, — строго бросает ему Чурсин.

Подошли к каменному высокому забору, за ним должна быть площадь, которую надо успеть пройти прежде толпы. У забора пьяндыга начинает ныть с особой силой, цепляется, мешает, лезет к ним, боится, что его здесь навсегда бросят. Времени нет. До такой степени он осточертевает своим нытьем, что Чурсин и Ключарев подсаживают первым его и помогают перевалиться по ту сторону, взгромоздив его на забор, как куль.

Но главное — Оля. Ключарев отыскал доску, приставил к забору: доска коротковата, угол подъема велик, Оля подымается по доске, опираясь на руки Чурсина, сам Чурсин остается на земле. Руки Чурсина не достают и слабеют, доска тяжелеет с каждым ее шагом, но к этой минуте Ключарев уже сидит на каменном заборе верхом и тянет руки к ней сверху, ну... ну еще немного. Дотягивается и перехватывает Олю, помогает ей сесть на кромку забора. Ключарев мокр, он обливается потом, помогая Оле медленно спуститься, удерживая ее за обе руки. “Только не плюхаться. Не падать. Терпи. Опущу тебя почти до земли”, — повторяет Ключарев, еще немного — и его пресс лопнет от натуги. Но уже Чурсин перелез через забор, спрыгнул и принимает весь живой вес Оли и ее живота на руки.





— Скорее! — поторапливает Ключарев.

С высоты забора, прежде чем спрыгнуть, Ключарев видит дальше, чем видят они: впереди лежит площадь — огромная толпа заливает ее, но верх площади еще чист, пуст, надо успеть.

Топот тысяч и тысяч ног заполняет, забивает уши, — все трое вместе устремились к незанятому пространству, необходимо достичь хотя бы середины площади (чтобы их выталкивало, но уже на ту сторону). На них набегают. Столкновения нет, так как первые люди бегут довольно редко, меж ними прогалы, и насколько Ключарев, Чурсин и Оля стараются уклониться, настолько и бегущие стараются с ними не сталкиваться, не сшибаться. Эти прогалы, пустоты толпы дают возможность сохранять свое движение и тогда, когда уже начались неминуемые толчки тела о тело. “Не могу!” — говорит Оля Павлова. И, оступившись, вдруг садится, обхватив руками живот и тяжело дыша. “С ума сошла!” — кричит Чурсин, ухватывая ее за руку.

Она вопит:

— Не могу-уу!

Ключарев и Чурсин, наклонившись над ней, тянут за руки, просят, уговаривают ее хотя бы подняться. Их обегают, на них наскокаивают, сшибают с ног. Толпа густеет, их начинает сминать, тащить — Оля Павлова все же кое-как поднялась, непрерывные удары локтей, подталкивание, пиханье. Лицо в лицо жаркое дыхание людей. Затмило. Вокруг головы, плечи, пиджаки. Ключарев и оберегаемая Оля стоят обнявшись. Оба уже срослись, слились в одно, но продвижению это не помогает.

— Чурсин! Чурсин! — зовет Ключарев.

Но того уже оторвало от них: не видно. Рев и гул вокруг. Толпа густа, но еще густеет, сдавливая. “Не дергайся. Держись за меня. Держись за меня”, — уговаривает Ключарев Олю, чуть что и подталкивая ее в возникающий впереди небольшой прогал (думает — достигли середины? или нет?). Оля дышит ему в лицо, в шею. Она молодец. Кажется, они все-таки на той стороне, и Ключарев решает больше не пробиваться, отчасти подчиниться толпе. Сразу становится легче. Их сдавливает, стискивает, определенно несет вперед и в сторону, вынося по какой-то почти осязательно плавной кривой. Держащиеся вместе, они делают шаг-два в прогал, потом снова подчиняются потоку и, подхватывая их как щепу, толпа несет, как несет река. Через головы и кепки Ключарев уже видит ту сторону площади: дома на той стороне помалу приближаются, словно Ключарева с Олей и впрямь выбрасывает медленным течением на отмель берега.

Лица толпы жестки, угрюмы. Монолита нет — внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью с ее повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы,

задеревеневшие кулаки наготове, и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз. Люди теснимы, и они же — теснят. Стычки поминутны, но все их стычки отступают перед их главным: перед некоей их общей усредненностью, которой не перед кем держать ответ, кроме как перед самой собой, прежде чем растоптать всякого, кто не плечом к плечу. К счастью, движение Ключарева и Оли растворено в движении толпы неприметно: в сущности, скрыто. Их несет толпа. Они ее частица. Олю знобит. Зубы ее лихорадочно стучат от пережитого страха. “На всю жизнь. На всю жизнь...” — повторяет Оля Павлова, мол, запомнила и не забудет.

В какую-то минуту, вытянув шею, Ключарев видит Чурсина: тот не может выбраться из коловорота, образовавшегося у фонарного столба. Пытаясь вырваться, Чурсин делает отчаянные усилия, но едва он, работая локтями, отбивается в сторону, как его тут же волочет с общей массой назад. Волочет с такой силой, что он вынужден вновь хвататься за фонарный столб. “Чурси-иин!” — кричит Ключарев, но тот не слышит. Еще миг Ключарев видит его лицо, мокрое от усилий, от мышечной работы, его кепку, а затем Ключарева и Олю сносит дальше, Чурсина отрывает от фонаря, и лицо его с надвинутой кепкой исчезает, унесенное толпой.

Они уже определились, Оля Павлова и Ключарев, — вся толща толпы позади, их нет-нет и подталкивает, но уже несильными пульсирующими толчками. Можно сказать, что они шагают рядом.

Они на той стороне, возле одного из домов. Ждут. Ноги у Ключарева мокры под брюками, будто бы нижняя половина его тела была в бане, более жаркой, чем голова и грудь. Он уже сориентировался. Показывает Оле пальцем на корпуса мединститута: “Вот там...” — а мимо них все идет толпа. Толпа напирает. Ключарев и Оля жмутся в спасительный проулок, а толпа, густея, давит вперед. “А-аа. Уу-ууу...” — катится окрест многоголосое, многоногое и ничем не сдерживаемое, если не считать застывших справа и слева каменных тел зданий. Появляется, слава Богу, Чурсин. Он без кепки, растерянное лицо человека, которому помогло чудо, а не былое его детдомовство. А толпа все катит за валом вал.

Они вновь идут вместе, все трое — идут проулком по печальной своей необходимости, все прибавляя шагу и все более (после рева толпы) погружаясь в ту самую тишину, что так их пугала.

Улицы вновь пусты. Небо темнеет. Сумерки.

Они отыскивают нужный им корпус (отсюда позвонили на АТС, а те перезвонили Оле) — пускают их здесь только до перегородки, за которой сидит человек с оружием, как бы вахтер. Они долго объясняют через перегородку, кто они и зачем пришли. “Семеныч!...” — человек кричит некоего Семеныча, зычно кричит в пустоту здания, и появляется невысокий мужичонка в ватнике, с огромными ржавыми ключами на стальном кольце. “А-а. Здравств-

вуйте“, — довольно просто (и довольно человечно) говорит Семеныч и машет им рукой, пошли, мол, после чего они без помех идут за ним к моргу. К маленькому домику на отшибе.

С самого начала их похода Ключарев понимал, что никуда они этим вечером тело Павлова, конечно, не повезут (на чем? и куда?..) и что надо похоронить здесь же. И потому, ища подходы и контакт, Ключарев говорит о том о сем с Семенычем, говорит простецки и душевно, а Семеныч тоже простецки нет-нет и выпаливает вместо ответа: “Х-ха!“ — шагают они рядом. Сзади идущую Олю Павлову захлестнули слезы, слышится короткий ее всхлип, рыдание. Но с ней Чурсин, обнимает ее за плечо, успокаивает.

Меднолицый, бренча связкой ключей, Семеныч выносит Оле бумагу, где она расписывается. Но внутрь они ее, конечно, не пускают. Входит внутрь Чурсин, за ним Ключарев — Семеныч включил свет, показывает, — быстро заворачивают они своего насмешливого Павлова, лежащего на переднем столе, в одну из простыней. Павлов во льду, весь ледяной; в брюках, в рубашке, в пиджаке, и галстук, как и при жизни, насмешливо отброшен в сторону. Завернув в первую, они кладут его на вторую простыню и, крепко держа за углы, Чурсин спереди, Ключарев сзади, — выносят. Оля стоит, обхватив лицо руками.

Далее все быстро. Семеныч еще раз спрашивает, нет ли у них машины (машину, если она и есть, в сумерки паркуют тихо, стоит себе меж других машин, словно бы также безбензинная и брошенная). Но машины и точно нет. Тогда Семеныч говорит про разрушенную церквуху на задниках второго институтского корпуса. Там есть ряд старых могил. Третьего дня он, Семеныч, самолично похоронил там одного парнишку, затоптанного толпой.

Конечно, старую церквуху могут снести, построят следом дом, и Оля окажется без могилы мужа. Но ничего лучшего нет. Поэтому Ключарев молчит (ни слова Оле), молчит и Чурсин. Семеныч вызывается их проводить. Извлек откуда-то старые больничные носилки, чтобы легче нести. Сменяя то одного из них, то другого, он помогает нести в очередь. Он замечателен, этот Семеныч, последний профессионал, честно выполняющий свое дело. Ключарев несет сзади, а Семеныч впереди, невысокого роста, в старом ватнике, с седой головой.

Церковь порушена, еще и осквернена остаточным хламом, был склад, но больше и под склад не захотели использовать, — при появлении людей вороны дружно взлетают, одна из них, взлетевшая, покачивается на высоком штыре, что вместо креста. Семеныч, отыскав в кустах лопату, говорит, что копать будет он, ведь он это делает лучше. Но и они, сменяя его, копают. Яма быстро углубляется; сначала зев ямы похож на лаз, на дыру, затем на какое-то время яма делается емкой и обещает стать пещерой, но затем мертвая

форма прямых углов овладевает земляным пространством, и яма становится тем, чем и хочет сейчас быть: могилой. Пещера их Павлова, он ее получил, земля ему пухом. Оля припала к холодному телу; целовала, высвободив голову. Это конец. Они опускают его без гроба, в простыне. Засыпали. И стоят рядом, отдельно от него, когда уже над ним их скорый холм.

Семеныч, тряся ключами, провожает их и все говорит Оле, что “для приметы“ он посадит тут “отменный шиповник“, пересадит к могиле уже живой, большой куст, — Семеныч, расставаясь, делается слишком говорлив, из него продолжает исходить доброта, которой, как ему кажется, он не успел вполне окружить их при недолгом общем деле.

Проводив Олю, они еще какое-то время стоят у подъезда ее дома — сама Оля, Чурсин и Ключарев. Мужчины говорят друг другу, что надо держаться вместе. Чурсин уверяет, что бункер его старичка-соседа прекрасно вместит всех и что при опасности пусть каждый немедленно приходит к нему, а Ключарев в свою очередь сообщает, что роет пещеру, место отличное и хорошо спрятанное, рядом ручей, вода прозрачна... Так они зовут друг друга, но исподволь проступает уже знакомое ощущение расставания. Потому что вместе — опаснее. И хотя они искренни и говорят, да, да, да, держаться вместе, быть вместе, искать вместе, с каждой минутой проступает, что хорошие слова — лишь надежда и что еще минута, и они разойдутся. Смолкли. По причинам, не зависящим от их движений души, Чурсин надеется на бункер, Ключарев на пещеру, а Оля Павлова на свою пугающую дверь с объявленной за ней “пушкой“. Грустное чувство. Кажется парадоксом, тем не менее природа призывает их сейчас не объединиться, чтобы выжить, а, напротив, — быть порознь, затаиться в своих щелях, сделаться меньше и незаметнее, ибо именно у распылившихся, у ставших как пылинки более шансов выжить и уцелеть.

Оля Павлова стоит отрешенная. (Она еще там, у могилы.)

Ее спрашивают:

— Как твои роды? Сестра приедет?..

Оля кивает — да, сестра обещала, старшая сестра приедет ко времени и поможет. Это важно. Жена Ключарева и жена Чурсина, конечно, тоже помогут. Но как общаться? Как узнать, если ни телефона, ни почты?.. Время от времени хотя бы перекинуться словцом, ну, скажем, там, где автобус № 28 делает круг. Этот круг (более или менее!) недалек от всех них. Да, да, если что-то рушится или что-то случается особо важное, то у автобуса № 28...

ТЕМНЕЕТ БЫСТРО, но еще не ночь. Возможно, темнота кажется большей, чем есть, из-за того, что, когда Ключарев идет со-

вершенно пустой улицей, среди тысячи темных окон два окна вдруг вспыхивают и словно выстреливают в глаза Ключареву (случайно в чьей-то квартире зажгли и тут же, спохватившись, погасили). Невольно вобравший в себя вспышку, как это бывает в полутьме, он на время слепнет. Идет как в ночи.

До такой степени глаза еще не видят, что Ключарев натывается на человека. Ключарев тут же отшатывается в сторону, но и человек отбегает: он тоже не видел Ключарева, потому что, присев, как раз рылся в карманах кого-то, лежащего сейчас на асфальте, вероятно, мертвецки пьяного. Человек отбежал. Но видя, что Ключарев прошел мимо, человек тотчас возвращается к своей жертве.

— Иди, иди! — кричит он, осмелев, хриплым голосом вслед Ключареву.

Садится на лежащего и выворачивает ему один за одним пиджачные карманы. Покончив с пиджаком, лезет в брюки. Отбрасывает из добычи что-то в сторону, что-то счастливо прячет себе. Пьяный не подает признаков жизни. Возможно, мертвый.

Ключарев один, больше никаких встреч. Сумерки. Пустынная улица, и негромкий звук его собственных шагов.

4

ЛАЗ НЕМНОГО РАСШИРИЛСЯ. Это видно. Каждый раз, уже свесив в дыру ноги, готовый спускаться, Ключарев, сидя на краю, выбрасывает предварительно все из карманов, чтобы не пораниться при протискивании, — авторучку, ключи от квартиры, кошелек; Ключарев перекладывает добро в небольшой мешочек-пакет, привязывает его к ноге, за лодыжку, так что пакет висит на ноге и неощутимо опускается сам собой в лаз прежде Ключарева, все ниже и ниже. Но все острые камни в пакет не спрячешь, не застрахуешься. При дерганьях тела (а они обязательны) Ключарев уже не втискивается, а ввинчивается, сначала коленями и задом, а затем плечами, делая круговые движения, при этом шумно дыша, а то и вскрикивая, если вдруг больно. Кремень, камешек (все-то с орех) отрывается от грунта, попадает меж узкой горловиной и ребрами Ключарева — и вот уже нестерпимая боль. Теперь главное не задержаться и не сбить дыхание, иначе в страхе начинаешь инстинктивно выкарабкиваться наверх, как утопающий, и весь труд зря: отдышался — спускайся снова. Поджатой левой рукой Ключарев пытается кремень ухватить. Нельзя упустить минуту: камешек, прорвав кожу, может на чуть войти в рану, тогда хоть погибай. Руки горят. Ключарев в то же время выдыхает из легких весь воздух, насколько может, с тем чтобы на миг освободившийся камень собственным весом сполз пониже. Камень либо сам упадет вниз (так в этот раз и случается), либо поджатая левая рука Ключарева сумеет стронувшийся

камень выискать и прихватить в пальцы. Вот сколь важно дыхание. Весь сжимаясь, Ключарев еще раз выдыхает из легких — и камень летит вниз. Больше того, за камнем следом, со все еще поджатыми легкими, и сам Ключарев рывком ввинчивается вниз чуть ли не на полметра. В боку боль, камень успел продрать бинт и поранить кожу, зато и Ключарев уже преодолел узкое место горловины.

Теперь Ключарев старается быть толще, упирается локтями, так как лаз широк и ноги не чувствуют земли — ноги висят. Еще усилие, и протиснувшийся Ключарев уже весь зависает в воздухе. Он висит над свободным пространством, нашаривая ногами верхнюю перекладину лестницы-трапа. Ни правая, ни левая нога ничего не находят (Ключареву бы хоть чуть опустить голову, чтобы видеть). В потолке, к счастью, из самой дыры торчит кусок арматуры, Ключарев, заскользив, ухватывается за него руками. Теперь он висит надежнее. И видит. Внизу — застолье, шум и гам, как всегда. Лестницу-трап с несущим ее столбом передвинули в сторону, так как для посетителей понадобилось поставить несколько дополнительных столиков.

— Эй! — окликает Ключарев. (Но не слишком громко; ему кажется, неловко и не слишком-то интеллигентно прерывать занятых едой и беседой людей.) Так и есть. Они поставили столики, пьют, спорят, а лестницу-трап попросту сдвинули, забыли. Два новых столика. Они почти под висящим Ключаревым.

— Эй! Э-ээй!

Можно разбиться. На миг высвободив одну руку, Ключарев наскреб пальцами сколько-то камешков вместе с землей и бросил вниз, метя не на стол, конечно, но в крайнего из сидящих мужчин. Мимо. Еще раз — теперь Ключарев выбрал камешки, землю отсеял меж пальцев, и пригоршней камней запускает в крупного мужика с поднятой в руке стопкой водки. Попал. Тот недоуменно глядит направо-налево, наконец, подымает глаза.

— Ого! — вскрикивает он. — Смотрите!..

Затем его дама, затем и другие люди за столиками галдят и указывают друг другу на Ключарева, прилипшего к потолку. Мужчина отставил водку и кусок рыбы на вилке, встал, к нему подбежал официант в помощь — вдвоем они подкатывают столб с лестницей-трапом. Столб не дается, тяжел, так что еще два интеллигентных бородача бросаются помочь. Пьяненькие, щедрые, улыбающиеся Ключареву в его высях, они оттолкнули официанта, мол, занимайся своим прямым делом, слабак, — и дружно, мощно катят столб, подкатали, с разгона едва не ударив Ключарева верхней ступенькой стремянки по ногам. Подошвы обрели опору. Ключарев спускается, на каждой перекладине слыша мелкую дрожь ног. Ди-афрагма после долгого висячего напряжения никак не успокоится, дергается, в придачу одолела икота. Но уже обступили, хлопают его

по плечам и ведут за тот, или за тот, или даже за третий столик — к нам! к нам! — и чтобы сбить его малоэстетичную икоту, Ключареву наливают нарзану и пепси, но кто-то кричит, что это ошибка, коньяк, коньяк вернее всего! Ключарев еще не различает их лиц.

— Ты же голоден! поешь!.. сегодня отличная вырезка, поешь! — говорят ему со всех сторон, суют тарелку, стопку, и Ключарев пьет и жует, приходя помалу в себя.

Возобновляется их разговор (о Достоевском, о нежелании счастья, основанного на несчастье других, хотя бы и малом, — известный зачин), и уже через две минуты душа Ключарева прикипает к их высоким словам. Они говорят. Сферы духа привычно смыкаются над столиком, и Ключарев, онемевший (мертвый) на тех пустынных улицах, где активен лишь вор, сидящий верхом на жертве и роющийся в ее карманах, — онемевший Ключарев слышит присутствие слова. Как рыба, вновь попавшая в воду, он оживает: за этим и спулся.

Замечательно освещение; Ключарев с удовольствием вглядывается в лица. В полутьме улиц он привык довольствоваться слабым пятнышком лица, смазанным очерком скул, и потому сейчас почти невольно вбирает богатство всякого человеческого лица, все равно мужского, женского.

Высокие слова отступили. Общение не может быть высоким непрерывно; так же, как нельзя всю ночь смотреть на звезды. Душа расправилась, затрепетала, вздохнула — и того довольно. Механизм всякого разговора таков, что за кратким всплеском духа идет простой треп, бытовщина и ирония над ней, жутится долгая жвачка обмена информацией, и только вдалеке маячит вновь всплеск духа, быть может, мощный или, быть может, минутный, краткий, как разряд, но ради него, минутного, и длится подчас подготавливающее нас человеческое общение.

Вера в то, что мы в м е с т е (и там, на темных улицах, и здесь за столиком), и вера в то, что это в м е с т е уже изначально заложено в нашей сущности — что это? почему это?.. Говорит Георгий Н., молодой, в нем пляшет нетерпение; Ключарев его знает мало. Георгий Н. переводит общее внимание на Ключарева; спрашивает:

— Но электричество есть?.. Не ходите же вы там в полной тьме?

Что ему ответить? как выразить стометровое отстояние одинокого фонаря на дальнем подземном переходе пустой улицы?.. Отвечая, Ключарев машинально теревит рубашку и, как оказывается, отрывает ее, прихваченную запекшейся кровью, — движение за движением, по сантиметру Ключарев отдирает рубашку от тела (это не больно, и это с пользой, потому что не дает рубашке присохнуть к ранкам). Георгий Н. вдруг заходится кашлем (тоже своя боль), и когда кашель стих и Георгий отнял платок ото рта, Ключарев успе-

вает заметить в платке сгустки крови. Кровь не телом, а горлом. Много света, но маловато кислорода. Георгий Н. наскоро бросил платок в большой солидный портфель, спрятал, вынув на подмену другой. И как ни в чем не бывало сидит, оглаживая платком свои молодые усы.

— Надо бы еще выпить. Сергей, закажи официанту еще по сто.

— А закуски?

— И закуски тоже.

И снова включается в их разговор:

— Позволь, Сергей, тебе возразить...

Незнакомый Ключареву мужчина с красным шейным платком начинает новый безупречный накат слов — впрочем, без страсти. Дух оставил говорящих на время; но говорящие поддерживают хотя бы уровень своих слов. (Дабы духу было куда вернуться, — угли, которые раздует, быть может, ветер.)

— ...И если беда, то беда эта — общая. Давайте взглянем хоть однажды на слово “общая” с дурной, с отрицательной его стороны. Что нас пугает? Нас теперь то и пугает, что мы общи и повязаны общностью — стрясись голод, уличные беспорядки, погромы и убийства прямо на улице, толпа обезумевт вся целиком. Э т о — охватит всех нас, вот общность. Мы не верим ни в милицию, ни в войска, ни даже в танки на улицах, потому что милиция, войска, танки сами точь-в-точь такие, как мы. Они непременно запоздают. Они сто процентно запоздают, потому что они и толпа — одно общее...

Ему (несколько ворчливо) возражает пожилой мужчина. Говорит, что мрачность — тоже наша нынешняя общая черта, не поддадимся же ей.

Женщина (она до этого молчала) вдруг сворачивает в историю:

— Но связана ли с нынешней общностью русская крестьянская община? я имею в виду — коллективистское мышление общины?

Хочется приопустить разговор в глубь веков, в старинные заводы и дубравы отшумевших и не столь болезненных обобщений. Отход в древность поддерживает огонь в углях. Мысль перестраивается, нет-нет и вспархивая из залежей истории с прихваченным оттуда квантом старой энергии. Дух так и оплодотворяется более всего — хаосом различных мнений.

Ключарев встает. Он отдышался, “глотнул“, теперь он может продолжать жить — может вспомнить конкретные мелкие заботы: чай, батарейки купить, керогаз, что там еще?.. Поскольку он уходит, они хотят выпить за его здоровье. (И если он уже встал, они подымутся и выпьют стоя.)

Молодой Георгий Н., не давая остыть теме, торопится сказать:

— Мы, как пчелы, повязаны роиностью. И как пчелы, мы погибнем все сразу, если погибнем. Где бы мы при этом ни находились (вверху или внизу — все равно!). Еще минуту. Я рад, что мы

пьем стоя. Мы словно в полете. Как гибнет рой, вы знаете? — пчелы все разом взлетают, взмывают, последний воздушный дриблинг, полет, а потом все разом они валятся на землю, на траву, лапками кверху, и — отвернитесь! — некрасивое последнее содроганье...

ПОКУПКИ. Поразительно это обилие света! Светильники теряют подчас уличную симметрию и обрушиваются на его зрение гроздьями, огненным водопадом, игрой огня — еще немного, и Ключарев почувствует, как в воздухе пахнет хвоей, разлапистой елкой, детством.

Магазины, расцвеченные в час распродажи. (Зазыванье ведь тоже игра из детства.) Магазины набиты товаром. Что хотите. И как хотите. Ломятся от добра. Продавцы, правда, надменны и слишком сыты. Когда покупателей немного (а покупателей почти нет), продавец должен быть по европейским, скажем, образцам покладистым, если не любезным, — но ведь тут, кажется, не Европа и даже не эмиграция. Продавец помогает Ключареву выбрать малоемкий керогаз, но едва Ключарев заплатил, швыряет ему для упаковки (завернешь сам! руки не обломатся!) пакет с яркой надписью своей лавчонки. Пакет не долетает до Ключарева. Продавец уже отвернулся, уткнувшись в газету.

Ключареву нужна ткань, обычная грубая серятина для выстилки той пещеры, что он копает на спуске к реке. В соседней лавке продавец много любезнее — зазывает, приглашает войти. Его магазинчик сверкает изнутри еще более, чем снаружи. Неоновые стрелы рекламы многоцветны и упираются каждая в свою ткань: ткани великолепны, яркие и привлекательны, но Ключареву нужно совсем иное. “А мы вам скатаем ткань в рулон. Удобно нести, как удилице. Как смотанную удочку!” — шутливо предлагает продавец, взгляд его цепок, умен. Быть может, он видит через свитер Ключарева рельеф бинта, обтянувшего его ободранное туловище (и ведь “удобно нести” как раз и означает — вытянуть в лаз, вытолкнуть в дыру, удобство узости). Ключарев (он и не делает из покупок секрета) объясняет, что цвет нужен серый; если не темный, то во всяком случае сдержанный цвет, чтобы не привлекать внимания ни издали, ни даже если всунуть внутрь пещеры любопытную голову. Если же краски, то пусть дождь и пожухшие до черноты листья и мокрый снег будут вашим краскам в тон.

— Нет, — мотает головой продавец.

И повторяет, понимая Ключарева, но не умея ему помочь:

— Нет.

И кричит уходящему Ключареву уже вслед — вы нигде не найдете, разве что бросовое на складах?!. И ведь нетрудно вытоптать! вы и не заметите, как вытопчете ткань после первого же дождя!

Кто-то трогает Ключарева за плечо. Извините. На одну лишь минуту... Это продавец из лавки, но не тот, с умным взглядом, а первый, хамоватый, у которого Ключарев купил маленький керогаз и батарейки. Вероятно, все эти десять минут ключаревский керогаз ("Самый маленький. И желательно узкой формы...") медленно доплывал до его ленивого сознания — и доплыл.

— Послушайте, — продавец понижает голос до шепота. — Послушайте. Вы будете выбираться наверх?

Ключарев кивнул.

— У меня просьба. Не откажите... Позвоните по этому телефону, — он дает (дарит) Ключареву еще одну батарейку для фонарика, на корпусе ее четко написаны семь телефонных цифр. — Скажите им: привет от Валентина Андреевича. Валентин Андреевич — это я. Да, только привет. Я больше ничего не прошу. Только три этих слова. Мол, жив и здоров...

Сытого хамства на его лице уже вовсе нет — просящий интеллигентный человек, Ключарев, конечно, не может отказать, Ключарев смущен (только что плохо о нем подумал). Но ведь на темнеющих наших улицах почти все телефоны без энергопитания. Он пытается. Нет, обязательно попытается... Нет, это ничего не будет ему стоить.

Складское помещение. Ряд закрытых дверей. Но одна дверь приоткрыта — Ключарев заглянул, тетка Ляля, жирненький стареющий бабец (и когда только он отделается от жаргона молодости), в фиолетовом чистом халате, все еще лежит с той самой поры на положенных один на один упругих мешках. Ключарев вошел — озабоченно говорит про ткань. Полулежа, Ляля кивает, мол, понятно. "Вот опять понадобилась!.." — смеется, не подымаясь.

Ключарев, поважнев, объясняет — ткань, мол, нужна прорезиненная, но теплая.

— Есть такая. Третья складская дверь.

Говорит она лениво, едва подняв голову. Полулежит. Глаза ее увлажнены, удовлетворены; быть может, дремала, но скорее всего просто-напросто не отошла с той сладкой минуты. Мадам. Смотрит на Ключарева разморенными глазами, прикидывая, поспать с ним сейчас или не поспать, пропустить один раз мимо.

Ключи рядом, и одной рукой она вяло ими поигрывает (музыка! они чуть позвенькивают!). Ключи лежат на клетчатом мешке, словно бы тоже разморенные музыкой, и она пересобирает их пальцами, приводя их негромкий звон в полное согласие с притихшей душой. "Подойди ближе. Ближе. Прошу тебя..." — он подошел. Она улыбается. Той же рукой, не подымаясь, тянется к его брюкам, что как раз на ее высоте. Запустив руку внутрь с той же ленцой, глядя ему

глаза в глаза, она перебирает там пальцами, как только что перебирала связку ключей. Ключарев молчит, она перебирает. Но, видно, решив, что напрягаться ей сейчас не по настроению или просто лень, ограничивается лишь малым удовольствием его возбуждения: на уровне то ли ласки, то ли игры. Затем сворачивается клубочком и закутывается в немодный складской плед. “Возьми ключи“, — говорит. Закутанная в плед, поджавшая ноги, лежит, провожая взглядом Ключарева, отправляющегося вдоль запертых дверей.

Вышедшие из моды ткани (водоотталкивающие и к тому же теплые, с ворсом). Цвета те самые — от серого до землистого. За третьей дверью склада Ключарев тщательно роется, выбирая. А выбрав, скатывает отмеренный материал в рулоны, стараясь сделать скатку ровной, без морщин.

Уносит два куска тканины, свернутые в узкие рулоны. Две пики. (Две смотанные удочки.)

Холеная старенькая тетка спит, и Ключарев (неожиданно) испытывает человеческое сочувствие к ее годам, к возрасту. Все мы стареем. Он кладет ключи подле нее. “Я не сплю, — она, кажется, оправдывается; она спит и пытается выразить чувство, не открывая сонных глаз. — Я не сплю. Я томная...”

На открытой эстраде поэт; в руках микрофон, слова несколько гулки. Здесь меньше света, но больше блеска. Кроме того, два прожектора держат читающего стихи в перекрестьи (когда поэты смеяют друг друга, прожекторные лучи тотчас разделяются, один луч провожает уже выступившего, второй луч выхватывает из толпы и в овале света ведет к микрофону того, кто будет выступать со стихами следом). Люди вокруг замерли: слушают, Ключарев не стал пробираться ближе; со своими рулонами, прижав их к груди, он стоит поодаль, но он тоже замер. Слово имеет над ним власть. Стихи при непосредственном впечатлении улавливаются приблизительно, но талант нет-нет и сверкнет, и тайна, как озеро поутру, исходит белым туманом поверх воды произносимых строк. Ключарев пьянеет. Поэт, по его мнению, очень вырос. Под стать и облик. Жесты руки умеренны, артистичность несомненна, и даже некоторая громкость дыхания, плата за микрофон, не в счет.

Неподалеку целая россыпь киосков, где предлагают купить стихотворные книжечки. Пестуют вкус. Ключарев видит девушку-продавца — держа раскрытый томик в руке, она следит за стихотворной строкой глазами и одновременно слышит стих в авторском исполнении (нирвана?).

Видит Ключарев и поэта, которому предстоит сменить выступающего. Тот весь волнение. Щеки в румянце, не может с собой справиться... Волна рукоплесканий, шум и ликующие возгласы завершили отзвучавший только что стих. Через головы потянулись запи-

ски (вопросы). У микрофона поэт принимает их одну за одной, белые записки вспархивают, бьются в перекрещивающихся лучах, как белые бабочки.

Видит Ключарев и смерть; прямо тут же, в двух шагах. Слушая стихи, человек закашлялся и согнулся — казалось, он сейчас распрямится, но он все сгибался, сгибался... и падает, откинув голову. Молодой. Говорят, смерть здесь легка. Некоторые оглянулись. Но в общей увлеченности мало кто заметил. К унавшему, впрочем, тут же подходят люди в белых халатах и, удостоверившись, что умер, — уносят. Быстро.

Когда человек ли, животное ли умирает внезапно, они расслабляют не только тудягу сердце, но и все свои мышцы, в том числе мочевого пузыря. Отчего и выскакивает маленькая, невольная детская струйка, последнее избавление от напряжения, от обязанности жить. Простительное это пятнышко так и осталось на асфальте. Недалеко от Ключарева. И почти перед самым киоском с девушкой-продавцом, державшей в руках стихотворный томик. Но, вероятно, известно, что не впитается, потому что появляются еще двое, поскоблили, потерли, присыпают песком. Самую малость проступает теперь на асфальте темный овал с ладонь величиной, словно бы детский. Все что осталось.

ЗАБЛУДИЛСЯ. Ключарев довольно точно свернул на улицу с ярко освещенными продуктовыми магазинами (он все время держал в голове, что забыл про чай, что нужен запас чая), но обратный путь следовало бы найти короче. Продуктовых магазинов сотни, но как пройти их поскорее, чтобы вернуться к тому винному погребку, где лаз? Именно поиск короткого пути приводит к путанице: приводит к тому, что одна (вроде бы такая знакомая, залитая светом) улица сменяется другой (еще, казалось бы, более знакомой!) великолепно освещенной улицей, тем не менее, выйдя на площадь, Ключарев понимает, что здесь он впервые. Чай он купил, но надо же отсюда выбраться.

Понимая, что сбился с пути, Ключарев пытается угадать верное направление. Надо прибавить шагу. Свернутые рулоны тканей он кладет, удобства ради, на плечо (воин с двумя пиками) и — вперед.

Он вспоминает, как совсем недавно заблудился там, на близких от дома темных улицах (тут его сбило с пути обилие света и рекламы — там отсутствие света и тьма). Он всего-то и хотел на той темной улице добыть свечку. Без свечей не жизнь, и Ключарев готов был даже украсть, в том новом смысле слова “красть“, которое уже появилось и прижилось, а именно: взять среди разворованного и уже бессмысленно валяющегося добра. В огромной магазинной витрине был пролом, оба стекла почти полностью высажены. Но все же, оглянувшись туда-сюда, как и положено вору-новичку, Ключа-

рев вошел в магазин (не влез, а именно вошел — так велик был пролом в стеклах). Прошагал вдоль пустого продуктового отдела и вышел к разграбленному, но не дочиста, отделу “Мелочи” — там были банки пудры, были какие-то тусклые тюбики, в полутьме прочитать их названия Ключарев не смог, была даже зубная паста, но ни мыла, ни единой, увы, свечки. Именно в поисках свечей он забрел тогда на товарные подъездные пути, вспомнив слухи о якобы неразгруженных вагонах. Меж вагонов он вдруг и заблудился. Понимал, что тылы вокзала и что, стало быть, совсем недалеко от дома, но выйти никак не мог. Вагоны, вагоны, вагоны...

Он увидел тогда несколько вагонов, полных уголовниками, которых не успели выслать из города. Увидел жалкую охрану — по два солдата на каждые два вагона. Солдаты были совсем юные, топтались в полутьме. Даже не прикрикнули на Ключарева, подошедшего слишком близко, — только смотрели и, кажется, ждали, не скажет ли он им чего. Но что мог он сказать?.. Проходя мимо, Ключарев слышал глухую возню в зарешеченных вагонах. Там топали. Там бухали. Громкий слышался мат. Где-то, как ему показалось, медленно поскрипывала отдираемая вагонная доска. Безусловно, солдатики были обречены, и, может быть, впервые в жизни сочувствие Ключарева пало не на запертых, а на тех, кто их охранял. Солдатики натянуто улыбались. Они подбадривали друг друга шуточками, ежились в вечернем воздухе. Когда Ключарев огибал последний вагон, один из молодых солдат, не выдержав, спросил:

— Вы не знаете случайно, скоро ли смена?

Нет, Ключарев не знал.

Обойдя состав, он увидел еще одну темную массу вагонов, кажется, пустых. Пришлось обойти их и медленно выворачивать к станции; ни огонька!.. Так плутал Ключарев тогда в темноте. Там давила на глаза темнота меж вагонов, здесь давит яркость зазывающих неоновых ламп.

Впрочем, Ключарев уже ориентируется. Улица сверкает, а провисающая нитка фонарей — как перспектива пути. Идет навстречу веселый люд, ага, рекламный щит, Ключарев его уже узнает. Ключарев переходит на ту сторону (а память еще удерживает недавнее прошлое, так что одновременно Ключарев выбирается на ту сторону состава). Ключарев идет сейчас словно бы сразу в двух пространствах, но ведь один народ, одна земля, что ж удивительного, если оба пространства совпадают и географией — ведь Ключарев идет и там и тут. И если он заблудился, сбился с пути, то он заблудился и там и тут. Уличное сострадание к самому себе. Ключарев идет меж газетных и книжных киосков, огни рекламы так бьют в глаза, что он вновь переходит на ту сторону улицы, где двери зазывающе открыты, а люди жуют и пьют, и дразнящий запах жареного кофе нельзя спутать ни с чем на свете. (Совпадение пространств. Одно-

временно Ключарев нагибается и подныривает под очередной темный вагон, потому что обходить на рельсовой путанице еще один длинный пустой состав нет сил. Огоньки. Большая темная масса. Вот и пыхтень — это паровоз, вероятно маневровый, и вот наконец стоит живой человек, железнодорожник с тусклым фонарем. Мазнул Ключарева лучом по лицу — мол, кто такой?

— Состав обойдешь, а там все время прямо. И выйдешь с путей к вокзалу, — объясняет железнодорожник заблудившемуся Ключареву.)

Совпадение пространств. Так что неудивительно, что на углу под яркой рекламой стоит некий человек с газетой, к которому тоже можно обратиться с вопросом. Одет человек солидно, отвечает спокойно:

— Улицу пересечете, а там все время прямо. И выйдете от магазинов к вашему ресторану.

Он объясняет заблудившемуся Ключареву. Сложив на миг газету, указывает ему рукой направление: там.

Путь теперь недолог, и Ключарев решается выпить пива. Он покупает и, встав на углу (и даже немного привалившись к стене, чтобы отдохнули ноги), пьет пиво из горлышка, запрокидывая бутылку. Забытое чудесное удовольствие. Но тут же Ключарев сам себе отчасти удовольствие портит: “Некрасиво! Войди в кафе“, — говорит он себе и корит себя пивной пробкой, которую он отшвырнул не глядя чуть ли не под ноги идущим. Спихватывается. Виноват. Он ведь одновременно шел среди темных вагонов. Часть из них была зарешечена. Несся глухой мат. Ключарев был здесь, на освещенной улице, но он был там, возле старого дощатого вагона, в плавающих запахах смазки и старых колес. В вагонах могли быть не только уголовники, могли быть и несправедливо осужденные — сложное чувство. И вот он, жест Ключарева, когда он отбросил пивную пробку на пахнущие прошлыми десятилетиями шпалы. С чувством вины, застигнутый среди яркой, залитой огнями улицы, он видит свою пивную пробку на сиреновом асфальте, свою руку, запрокинувшую вверх бутылку, которая булькает пивом прямо в рот. Что это он? Как же это он так?..

Ключарев приходит в себя (вполне определяется в пространстве) и, успевший сделать три-четыре глотка, идет допивать пиво в кафе; бутылку он уверенно держит в руке; бутылка, изнемогая, исходит крупными пузырями.

Свернутую в рулоны ткань Ключарев тоже не забывает; берет с собой.

КАФЕ-КЛУБ, вот что это за кафе — туда идут и идут люди, и Ключарева тоже тянет туда (отчасти все еще эстетика старых вагонов, мол, где больше людей, там и проще). Но оказывается, в кафе

происходит социологический опрос (здесь опросы что ни шаг), и опрос бог весть о чем, о вере людей в будущее. Вот только — в какое будущее? В ближайшее?

На его, ключаревский вкус, в этом кафе слишком много говорят о политике, но Ключарев уже вошел, и потому он скромно подсаживается за столик со своей бутылкой пива. Заказывает к пиву горячих колбасок с пюре; денег немного, но должно уже подкрепить силы.

За ближайшим столиком разговор. Уже, конечно, давний. Быть может, с интересами толпы вовсе считаться не следует (она сама не знает своих желаний!), и тогда толпу нужно попросту обмануть — но обмануть для ее же блага?!

— Быть может, нужен новый кумир, — рассуждают они, близко придвинувшиеся лицом к лицу, но говорящие достаточно громко. — Человек, но не кичащийся умом, нравящийся толпе, желательно добрый. — Но был же! был! — перебивают криками. — Однако в наши дни надо, чтобы человек этот нравился. Чтобы новый, совсем новый имидж. Не имидж отца родного, а скажем, имидж великого ученого, который придумает в экономике нечто (вместе с нами!) и нас спасет?.. а не сгодится ли имидж простого практичного мужичка, который поймет и простит наши слабости? А что — мы бы его подняли на щит. Мы бы придали и ума его недомолвкам. Мы бы раздули. Вознесли! Но как угадать, насколько он по нраву простой толпе? простой и усредненной толпе?..

Подбирая приблизительный типаж, они прогоняют перед глазами быстро сменяющуюся картотеку знаменитостей прошлого. Любимы не только политики. Никон, победивший раскол, называется первым. Старик Леонардо. Улыбающийся Александр Пушкин. Жуков, с его громадным подбородком. Чаплин с тростью, но в сильно стоптанных башмаках, под бедность. Кто сейчас, в наши дни, окажется люб ее величеству Толпе? Но если образ не в чистом виде, если гибрид — то в каких пропорциях и кого с кем?.. (Ключарев прислушивается. Заказывает еще пиво. Лампы мягкого внутреннего освещения кафе играют на вздувшейся пенной шапке.)

Бородатый мужчина ищет альтернативу более общую: быть может, нужен сейчас не кумир, а, напротив, — некто, кого люди бы откровенно не любили, и, не любя, они бы день за днем на нелюбимой физиономии отыгрывались? Человек, в сущности, недоволен собой. Всегдашнее, если не вечное недовольство собой. А воплощается оно в недовольстве с о и м правительством, с о и м и пустыми магазинными полками, страхом идти по темнеющей с о е й улице... Но что же мы придумаем, что мы можем придумать, если посреди ярких витрин и полных прилавков человек останется навязчиво недоволен?!

— Но-но! — перебивает тот, что напротив бородача. — Человек все же должен найти себе нишу. Он конкретен, и не раздувайте че-

ловека. Либо — да. Либо — нет. Либо он найдет себе нишу в виде любви к какому-то образу или сверхобразу. (И тут же запрячется в эту любовь, как в нишу.) Либо все к чертям. И не делайте, не делайте из человека загадку, не делайте из него великана, прошу вас!

Разговор взмetyвается, все они говорят теперь разом — как?! значит, все дело в обмане толпы образом?!. Как?! Стало быть, друг ты наш умный, вся и проблема в том лишь, чтобы толпу и народ обмануть? облапошить их, да? Убаюкать любовью к кому-то?..

Они слишком разгорячились. Кричат. Ключарев не доверяет разговору политиков — людей, спешащих прожить и умереть. С гонкой. С деформирующей психику напряженностью честолюбцев. (Для них и беседа — самоутверждение. Для них и поминки — зарабатывание очка.) Но он не бросит в них камень. И он готов им поверить, пусть только они постараются ради людей. Ведь всякий труд стоит благодарности. Ведь тоже божья искра. Среди витиеватых политических распрей тоже наступает миг, когда говорящие упираются в стену бессилия. Они как бы замирают. Они перестают драться, и в их безмолвии проступает неслышное звучание высоких слов. (Через минуту опять кинутся друг на друга, но ведь минута эта — время; недолгое время неосознанного братства.)

Они слишком кричат. (Но ведь он в кафе-клубе, что поделать.)

Страсти накалены и в соседнем небольшом зале, в глубине кафе, — это туда все время идут люди и, побывав там минуточку, выходят: это и есть тот самый зал отношения к будущему, где происходит опрос. Опрос до чрезвычайности прост. Если ты веришь в будущее своих полутемных улиц, ты берешь в учетном оконце билет и уносишь с собой. Если не веришь — билет возвращаешь. (Это очень зримо. Возвращенный билет бросают прямо на пол.) Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов. Холм уже высок. Но снова подходит человек, мужчина или женщина, и к брошенным листкам добавляет свой. Возвращает билет в будущее.

В зале несколько человек комиссии по учету, но от их нейтральности уже нет и следа — вероятно, поэтому страсти там так накалились. Они убеждают входящих людей верить, объясняют, настаивают, чуть ли не всовывая билеты им в карман, но те бросают свои билеты вновь: слишком, мол, много крови, слишком много тех слезинок уже пролито, и потому не верим, не желаем будущего на крови и слезах. Не хотим.

Один из комиссии, отбросив уже всякий нейтралитет, превращается на глазах в оратора. Он долго молчал. Худой, с впалыми щеками (и кажется, неизлечимо больной — Ключарев всех готов жалеть), он страстно кричит уходящим:

— Опомнитесь!.. Будущее это будущее! Ведь вы всю свою жизнь ели и пили на чьих-то слезах и на чьей-то крови. Да вы чи-

тать-писать научились на чьей-то крови!.. Да каким бы ни было будущее, вы уже сейчас спите, едите, пьете на тысячах тысяч слезинок младенцев, вы уже запятнаны, вы помечены!.. берите же свои билеты, смиритесь! оправдайте хотя бы то, что вы уже получили в школах, в вузах, это уже ваше, ваше — я не устану повторять, в а ш е будущее! — как бы вы теперь от него ни отпирались и как бы, уходя, ни бежали...

Он кричит. Он страстно кричит. Но они бросают и бросают свои листки, возвращают свои билеты. Холм уже в человеческий рост.

Торопливость тут же дает себя знать: за Ключаревым из кафе выскакивает бородач, нагоняет и — посреди шумной улицы — передает Ключареву забытые им рулоны: “Бежал за вами по улице, как стражник с пикой!” — смеется он, а спохватившийся Ключарев благодарит.

5

Дыра в потолке рваная, большая, но сузился ли лаз, не понять, пока не попробуешь протиснуться. Лестница-трап на своем месте, но есть новшество — под дырой натянут квадратный кусок парусины, своеобразная сетка-уловитель, чтобы осыпающаяся сверху земля и камни не падали на столики, где пьют и беседуют люди. Ключареву сетка никак не помешает. Когда с покупками Ключарев заберется на самую вершину трапа, он сразу окажется выше этой сетки.

Готовясь к подъему, следует расположить свой нехитрый багаж в очередь. Рулоны свернутой ткани. Пластиковая сумка с чаем. Керогаз. Свечи. Что еще?.. За столиком, что совсем рядом с копошащимся Ключаревым, тем временем идет разговор. Там две молодые пары и старик, и разговор их становится настолько интересен, что внимание Ключарева привлечено, ему не хочется уходить так сразу, так дорог ему вдруг теплый уют общения, интеллигентность, высота слов, возникающих как бы из ничего. (Кажется, разговор и слова только тут и набирают высоту и духовность, когда тебе пора уходить.) Ключарев думает уже с усилием: ага, если сначала протащить в лаз рулоны, то как же керогаз?.. Да, да, — говорят они за столиком меж собой, — понятно! Но как задействовать ресурсы личности, растворенные в толпе? Сейчас в ходу состояние индивидуума на уровне ощущений. Почти зоология. Но, — спорит и воодушевляется одна из молодых женщин за столиком, — но в человеке есть нечто и помимо зоологии, вот только как дать этому н е ч т о ход?.. как?

Они говорят. (Ключарев тоже не знает ответ. Он тоже не слыш-

ком-то верит в свою мысль о пещере. Но если речь о совместимости, Ключарев, конечно, откроет на время себе пещеру. Ключарев может отрыть еще одну пещеру для своего друга. Он может отрыть для соседа. Но он не может расширить лопатой дыру лаза: тут предел... Мысль его понижается: Ключарев делает себе заметку, мол, в следующий раз для работы внутри пещеры надо бы купить лопату с коротким черенком.) Они говорят: можно ли считать, что человек — существо, пересоздающее жизнь? меняет ли человек жизнь и себя?.. или это существо, которое дергается туда-сюда в своих поисках потому только, что не вполне нашло свою биологическую нишу? огромный биологический отряд, который ищет нишу? разумеется, ищет на ошибках и в своих пределах — это ли и есть люди? Туда нам нельзя. И туда нам тоже нельзя. И стало быть, в этих “нельзя” определяются наши границы. Черепахи уже нашли свою нишу. И обезьяны нашли. А мы только ищем. О, как мы сразу тогда успокоимся! Как станем всем довольны! когда найдем...

Они говорят искренно и с болью за человеческий (такой скромный) итог. Высокие их слова неточны и звучат, не убеждая, но с надеждой, что даже приблизительность искренних слов раскроет душу (лаз в нашей душе) и исторгнутая оттуда боль скажет слова новизны. Слова не выкрикнутся, просто назовутся сами собой, и люди, быть может, притихнут от догадки: вот оно!.. (И станет добра толпа? и добра и совсем неопасна станет многотысячная толпа, умиротворенная своим возвращением из кино или с бескорыстного большого застолья, когда ночь полна звезд; и чей-то голос в толпе поет?)

Они говорят. А Ключарев переносит на самый верх лестницы-трапа рулоны ткани, чай, керогаз... Ему близки, ему дороги их слова. Но человек конечен. Человек смертен. И как всегда, когда пора уходить, человеку кажется, что разговор достиг наконец своего белого пика...

Они говорят.

Ключарев сколько-то уже протиснулся в лаз. Вытянутой рукой, не с первой, но с третьей попытки он выталкивает, выбрасывает вверх свои рулоны свернутой ткани. Примерно так, как крепится боевой флажок к казацкой пике, то есть у самого острия, Ключарев прикрепил к одному рулону мешок с чаем и свечками, к другому — завернутый в пакет керогаз. Навязанный дополнительный груз задевает края, осыпая землю и камни. Пришлось протиснуться почти до горловины, держа рулон в вытянутой правой руке, затем только метать, — и все же, как ни тяжело, он выбрасывает один рулон с третьей, другой с четвертой попытки. Теперь Ключарев взбирается сам, глотая земляную пыль, которая, не оседая, стоит в дыре после стольких бросков; глаза полны песка. Ввинтившись в горловину, Ключарев, как всегда, испытывает при движении боль. На этот раз изгиб лаза дает его голове протискиваться только под углом, щека

обдирается в кровь, кожу словно снимают заживо. Узкое место. Как и всегда, Ключарев переживает тут минуту ступора: некую окончательность своего застревания, отвратительное омертвление. Он затычка. Тело уже не болит, не гудит ссадинами, так плотно и точно оно повторило изгибы дыры в этом узком месте. Ключарев уже настолько вполз и сдвинувшаяся земля настолько плотно облепила его тело, что он уже не он, он — часть земли, плотно, если не идеально подобранная телесная пломба. Именно в этом месте в какой-то будущий раз ему уже не сдвинуться: Ключарев кончится тут, и, мертвый, все еще будет оставаться пломбой, затычкой. Он будет разлагаться, все уменьшаясь, но и земля будет сходитьсь, забывая просветы пылью, песком, да и просто стискиваясь (земля это умеет); так что и после смерти Ключарев, можно надеяться, останется на посту, и кости его с прежним упорством будут осваивать лаз, пока не стиснет настолько, что земля станет для них обычной могилой. Но-но, подбадривает себя Ключарев.

Если не дергаться, ужас застревания помалу проходит. Мякоть мышц каким-то образом перераспределяет свои скрытые нагрузки; безусловно, не только опыт человека, но опять же и червя (от и до — все наше) приводит к медлительно-гениальному процессу перетекания тела. Сама собой чувствуется возможность шевельнуть рукой, затем немного сместить плечо, а затем, повернув удобнее, оторвать от приставшей земли кровоточащую щеку. Вот так. Вот так. Голова втискивается. Голова миновала горловину, теперь боль принимают на себя плечи. Боль тупа и обширна. В запасе есть еще одна мысль, которой Ключарев подбадривает себя в горловине, повторяя, что земля как женщина, как молодая, может быть, женщина, а он как мужчина, совершающий свое вечное мужское дело. (Земля, быть может, потому только и не сомкнулась, не стиснулась окончательно, что Ключарев, протискиваясь, каждый раз тут заново корячится.) Он продвигается, подбадривая себя тем, что боль взаимна, что дыре тоже больно, когда он дергается и обдирает плечи и щеки в кровь. Ей тоже больно. Ей каждый раз больно. Заклиная себя словом, Ключарев последним трудным поворотным движением высвобождает колени из узкого места горловины. Вот! Ободранная щека облипла песком, саднит, голова кружится, но голова уже вне лаза, голова над землей. Вот трава. Ключарев дышит прибрежным воздухом.

Выбравшись, какое-то время он сидит совсем расслабленный, пустой, без единой мысли. Иногда вдруг негромко постанывает, покряхтывает, приходя в себя.

Конечно, стемнело еще. Но — видно. Сумерки как сумерки. Во всяком случае Ключарев различает ниже по реке брошенные лодки. Лодки стоят у самого берега, привязанные. Замерли на воде. Людей там давно нет. Река тускло светла.

Переводя мимолетно взгляд выше, Ключарев словно ударяется глазами среди зелени пейзажа о черное рваное пятно: разрушенная его пещера... Так и есть! Подойдя ближе, он видит, что пещеру обнаружили и обвалили, быть может, просто назло копавшему. Рядом на траве две пустые бутылки из-под водки, следы ног на рыхлой земле. Попытались даже развести костер, погреться на чужих развалинах.

Грустная минута. “Но ничего“, — думает Ключарев. Грустно. Но ничего. Он в эту свою идею не слишком верил.

На черемухе висит убитая ворона. Убили и повесили над развалом. Мол, знай, как рыть себе свое.

Но Ключарев только сглотнул ком. Ключарев и тут найдет положительный момент. Что ж, думает он, от зоологии и ненависти перешли к конкретным знакам, которые можно понять. Это уже знак. Это уже начало диалога. (За знаками и жестами придут слова — разве нет?)

Он ищет свой инструмент. Нет ничего. Разумеется, забрали. Он роется руками в траве — пусто. (Но быть может, инструмент им понадобился. Быть может, инструмент им был нужнее. Ему не хочется думать, что лопату, лом и кирку они попросту бросили вниз, на дно оврага.)

Он чувствует усталость. Он устал, но не ропщет; он такой.

Ключарев идет домой — сначала по земляной, затем по асфальтовой тропе он медленно подымается в гору. Конечно же, несет с собой свой груз, рулоны ткани, керогаз, свечи.

Поравнялся с первой из пятиэтажек. Здесь магазин, в темных витринах которого Ключарев видит слабое в сумерках свое отражение. Стекла витрин заклеены полосками бумаги крест-накрест; предупреждая, что в магазине ничего нет, не бейте понапрасну стекла.

На улице ни души. В окнах пятиэтажек всюду зашторено и темно. Вот там и его окна.

Ключарев приостанавливается, чтобы несколько иначе перегруппировать свою ношу. Руки устали, затекли. Он сел прямо на землю и перекладывает керогаз в тот же пластиковый мешок, где чай, где свечи. Перераспределяет, увязывает, и усталость вдруг наваливается на него, и с усталостью вместе — краткий сон. Такое бывает.

Сны эти, как правило, нехороши и всегда на одну тему — земля стиснулась, сомкнулась, лаза нет, и он остался, навсегда отрезанный, на темных улицах. (Самый мучительный сон, когда земля стискивается в момент пролезания — Ключарев застревает в дыре, задыхается и гибнет. Если спит дома, он мечется, хрипит и бьется, дергаясь головой, пока жена не разбудит: “Да прекрати же! Прекрати!..“) Сегодняшний сон не столь мучителен, как сон застрева-

ния, но страшен. Лаза нет. Оставшаяся дыра ничтожна. Склонившись над ней, всунув туда, насколько это возможно, голову, Ключарев кричит им. Он кричит им первое, что приходит ему на ум, — о том, что нет свечей и батареек, о том, что на улице быстро темнеет, о порушенной пещере и повешенной дохлой вороне. (Логика не нужно. Им сгодится любая информация; их ЭВМ расшифрует.)

Как и во всяком сне, Ключареву приходится кричать им слишком громко. Кричит. Потом прикладывает ухо. И оттуда по узкой норе через стиснувшуюся толщю земли доносится:

— Говори еще! говори!..

То есть продолжай давать нам информацию, любую, всякую, какую угодно, — давай! И вновь Ключарев кричит им в узкую нору о пустынных улицах и о многотысячной топчущей толпе, о домах, в которых тысячи темных окон.

И снова ухо к дыре. И опять оттуда еле доносится:

— Говори! Говори!

Он кричит, что подступающая темнота отменяет человеческую личность. Что на улицах пугливы даже насильники и воры. Кричит о Денисе. Кричит о карманном запасе хлеба. О голоде. Кричит о темных шторах, даже если есть свет... Мысли его путаются. (Но ведь важно, что это говорится отсюда. Пусть потрудятся их компьютеры-расшифровщики, вычленив не только смысл его слов, но и ужас сна, исповедальную неготовность. Он сознает, что сон, но пусть они разложат его состояние на психомоменты, на блуждание мысли, на чистую информатику и на прочие кирпичики. Должны же они понять закодированные то спазмом, то невнятицей языка слова, которые искажены уже самим криком в дыру (с отбрасывающей вспять звуки акустикой), — они должны расшифровать и понять, кто же, если не они.

Теперь их ответ. Теперь Ключарев спускает им вниз тонкую веревку, нет, не веревка в прямом смысле, но специальная прочная лесо — она выдержит, скользнет, не застрянет, и, удерживая в руках свободный конец, Ключарев чувствует, как они там уже прикрепляют, цепляют что-то. Да, их ответ и их совет. Да, помощь. (Я тебе — ты мне, единственная возможность прямого обмена мыслью.) Ключарев выбирает, вытягивает лесу. Ага. Появляется длинный предмет, палка. В подступающих сумерках Ключарев не сразу различает палку. Тем более не понимает ее смысл. Мозг слабеет после долгого затяжного крика. Но за палкой появляется еще одна палка, теперь Ключарев видит и ощупывает на каждой палке загнутый конец, которым они прицеплены к лесе. Почему-то Ключарев (ведь это сон) ожидал вытянуть скрученный в трубку текст или микропленку с текстом (вроде бы в бамбуке, в котором вынесли паломники от китайцев коконы, секрет шелка), — но нет текстов, ни слова в ответ. Он был бы рад, на худой конец, если бы они присла-

ли в помощь свечи, узкие и длинные, метровые свечи, неужели же его информация о подступающей темноте была непонятна (искажена его криком?). Ключарев излишне интеллигентен, и, безусловно, он был бы несколько задет, царапнуло бы. Но он бы смирился (ибо не до щепетильности, когда вокруг голод), если бы вместо ответа душе он вытягивал бы сейчас за лесу тонкие связки сосисок; ведь их так удобно тянуть. Но нет. Вновь вытягивается палка с загнутым концом. И еще одна палка. И еще. Но должно же быть что-то в ответ, и Ключарев с определенной, хоть и не великой надеждой ждет. Ключарев тянет и тянет длинную, бесконечную лесу, и палки вы-ползают одна за одной из стиснувшейся дыры, и, как ни слаб уставший его мозг, Ключарев все же понимает: п а л к и д л я с л е-п ы х. Когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары. Весь ответ.

Ключарев все тянет и тянет, уже сотни, тысячи палок для слепых вытягивает он — и наконец просыпается. Ужасный сон. И несправедливый, с точки зрения Ключарева, в самом недоверии к разуму.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК В СУМЕРКАХ. (Так мало и так много.) Он и разбудил Ключарева, этот прохожий. Ключарев проснулся возле той же пятиэтажки, где он привалился к углу дома и уснул, когда удобнее укладывал свои свечи и чай. Он и спал-то минуты четыре-пять.

И голос:

— Что это вы уснули? — простой голос. — Не следует спать на улице...

Ключарев, отчасти еще сонный, смотрит. Стоит мужчина. Средних лет, с довольно длинными волосами, свободно падающими почти до плеч. Да, прохожий. Увидел, что Ключарев спит, и разбудил.

— Вставайте, — повторяет он так же утвердительно, со спокойной и терпеливой улыбкой. — Не следует спать на улице.

И протягивает руку. Ключарев встал бы и сам, так что этот человек только чуть ему помогает. Рука теплая, прикосновенье, которое остается с Ключаревым и после.

Ключарев встает.

— Да, — говорит он, потягиваясь. — Как стемнело.

— Но еще не ночь, — говорит тот человек, опять же с мягкой улыбкой, которую Ключарев не столько видит, сколько угадывает в полутьме.

Собрав свое добро, Ключарев идет к дому, от которого он уже совсем близко. Оглядывается. Человек еще стоит на том же месте, и только по мере того, как Ключарев уходит, его фигура мало-помалу растворяется (и все же не растворяется до конца) в сумерках.

ШТ **УЧУК**

Юрий Балабанов родился в 1960 году. Он профессиональный музыкант, рок-певец. А кроме того — пишет прозу, жанр которой можно определить одним словом — ШТУЧКИ. “Штучки” — игра сама по себе, игра ради игры, чем и хороша. Знатоки утверждают, что Ното Sapiens, человек мыслящий, начался с того мгновения, когда попробовал быть Ното Lidens, человеком играющим! На студии “Мосфильм” автор “Штучек” снялся в кинокартине по произведению Иосифа Бродского “Похороны Бобо”. Режиссер фильма Андрей Никишин, продюссер Виталий Савенков.

Сигизмунд Автохранович
Вере́йский слыл добрым и
непорочным человеком.
Добродетельствовал он так, как
другие дышат, не имея даже
мысли о цене своей чуткости,
ибо она, словно воздух из
легких, вырывалась во всем
своем естестве из его души.

Именно поэтому,
наверное, пришел к
Сигизмунду Автохрановичу
однажды конверт. В конверте
там лежала записка, в которой
золотыми буквами значились
четыре строчки:

“Чисты твои поступки,
Мой безгрешный раб,
Да приумножат они свет
в сем мире бренном,
Кой создал Я во дни
моих страданий лишь затем,
Чтоб отвернуть Свой взор
от вечности и мрака“.

Записка была подписана
Господом Богом, и, помимо
записки той, нашел в конверте
Сигизмунд Автохранович еще и
пачку денег, которые
отличались от земных лишь тою
разницей, что на просвет их
показывался в нужном месте
совсем не тот профиль, о кото-
ром подумали сейчас любители
сторулевых ассигнаций.

“Когда придет твой час,
пошли Мне эти деньги, —
значилось на голубой ленте,
обхватывающей пачку, —
На них ты сможешь купить
в царстве Моём все, что только
пожелаешь. (В пределах,
конечно, означенной
суммы.)“

Надо думать, как обрадовался
Сигизмунд Автохранович!
Завернул он пачку в тряпочку
и спрятал под подушку
в своей кровати.

И начал жить он еще радостнее
с того дня, как вдруг однажды
получил другое письмо,
в котором говорилось,
что за хорошую службу на
производстве награждает его
Начальство открыткою
на автомобиль самой что ни на
есть лучшей марки. Открытка
лежала тут же, в конверте,
а на серой ленте,
обхватывающей ее,
значилось: “Оплатите нужную
сумму в сберкассе и
получите автомобиль в
ближайший срок“.

И тут Сигизмунд Автохранович
замешкался: жил он счастливо,
но сбережений никаких не
имел, ибо все, что оставалось
у него с зарплаты, раздавал
по друзьям и нищим в церкви.
Не было у Сигизмунда
Автохрановича никаких денег,
кроме, правда, тех, что получил
он за свою добродетель и что
лежали у него под подушкой
и были хоть и присланы
с Небес, но вполне похожи
на обычные. Долго думал
Сигизмунд Автохранович
и снес их наконец в сберкассе,
ибо даже самый добродетельный
и аскетичный человек
с трудом откажется от такого
счастья, как автомобиль,
да еще самой что ни
на есть лучшей
марки.

...А на следующий день,
лишь забрезжил в окнах
свет, стучит в дверь
почтальон и приносит
телеграмму. Открыл ее
Сигизмунд Автохранович
и прочитал, все бледнея
и бледнея:

“Получили
от Вас крупную сумму
денег тчк удивлены зпт что
нет при ней никаких
пожеланий тчк осмелимся
предложить сами тчк высылаем
путевку на тот свет тчк
серные ванны и кипящая
смола входят
в оплату
тчк“.

*Дамы и Господа!
Помните!*

*Сберкассы и банки всего земного шара валюту из высших
сфер не принимают и черт знает куда могут ее
переслать тчк.*



...Сиял солнечный весенний день.

По небу плыла небесная синева. Девочка, играя с Мальчиком,
не поделила с ним песок в песочнице.

Мальчик был будущим философом и поэтому сказал Девочке,
что она “не совсем права“. А Девочка была будущей драматической
актрисой, так что она ничего не сказала,
а просто взяла и выколола Мальчику глазки заколкой для волос.
Среди детей были будущие журналисты.

Они побежали

к воспитательнице Пёсьевой и сказали, что
“на улице насилуют и убивают“. Они, конечно, преувеличили,
но исключительно
для гладкости разговора.

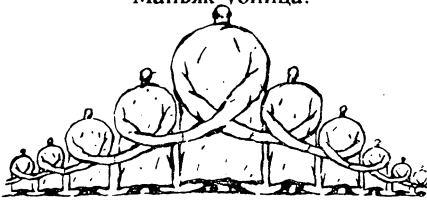
С детства Пёсьева мечтала умереть своей смертью,
поэтому она пошла на чердак и повесилась.

На чердаке спал будущий Маньяк-убийца. Увидев, как Пёсьева
повесилась, он заплакал, сошел вниз и признался
в совершенном преступлении. Но среди прохожих были люди,
знавшие хорошо Пёсьеву. Они сказали: “Не может с Пёсьевой
ничего случиться, ибо в кармане у нея есть пистолет
с настоящими пулями“.

Маньяка обозвали самозванцем, он заплакал и убил на глазах у всех Старушку. А прохожие сказали: “Какая радость, говорят, Авдотьевна приказала долго жить, так что можно спокойно стучать в домино”.

...Сиял солнечный весенний день.

По небу плыла небесная синева. Прохожие, смеясь, играли в домино; на улице в кустах лежала Старушка; на чердаке висела Пёсьева; слепой Мальчик сидел посреди помойки и, тихо попискивая, звал маму; Девочка стояла лицом к столбику и считала до ста; дети прятались — кто в помойке, кто в кустах, кто на чердаке; а по улицам тем временем в поисках предстоящей жертвы бродил Маньяк-убийца.



Которую уже ночь мне снится один и тот же сон: будто я просыпаюсь, встаю с постели, выхожу на балкон, и в этот момент балкон превращается в детскую ледяную горку, и я качусь по этой горке вниз в чем мать родила, до самого шестого этажа, где горка обрывается, и мне ничего не остается, как, взмахнув крыльями, взлететь вверх над электрическими проводами, дабы не запутаться в них и не погибнуть от электрического шока. Я летаю над городом и нигде не могу приземлиться, ибо кругом натыкаюсь на сплошную сетку из этих самых проводов. И когда я наконец нахожу место, куда можно благополучно, без риска для жизни

спланировать, это место оказывается не чем иным, как тарелкой с супом; но тормозит уже бесполезно, и я падаю мордой в эту тарелку, и просыпаюсь в столовой общепита, весь забрызганный борщом из несвежей капусты, окруженный неприветливыми и встревоженными взглядами посетителей столовой. Отерев лицо носовым платком, я извиняюсь перед посетителями и, опозоренный, выхожу на улицу, где меня тут же сбивает десятитонный грузовик. Я просыпаюсь в своей постели в холодном поту не в силах двинуть ни ногой ни рукой, а надо мной плывет голубое небо, все опутанное высоковольтными проводами;

небо сменяется крышей кареты...
 “скорой помощи”, и она
 несется по улицам города,
 унося меня далеко от моего
 дома, от моей кровати, от
 балкона и от горки с
 обледенелым горбом.

Я закрываю глаза и делаю над
 собой усилие; пытаюсь заснуть,
 чтобы проснуться вновь у себя
 дома, слышу бархатный голос,
 похожий на шум океанского
 прибоя: “опять потерял
 сознание...”

Меня привозят в ярко
 освещенное помещение и
 набивают ватой, как подушку
 от дивана. В помещении
 полным-полно людей
 с чемоданами, ибо это
 зал ожидания на Казанском
 вокзале. Меня упаковывают
 в ящик и ящик несут в скорый
 поезд дальнего следования.

Я вместе с ящичком долго лежу
 в тряске тамбура, замерзая
 от холода по ночам и задыхаясь
 днем от сигаретного дыма.

Потом меня выгружают
 из поезда, засовывают
 вперед ногами в автобус
 и везут по пыльной
 проселочной дороге в Дом
 культурного отдыха. Под
 бурные аплодисменты
 меня выволакивают на сцену
 и подключают ко мне
 высоковольтные провода.

Сраженный электрошоком, я в
 течение двух часов ору не
 своим голосом, сотрясаемый
 звуковыми колебаниями и при
 каждом вдохе награждаемый
 все более бурными
 аплодисментами. Затем занавес
 неожиданно закрывается,
 овации стихают и наступает
 ночь. Но среди ночи я
 просыпаюсь от криков “Браво”
 в своей постели и долго
 рыдаю, ибо никак не могу
 отсоединить электрические
 провода, вставленные мне
 в задний проход. Через час
 я ослабеваю и долго лежу
 на спине, беспомощно рыдая
 чистыми детскими слезами,
 не испытывая ни угрызений
 совести, ни ярости,
 погруженный во вселенскую
 тоску. Слезы затекают
 мне в уши, размачивая
 постепенно вату, которой
 набита моя голова,
 и вытесняя из нее
 последние искры сознания.
 Когда вата наконец
 высыхает, я засыпаю
 и просыпаюсь еще более
 глубокой ночью. Чтобы
 хоть немного прийти в себя,
 я встаю с постели,
 выхожу на балкон, и в этот
 момент балкон
 превращается в
 детскую ледяную горку.

Господа, скажите мне, может, это и есть смерть?! Может быть, я
 умер, сам того не подозревая?... Если это так, то, прошу вас, не
 возите меня больше в Дом культурного отдыха — свезите лучше на
 кладбище и закопайте там как можно глубже, чтобы от сырой земли
 не намочила вата в моей голове...

БОРИС СЛУЦКИЙ

МЕЖДУ СТОЛЕТИЯМИ

Захлопывается, закрывается, зачеркивается столетье.
Его календарь оборван, солнце его зашло.
Оно с тревогой вслушивается в радостное междометье,
приветствующее преемствующее следующее число.
Сто зим его, сто лет его, все тысяча двести месяцев
исчезли, словно бы и не было, в седирах времен серебрясь,
очередным поколением толчется сейчас и месится
очередного столетия грязь.
На рубеже двадцать первого я, человек двадцатого,
от напряженья нервного, такого, впрочем, понятного
на грозное солнце времени взираю из-под руки:
столетия расплываются, как некогда материки.
Как Африка от Америки
когда-то оторвалась,
так берег века — от берега —
уже разорвана связь.
И дальше, чем когда-нибудь,
будущее от меня,
и дольше, чем когда-нибудь,
до следующего столетья,
и хочется выкликнуть что-нибудь,
его призывая, маня,
и нечего кликнуть, кроме
тоскливого междометья.
То вслушиваюсь, то всматриваюсь, то погляжу, то взгляну.
Итожить эти итоги, может быть, завтра начну.
О, как они расходятся,
о, как они сползаются,
двадцатый
и двадцать первый,
мой век
и грядущий век,
для бездн, что между ними трагически разверзаются,
мостов не напасешься,
не заготовишь вех.

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

ТУМАН

В АНН - АРБОРЕ

Публикуя рассказ Анатолия Гладилина "Туман в Анн-Арборе", сообщаем нашим читателям, что в номере четвертом альманаха "Конец века" будет опубликована его повесть "Французская ССР" — фантазмагория на тему нашей "интернациональной помощи" дружественному французскому народу. Мы ждали А.Гладилина в редакции, он хотел вычитать верстку рассказа и повести. Ждали рейсом из Швейцарии. После пятнадцатилетнего отсутствия в стране, которой подарил он десятки книг, бывших в 60-70-е "бестселлерами" у читающей публики — "История одной компании", "Хроника времен Виктора Подгурского", "Первый день нового года"... Ждали с новыми, неизвестными в Союзе работами. Визу А.Гладилину не дали, Союз писателя не принял. Занесем в невозвращенцы по второму кругу? Рассказ "Туман в Анн-Арборе" вошел в новый роман писателя "Меня убил скотина Пелл", о публикации которого в альманахе "Конец века" редакция намерена договориться с автором.

И иногда себя спрашиваешь:

— Как ты тут оказался? И куда тебя несет?

Все логично и продуманно в этом лучшем из миров, все крутятся, и ты крутишься вместе со всеми, однако полагаешь, что по собственной воле и на собственной орбите, но вдруг — крохотная пауза, озарение, как впервые со мной случилось в самолете, летевшем из Магадана в Певек, и вот тогда возник вопрос: и за каким чертом тебя несет на берег Северного Ледовитого океана? Второй раз подобный вопрос я себе задал тоже в самолете, следовавшем рейсом из Алматы в Ташкент. Ну хорошо, как я оказался в Алма-Ате, еще можно было объяснить. Но что я, московский житель, забыл в Ташкенте?

Наверно, в самолете, когда висишь между небом и землей, приходит самое лучшее время для раздумий. Маяковский это состояние обозначил точно: “мелкая философия на глубоких местах”. Он плыл на пароходе из Европы в Америку — комфортабельно, но не очень устойчиво, под ногами семь километров океана, и сочинял свою “мелкую философию”: “так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова”. Тогда на самолетах еще не путешествовали.

Самолеты стали привычны при жизни моего поколения. Первый раз я летел с отцом из Москвы в Черновицы в 1954 году. В самолете было всего человек девять. При посадке в Киеве самолет вплотную подкатил к маленькому зданию аэровокзала, и навстречу вышел важный швейцар с золотыми галунами. Не помню, была ли красная дорожка, но пассажиров встречали почтительно, как космонавтов.

Лет через десять, пользуясь “крыльями Аэрофлота” в своих многочисленных командировках, я побывал в самых отдаленных точках Советского Союза, на севере и востоке, и уже знал, что самолет — это не только рекламная улыбка стюардессы, но и ожидание летной погоды в течение нескольких суток на лавках (или под лавками) аэровокзалов в Хабаровске и Новосибирске, огромных, как массовые захоронения мамонтов, — и тем не менее, загуляв с ребятами в Центральном Доме литераторов, мы после полуночи кидает

лись в такси и мчались во Внуково, где, сидя в ночном буфете (туда еще пускали всех, а не только интуристов), пили стаканами грузинский коньяк три звездочки, слушали объявления по радио о прибытии (отбытии) рейса из Бухареста или в Томск и вместе с табачным дымом вдыхали полной грудью “романтику трудных дорог”.

Теперь сесть в самолет так же просто, как сесть в трамвай. Впрочем, нет, трамвай нынче — музейная редкость.

В конце февраля в Нью-Йорке наступила весна. В этот день я ушел из бюро пораньше и прогулялся по аллеям Центрального парка. Пригревало солнце, я распахнул свою дубленку, и меня обогнал спортивной трусцой элегантный паренек в синей шапочке, желтой майке, зеленых трусах, сиреневых носках и красных кедах. Кинув последний взгляд на научно-фантастическую панораму небоскребов пятидесятих улиц, я вернулся в свой отель (“Имперский отель”, а не какой-нибудь хрен моржовый!), позвонил в свою контору, чтобы они там урегулировали счет за гостиницу, сложил чемодан, спустился вниз и заказал такси. Как заказать по-английски такси, я знал, что мне отвечал портье — ни слова не понял. Однако, как ни странно, такси пришло — микроавтобус, заехавший потом по дороге еще в два отеля.

Описание нью-йоркской пробки пропускаю.

Когда из Манхэттана мы выбрались в Квинс, стало темнеть.

Самолет поднялся, мелькнули в иллюминаторе сияющие небоскребы и провалились куда-то вбок. Самолет набирал высоту, огни внизу постепенно исчезали, мы уходили в плотную черноту. Через час мы должны были приземлиться в Детройте.

И вот тогда я опять себя спросил:

— Как ты тут оказался? И зачем тебя туда несет?

Со стороны, наверно, все выглядело интригующе и даже заманчиво. В аэропорту меня ждала высокая красивая и молодая американка в шубе из какого-то дорогого зверя. Мы поцеловались и пошли к ее машине. Несмотря на то что руки мои были заняты чемоданами, я старался не горбиться,

ступать уверенно, словом, соответствовать ситуации и мировым стандартам: деловой, скажем даже, несколько преуспевающей мужчина в командировке, приятная встреча...

Я надеялся, что по дороге увижу — для коллекции — и небоскребы Детройта или (что там у них есть?) хоть какой-то светящийся силуэт центра, но мы сразу свернули на хайвэй и поехали прочь от города. Огни остались в аэропорту. Казалось, хайвэй был проложен по черно-серой пустыне, где ничто не растет и не шевелится, и лишь на самом шоссе призрачно плавали, нарастали и со свистом проносились мимо фары встречных машин. Потом и они исчезли. Мы уперлись как бы в стену тумана, который, отступая, тормозил ход машины. Мы осторожно пробирались, как самолет через плотную облачность. Мотор ровно урчал, машина подрагивала, мы явно куда-то ехали, но фары нашей машины высвечивали туман, туман и еще раз туман, мы как будто застряли в нем. Мы потеряли где-то реальный мир, мы дрейфовали вне времени и пространства, и я бы не удивился, если бы мы оказались в центре Саргассова моря или, как по мановению волшебной палочки, туман вдруг растворился, и перед нами возник бы плакат “Трудящиеся Тульской области приветствуют дисциплинированных водителей”.

Наконец я стал замечать по бокам и чуть выше какие-то мерцающие светлые пятна. Мы совсем сбавили скорость. Пошли повороты, свидетельствующие о том, что мы прибыли в город. Однако опять мерцания по бокам погасли, туман загустел, навалился. И только я подумал, что, видимо, не избежать нам встречи с Саргассовым морем, как машина остановилась.

— Приехали.

Над входом в радужном кругу плавился фонарь, дом нависал черной массой, и хотя мы были в двух шагах от дома, определить его очертания я не мог.

В этом доме... Стоп. Цитата из Пушкина. У меня уже была цитата из Блока (“красивая и молодая”). Боюсь, что с нарастанием в геометрической прогрессии художественной литературы без цитат не обойтись. Ведь в конце концов будут перепробованы все словесные сочетания. Поэтому пред-

лагаю всем писателям честно признаваться в невольном плагиате и брать пример хотя бы с шахматистов. Шахматисты, разбирая свою партию, без тени смущения пишут: “Сначала была разыграна защита Нимцовича (уже цитата), до двенадцатого хода мы повторяли партию Ботвинник—Бронштейн, чемпионат СССР 1952 года (еще одна цитата), потом мой противник выбрал вариант, впервые примененный Спасским против Петросяна в матче на первенство мира” — и т. д. и т. п. Правда, меня могут заподозрить в некотором кокетстве, дескать, вот фрукт, помнит наизусть “Евгения Онегина” — уверяю вас, это не кокетство, а элементарная порядочность. Дело в том, что если наши родители вольно или невольно занимались “всеобщей электрификацией всей страны” (В. Ленин), то на долю моего поколения выпала всеобщая радиофикация. Культуру в приказном порядке спустили в массы. Массы не противились, массы (вопреки мнению злостных антисоветчиков) активно ее принимали. Допустим, если, садясь в поезд, я не успевал резким движением вывести из строя усилитель динамика, то мне в купе были гарантированы до полуночи “Где ж вы, где ж вы, очи карие”, “Не нужен мне берег турецкий”, “О, баядерка, ты не любишь меня”. Радио орало на полную мощь в парикмахерских, на рынках, в мастерских бытового обслуживания, в общих номерах гостиниц, на площадях в районных центрах, в столовых, на улицах во время первомайской демонстрации и народных гуляний и ежедневно у соседа за стеной. Спасительная пауза наступала разве что, пардон, в уборной, когда дергал за ручку водосливного бачка. Однако, когда бачок успокаивался, тебя опять настигала ария Ленского в исполнении Козловского или Лемешева: “В этом доме узнал я впервые радость чистой и светлой любви”. Поэтому при такой культурной радиоинтенсификации я просто был обречен запомнить на всю жизнь не только “Артиллеристы, Сталин дал приказ”, но и всю русскую поэтическую классику, которую доносили до самых низов (включая и сортирные) народные артисты СССР, солисты Большого театра, Государственный хор имени Пятницкого и Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии.

Итак, в этом доме можно было бы безболезненно разме-

стить всю нашу парижскую литературную эмиграцию, причем, скажем, Максимов и Синявский могли бы вообще годами не сталкиваться, пользоваться разными выходами, а для Марьи Васильевны был бы гарантирован персональный ход через печную трубу.

Слава Богу, до этого пока не дошло.

Для справки: этот дом уже вошел в историю русской литературы. О нем пока еще сочиняют диссертации в американских университетах, а со временем будут защищать диссертации в России, присуждать ученые степени. Этот дом уже в каком-то смысле реликвия. Но мы, суеотящиеся современники, не можем жить в историческом музее, нам бытовые удобства подавай — мягкую постель, отдельную ванную, а также чего-нибудь выпить...

Короче, Хозяйка мне отвела спальню примерно в двух километрах от центрального холла. По дороге, путешествуя по коридорам, я увидел комнату, в которой сидела с нянькой дочь Хозяйки. Я ее уже видел, когда ее привозили в Париж. С тех пор, естественно, она очень выросла. И как все взрослые, я бы, естественно, сказал: “О, как ты выросла!” (После чего удивляются: почему дети вдруг начинают неестественно буйнить и бить посуду?) Но, не зная английского, я лишь сказал по-русски:

— Здравствуй!

Ноль внимания, фунт презрения. Не замечая меня и глядя только на маму, девочка резким голосом произнесла тираду. В ответе Хозяйки прозвучали успокаивающие педагогические интонации. Может, разговор шел об игрушках, а может, девочка спросила что-нибудь вроде: “Опять, мама, ты привела русского дурака, который ни слова не может произнести на понятном языке? Что ему у нас делать?” А мамаша ее урезонивала: “Будь воспитанной девочкой, и вообще тебе пора спать”.

Я поймал себя на том, что буквально впился глазами в девочку. На ее мать я никогда так внимательно и оценивающе не смотрел, а там было где разгуляться взгляду.

Значит, так, думал я, ей, наверно, уже семь лет. Какая же она большая и самостоятельная. А шестилетняя девочка? Должна быть чуть меньше ее, но уже с характером и норо-

вом. Это тебе не “а-дя-дя” и не “тю-тю-тю”, а вполне сложившийся человек...

Вообще вот уже шесть лет я старательно избегаю общения с маленькими детьми.

Почему-то было запрограммировано, что меня надо кормить в ресторане. Клянусь, я бы предпочел тихий, интимный ужин дома. Мы опять сели в машину и окунулись в туман. Плавание вслепую по Саргассову морю. Но какой-то странный туман в Анн-Арборе: в центре города он значительно реже. Наверно, тут его разгребают лопатами, как в Москве — снег.

И в ресторане — как мне сказали, студенческом — было весело и уютно. На столиках горели красные свечи. В дальнем углу негромко бухало что-то блестящее — металлическое и джазовое.

Мы ужинали вдвоем, с молчаливым и корректным молодым человеком, теперь главным распорядителем у Хозяйки. Мысленно я дал ему чин, Первый Помощник, как на корабле. За столом шел информативно-фривольный треп.

— Ну, — сказала Хозяйка, имея в виду наших общих нью-йоркских знакомых, — с кем, они говорят, я сплю?

Или:

— Как тебе нравится ... ? (Фамилию до всеобщего сведения не довожу. — А.Г.) Три недели назад он мне позвонил и потребовал, чтобы я издала полное собрание его сочинений!

— Считаю это как попытку изнасилования в подъезде. Надеюсь, ты отбилась?

— Ну что с него взять? Урка!

Или:

— Дошло до того, что они пишут друг на друга обличительные письма. Между ними двумя я хожу как по проволоке. Если кто-то из них почувствует, что я беру сторону другого, будет дикий скандал. Словом, все, что между нами происходит, это дерьмо. Но, понимаешь, для меня — это свое дерьмо.

Или:

— Все американские девочки теряют свою девственность на заднем сиденье машины.

— Кто же был твой соблазнитель?

— Мой первый муж.

...Впрочем, мне пора заткнуться, а не разглашать всему миру тайны девицы.

В дальнем углу блестяще-металлическое забухало громче и живее. Кофточка на Хозяйке сдвинулась так, что обнажилось плечо. Изредка Хозяйка бросала то на меня, то на Первого Помощника свой снисходительный королевский взгляд. Наверно, мы с Первым Помощником были похожи на двух выжидающих котов, разве что не облизывались.

“И поводила все плечами, и улыбалась Натали“ (Белла Ахмадулина).

Джон Апдайк проговорил длинный период и лениво стал ковырять вилкой салат из крабов. Фрида перевела:

— Приходилось ли вам, друзья мои, встретить женщину, в которую вы влюблялись, долго за ней ухаживали, у вас с ней устанавливались сложные отношения, однако с самого начала вы чувствовали — это баба другого класса и ничего вы от нее не добьетесь?

Мы сидели вчетвером в ресторане ВТО: Апдайк, Фрида Лурье (консультант по американской литературе иностранной комиссии Союза писателей), Аксенов и я. Апдайк занесло в Москву в какой-то год из либеральных шестидесятых. Только что в журнале “Иностранная литература“ был опубликован его роман “Кентавр“. Все его прочли, и все восхитились. Я не знаю, чего ожидал Апдайк и что ему говорили в Америке о холодной и загадочной России, но по прибытии в Москву он попал в радушные и цепкие объятия иностранной комиссии. Явно была установка: встретить прогрессивного американского писателя по высшему классу. Удалось ли Апдайку побродить одному по московским улицам — в этом я сильно сомневаюсь. С десяти утра в сопровождении матерински любящей его Фриды Апдайк появлялся в ЦДЛ, и там его передавали с рук на руки, с банкета на банкет, из восьмой комнаты в партком. Иногда он пересекал общий зал ресторана — высокий, чуть сутулый, с блуждающей, полупьяной улыбкой на лице, — и со столиков неслось: “Смотрите, Апдайк“. Думаю, что Апдайк решил, что в России все так живут: пьют с утра водку и закусывают черной икрой.

Фрида была дисциплинированной и исполнительницей, но к нам хорошо относилась. Она и организовала эту встречу, видимо, объяснив Апдайку, что в перерывах между официальными банкетами с секретарями союза неплохо бы закусить на частном обеде с двумя писателями, которые... — словом, Апдайк заинтересовался. В ЦДЛ обязательно бы кто-нибудь подсел, поэтому выбрали Дом актера.

И вот. Апдайк твердо знал, о чем положено говорить между собой мастерам молодежной прозы двух континентов — конечно, о бабах.

Аксенов, человек светский, более искушенный в общении с иностранцами, ответил в том смысле, что да, разумеется, такие ситуации бывали и с ним, в русской литературе вообще популярен образ таинственной и неприступной Незнакомки.

— Нет, — сказал я. — Такой бабы я не встречал.

Фрида перевела. Апдайк положил вилку и посмотрел на меня неожиданно трезвым и долгим взглядом. Не могу сказать, что я отчаянно врал, хотя у меня была очень затяжная несчастная первая любовь. Просто потом, в 21 год, я стал известным писателем. А что значит быть в России молодым и знаменитым, можно понять, лишь живя в России. Ну и кроме того, я рано и (как спустя тридцать лет стало ясно) удачно женился, поэтому в основном имел дело с бабами, которые сами от меня чего-то хотели.

Вы уже заметили, что хозяйка дома в Анн-Арборе проходит под кодовым именем Хозяйка (цитата из самого себя, в одном рассказе я этот прием уже использовал). Так кого же я имею в виду? Увы, для нынешнего читателя это не секрет, а вот потомки пускай гадают и мучаются.

На второй год моей эмиграции Хозяйка приехала в Париж с Хозяином. Я пришел к ним в гостиницу с приятелем. Хозяйка устроилась так удачно в кресле, что ее юбка задралась метра на три выше, чем это позволяют себе дамы в Москве. Приятель не сводил глаз с ее загорелых полных колен.

Хозяин пригласил меня пройти в другую комнату, чтобы там обсудить наши издательские дела.

— Ты не боишься оставлять их наедине? — спросил я.

— Это почему же? — капризно растягивая слова, сказала Хозяйка. — Объясни, Толя. Это интересно.

Вот тогда я впервые подумал: какие бы ни были ситуации и обстоятельства, но эта баба не для меня. Это баба другого класса.

Кажется, Первого Помощника мы потеряли в тумане на обратном пути. Или, убедившись, что не будет с моей стороны пьяных сцен и приставаний, он сам отчалил.

Теперь, когда вся ночь впереди, можно вести, чередуя виски с интеллигентными сплетнями, планомерную осаду, намекая, но не настаивая, а там как Бог даст. В конце концов нет таких крепостей, которых не брали большевики (И.Сталин).

Но где мои семнадцать лет на Большом Каретном? (В.Высоцкий.) Или хотя бы тридцать семь?

Старость, дети мои, сказывается тогда, когда в час ночи, поставленный перед альтернативой продолжать усилия (с каким-то маловероятным исходом чего-то добиться) или просто идти спать — четко выбираешь последнее. И, признаюсь, я уже валился с ног.

Она пришла ко мне в середине ночи. Села на край кровати. Я сразу приподнялся:

— Знаешь, я так и думал, что ты придешь.

— Пойдем отсюда, я не хочу здесь.

Я послушно следовал за ней по темным коридорам, и вот мы добрались до центрального холла, где еще светил торшер у столика со стаканами, которые мы так и оставили. Но тут открылась входная дверь, и вошли два бородатых раввина в черных пальто и в кипах. Они, очень извиняясь, попросили приютить на пару ночей две еврейские семьи новоприбывших эмигрантов. Появились кишиневские евреи с детьми и чемоданами. Хозяйка давала какие-то указания. Гости устраивались прямо на ковре. Их становилось все больше и больше. Но когда вторгся цыганский табор с маленьким медведем и бубенцами, я понял, что это сон, и проснулся.

Да не меня она встречала в аэропорту Детройта!

Тогда кого же? Ну да, тебя, конечно. Но в самый последний миг, когда повалила толпа с нью-йоркского самолета, почудилось ей, поверила она, что появится Он, бывший чемпион университетской баскетбольной команды, ставший потом, по прихоти судьбы, знаменитым профессором-славистом... Ведь сколько раз — десятки, сотни — встречала она здесь Хозяина, возвращавшегося из деловых поездок по Штатам и Европе. Почему бы ему и сейчас не приехать?

Однако вместо знакомой высокой фигуры вышел приземистый пятидесятилетний плешивый человек, ну да, старый друг семьи, ну да, автор, и по его глазам она поняла, что ждет он от нее рассказов, как ей тяжело, больно, одиноко, всхлипываний и причитаний. Фигу! Знала хорошо русскую манеру выплескивать друг на друга все свои горести и переживания и находить в этом даже какое-то удовольствие. Ан нет! Мы, американки, сильные натуры. Работа продолжается, жизнь продолжается. И пусть будет весело! Покрутим задом, оголим плечо...

И в эту игру я втянулся.

Утром, выйдя в центральный холл, я обнаружил неизвестных мне ранее обитателей дома. Во-первых, сиамского кота, очень независимого господина. Во-вторых, белого королевского пуделя, который приветствовал меня дружеским помахиванием хвостиком.

Девочка завтракала. Сама себе накладывала кукурузные хлопья в чашку и заливала их молоком.

Она мне улыбнулась и что-то спросила.

Я вернул ей улыбку и ответил одной из десяти фраз, которые я знал по-английски:

— Извини, я не понимаю.

Хозяйка встанет не раньше двенадцати, ибо засыпает не раньше четырех утра. Я хотел выйти на улицу, сделать, по обыкновению, часовую прогулку, но меня неодолимо тянуло к девочке.

Вот девочка кончила завтрак и пошла путешествовать по дому, переставляя по дороге игрушки. Я повторял, выдержи-

вая некоторую дистанцию, ее круги, за мной вплотную следовал пудель, а за ним — кот. Куклам давались ценные указания, поправлялись их платья, и вообще, видимо, их учили приличию. Пару раз меня приглашали в свидетели, предлагая вступить в беседу, мол, смотри, Дженни, даже этот дядя подтвердит, что нельзя всю ночь спать в кресле, вниз головой, задрав вверх ноги, сядь как следует и разгладь платье — в ответ я лишь беспомощно разводил руками. С полосатым плюшевым котенком беседа затянулась. Его прижимали к груди, пели какую-то песенку. Странно, я думал, девочка предпочитает играть с живым котом.

Блуждая по дому, я обнаружил недостроенный сборный домик с садиком и игрушками — конструкторы такого типа я посылал в Москву, — но девочка к нему не притронулась.

Так мы провели примерно час, потом девочка решительно направилась в другой зал, села на диван, взяла телевизионный переключатель. На киноэкране заверещал и закувыркался цветной Микки-Маус. Я впервые видел телевизор, проецирующий изображение на экран, но вот это меня меньше всего интересовало, как, впрочем, и кота, который залег на диване, свернувшись в клубок и закрыв голову лапой. Пудель, напротив, начал проявлять беспокойство, он явно от меня чего-то хотел. Я его понял и пошел надевать дубленку. Пудель терпеливо ждал у входной двери.

Туман утром приподнялся, но, зацепившись за верхушки деревьев, остался висеть. Очень ему это нравилось, и никуда он не собирался двигаться. Всюду был снег, довольно солидные ностальгические сугробы, и лишь на шоссе — грязно-серая каша. По этой каше мы с пуделем и шлепали. Думаю, пес планировал обычный круг возле дома и теперь не верил собственному счастью. Он забегал вперед, заглядывал мне в глаза — идем дальше? Идем! — и тогда он бросался в сторону, задрав ногу, ставил метку у очередного заборчика, иногда оттуда раздавалось возмущенное “гав-гав”, на что пудель незамедлительно отвечал “от такого слышу!” Много ли собаке надо для полного блаженства? Вынюхать чужие секреты и облаять дальнего соседа...

Мы шли так, как нас вело шоссе, а оно куда-то загиба-

лось, поднималось и опускалось. По бокам, на равном расстоянии друг от друга, стояли аккуратные нарядные двухэтажные коттеджи, перед каждым на расчищенной от снега площадке — одна или две машины. Над дверью дома — баскетбольное кольцо.

Вот она, типичная провинция, не ведающая, что такое преступность и сабвей. Средняя Америка для среднего американца, вызывающая бешеную зависть у всего прогрессивного человечества! Впрочем, похожие дома я видел в двадцати километрах от столицы прогрессивного человечества: между знаменитой Баковской фабрикой презервативов и писательскими дачами в Переделкино — в густом сосновом лесу вдоль шоссе с “кирпичами” спрятался поселок с генеральскими дачами. Примерно то же самое по жилплощади и архитектуре (о внутреннем комфорте не берусь судить — меня туда не пускали). Но дачи были огорожены высокими глухими заборами с колючей проволокой наверху. Из-под ворот рывкал, злобно выл могучий зверь. При звуке шагов открывались смотровые окошечки в воротах, и вас провожал бесстрастный взгляд солдата-охранника.

Справедливости ради надо отметить, что шоссе там было в идеальном состоянии, снег всегда тщательно соскребался, в гололёд посыпался песок.

А здесь? Каша под ногами, и ботинки давно промокли. За полтора часа прогулки я встретил пятнадцать машин (вежливо притормаживающих, чтобы не обдать грязью) и ни одного прохожего.

Когда мы вернулись, я спросил у Хозяйки, куда ведет эта дорога?

— Понятия не имею. Чтобы ехать в город, я всегда сворачиваю направо.

— Но пешком ты иногда ходишь? В хорошую погоду?

— Пешком? У меня нет времени.

А потом мы заперлись в кабинете. Хозяйка выключила телефон.

Еще в Париже свою командировку я составил так, чтобы между работой в нью-йоркском и вашингтонском бюро за-

вернуть на уик-энд в Анн-Арбор. В Нью-Йорке специально взял магнитофон, техники мне его проверили и зарядили, чтобы записать интервью для радио с Хозяйкой. Вот, собственно, почему я сюда и приехал.

А вы думали — за чем?

Это интервью я считаю чрезвычайно важным. В России должны знать, что лучшее русское издательство за границей, несмотря на смерть Хозяина, продолжает жить и работать.

Правда, для этого было совсем не обязательно посылать парижского корреспондента — из Нью-Йорка до Анн-Арбора ближе и дешевле. Также не очень понятно, почему мне в Нью-Йорке пришлось набирать новых авторов.

Стоп. За что я себя презираю, так это за то, что в последнее время мне начинает нравиться моя чиновничья должность и все сопутствующие ей атрибуты. Я доволен, когда человек соглашается выступить по радио лишь при условии, что я буду вести с ним интервью. Гораздо хуже другое: события в Москве меня уже меньше волнуют, чем интриги в нашей конторе. Конечно, я с охотой комментирую смену главного редактора в московском журнале, однако, увы, меня больше занимает очередной идиотизм нашего очередного американского шефа. А вот с ними не соскучишься. В нашей конторе постоянный открытый конкурс для начальственных идиотов со всей Америки.

Но при чем здесь я?

Ведь в России я был писателем и в эмиграцию уехал, чтобы писать свои книги!

Вот передо мной возникает типичная рожа московского редактора, уголки рта опущены, в глазах скука. Редактор знает, что наделен безграничной властью, как римский Кесарь, поэтому он не говорит, а изрекает: “Зачем же вы так, Анатолий Тихонович? Почему ваши герои видят только помойку советской жизни? Это мы снимем, это зачеркнем. А вот так не бывает. Если бывает, то нетипично. Вы можете со мной спорить, но ваши аргументы меня не убедят”.

Другой редактор, редактор-умница, редактор-друг: “Старик, куда это тебя занесло? Эх, как закрутил! Я-то по-

нимаю, на что ты намекаешь. Давай ослабим. Хорошо, снимем не абзац, а пол-абзаца. Кто надо — догадается, зато наш главный пропустит. Иначе он обязательно споткнется на этом месте, и полетит вся сцена. Я же хочу как лучше! Старичок, в конце концов тебе решать: или я пробиваю книгу, или забирай рукопись и держи ее в столе“.

И так продолжалось двадцать лет. Мои книги выходили в свет инвалидами — то без руки, то без ноги, то с набрюшником дополнительных страниц и ненужных разъяснений.

Я должен был уезжать. Иначе оказался бы в тюрьме. Да не по высоким политическим мотивам, а за обыкновенное убийство: нервы мои уже не выдерживали, и редактора моей следующей книги я бы удушил голыми руками.

На Западе свобода, бля, свобода и нет московских редакторов. И нет моих читателей. Западного человека интересуют свои проблемы, и мне их не понять. К тому же переводчикам платят так мало, что, люди добрые, подавайте им милостыню на улице!

Чтоб не зависеть от эмигрантских партий и шаек, я взял на плечо магнитофон и выучился профессии радиожурналиста.

В Москве мне тоже приходилось служить в редакциях. Но в обществе победившего социализма другой ритм работы. Я возвращался домой и вкалывал до полуночи над собственной рукописью.

— Сколько ты пишешь статей в месяц? — спросил я своего бывшего коллегу, приехавшего в Париж в командировку.

— Одну, ну и, сам знаешь, надо подготовить еще авторскую, то есть написать за какого-нибудь чайника.

— А я обязан сделать три в неделю, и все считают, что у меня привилегированное положение.

Радио — бездонная бочка! Давай, давай! Чем больше — тем лучше. Главное — информация. Но информация состоит из слов, а я привык складывать слова, как домино (если получается). Поэтому мне тяжело дается каждая фраза, я чувствую — она неточна да просто плохо написана. Однако корреспонденция должна пойти в эфир вовремя — в Москве

арестовали, французский президент принял, открылась выставка, укусила жучка собачку...

Какой же я, к черту, писатель! Последнюю книгу закончил два года назад, и никто не знает, когда смогу начать новую...

С работы прихожу с тупой гудящей головой, и потом, граждане, мне уже не тридцать.

В прошлый уик-энд я выступал в Чикаго. Выступление организовал хитрожопый малый, книжный жучок, назовем его товарищ Волк. Довлатов предупреждал: "Толя, не связывайтесь с ним, этот человек удавится за доллар, он ни разу не купил на улице гамбургер".

— Сережа, — возразил я, — вы плохо думаете о людях. Он встретил меня на аэродроме, потратился на бензин и пригласил в "Макдональд".

— Позор, — кричал Довлатов, — русского писателя кормить в ресторане фаст-фуд!

В вестибюле Чикагского еврейского центра товарищ Волк ловко и быстро разложил книги, завел магнитофон с пленкой шлягеров Брайтон-Бич: "Ах, как люблю я мои денежки!", "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой" и т. п.

— Книги они не любят, — объяснял мне товарищ Волк. — Вся надежда на кассеты. Может, окуплю расходы на дорогу.

Он не ожидал, что придет столько народу. Книжный прилавок пустел на глазах, а магнитофон выключили за ненадобностью.

В зале искали свободные места. В вестибюле остался лишь товарищ Волк.

Мне было странно встретить здесь своих читателей — бывших ленинградцев и одесситов, — на другом континенте, в стране, где все говорят на непонятном мне языке. Мне было стыдно, что они платили за входные билеты, в принципе я бы им должен доплачивать — спасибо, дорогие, что пришли, спасибо, что помните! И приятно было убедиться, что, несмотря на обилие эмигрантской литературы, они по-прежнему предпочитают книги Аксенова, Войновича, Владимира, Некрасова, а из новых — оценили Довлатова.

Я опять почувствовал себя писателем, будто выступал перед родной московской аудиторией. Я говорил до тех пор, пока администрация не стала гасить свет и гнать публику из зала.

Чикаго мне дал хороший заряд бодрости, тем более что на следующий день я успел кое-что увидеть в городе.

Однако согласно статистике в Чикаго одних только гангстеров намного больше, чем моих читателей.

— Ну как вам Чикаго? — спросил я у товарища Волка, когда в иллюминаторе появились огни ночного Нью-Йорка.

— Потрясающе! Здесь мы живем, как мудаки, и платим за гамбургер по доллар семьдесят пять. А там их продают за доллар сорок!

В Москве мне представлялось, что это издательство хоть и маленькое, но все же двухэтажный особняк: у дверей вахтер (не мрачный отставной милиционер, а веселый студент — потягивает виски, читает Фолкнера и Достоевского); на первом этаже крутятся печатные машины, наборщики подгоняют свинцовый шрифт металлическими линейками (как в типографии “Московской правды”); на втором этаже — редакция: корректоры, экспедиция, бухгалтерия, у каждого редактора отдельная комната; большой кабинет Директора — в данном случае Хозяина, он же Главный редактор; в приемной секретарша непрерывно говорит по телефону. Короче, в штате как минимум человек двадцать — по советским понятиям явный недобор, но по западным вполне нормально.

...Мы спустились в подвал. Похоже на книжный склад. Просторно. Лампы дневного света. Несколько столиков с гранками и корректурой. Шкаф с рукописями. Две современные наборные машины. Новая машина, последний крик техники, которая сама набирает, читая с листа, но пока не работает, что-то не налажено.

— Так сколько у тебя народу?

— Четыре человека плюс один студент, временный, проходит практику. Ну и я. Тираж мы печатаем в городской типографии.

— И все счита на тебе?

— Конечно. Правда, в последний день месяца приглашаю бухгалтера, помогает подвести итог.

...И еще много технических подробностей.

— Ну, — сказал я, — у тебя нагрузка, как у председателя колхоза. Хозяйство большое и механизированное. С утра в поле.

Сравнение с колхозом ей почему-то не понравилось.

В Париже они всегда останавливались в “Рице” или “Интерконтинентале”. Я полагал, что это вопрос престижа: у них были встречи с французскими издателями, и те совсем по-другому смотрели бы на американцев, проживающих в отеле “две звездочки”, — это бы отразилось на деловых переговорах. Но если в Анн-Арборе такая зима, если здесь неделями такой туман, что кажется, будто тебя отрезали от остального мира, то, попав в европейскую столицу, хочется позволить себе сияющий иллюминаторами отель и почтительных швейцаров.

А может, Хозяин что-то предчувствовал?

В сорок пять лет — самый расцвет в жизни мужчины — он узнал, что смертельно болен.

Два года отчаянной борьбы. Сверхинтенсивные курсы лечения. И он продолжал работать, как будто впереди еще три спокойных десятилетия.

Я решительно отказываюсь, что называется, вживаться в образ и пытаться проникнуть в мысли человека, который по неделям, по дням, по часам приближается к неизбежности и сознает, что оставляет любимое дело, молодую жену и маленькую дочку.

Видимо, по недостатку воображения мне этого не понять.

Последний раз, когда они были в Париже, мы сидели в маленьком ресторанчике на левом берегу и обсуждали издательские планы на следующую пятилетку. Внешне Хозяин сильно сдал, похудел, однако по обыкновению не переставал шутить. По традиции (уже ранее указанной мною) разговор перешел на баб, тем более что я люблю повторять фразу Алешковского “Баб не видел я года четыре”, и так часто, что ее уже приписывают мне. Кстати, сейчас в моем ис-

полнении эта фраза звучит как явное хвастовство. Всего четыре года?

— И вообще, пора пойти к бабам, — сказал я, — сил нет терпеть.

— Что ж, давай пойдём.

Я опешил. Хозяин говорил серьезно. Он был готов.

— Идите, — сказала Хозяйка. — Потом примешь ванну и объяснишь мне, как тебя продезинфицировать.

Заметя мою растерянность, Хозяин несколько смущенно добавил:

— Боюсь, что другой возможности у меня больше не будет.

Не думаю, что Хозяин надеялся получить от парижских проституток нечто такое, чего ему не хватало в красавице жене. Может, важен был поступок. Какая-то эскапада. Бавловство. Почувствовать себя здоровым. Как все.

— Перестань! — закричал я. — Вот снова приедешь в Париж, и тогда обязательно пойдём! Обещаю! К этому дню я поставлю на площади Пигаль первую сборную.

Нет, повторяю, мне не понять психологии человека, который знает, что для него все кончено. Я живу во власти иллюзии, будто каждому остается сто лет. Когда придет мой час, тогда поговорим. Если успеем.

А пока я хочу только спросить: за что ему так?

Я бы делил людей на два вида: на собак и на кошек. Я из породы собак, мне не сидится на месте, мне надо обегать как можно больше пространства. Хозяйка же — явная кошка, ей хорошо, когда она свернется где-нибудь в углу.

Мои попытки вытянуть ее в город ни к чему не привели, т. е. мы в конце концов приехали в Анн-Арбор, но ровно за десять минут до назначенной встречи в ресторане с ее командой.

Мы все же прошли по улице метров двести, и, наверно, Хозяйка посчитала это грандиозным подвигом. Я-то надеялся покрутить по центру хотя бы час...

Зато в ресторане она в своей стихии, потягивается и мурлычет. И команда у нее очень симпатичная, "коллектив небольшой, но пьющий" (из какой-то стенгазеты). Я этих ре-

бят знал только по голосам, с каждым (и с каждой) говорил по телефону, когда названивал из Парижа или Нью-Йорка.

Для категории старых пердунов, к коей я принадлежу, новая компания — находка! Все твои глупости и древние байки здесь принимаются с неподдельным интересом. И ты сам, пораженный, что это все еще кого-то интересует, прибавляешь обороты. Хозяйка тоже довольна: зануда гость, оказывается, может развеселить публику.

— Тебе надо написать книгу про московский Дом литераторов. Это будет замечательная вещь. Сразу издаю.

Я обещаю, но знаю, что не напишу. Пока мне еще очень близки мои друзья (многие уже недруги, даже идеологические противники — если применять штампы советской пропаганды), с которыми выпил по ящику водки.

А мне хочется ей сказать, что она очень красивая баба, что это для нее я выкладываюсь, что давно у меня не было такого состояния (влюбленности, что ли?), но в то же время я предчувствую — такой она больше не будет. Через год я ее увижу, и уже что-то изменится. Ее пик пройден. Сколько женщин я наблюдал в их звездный час! А потом, причем, увы, в довольно короткий срок, куда это все девается? Природа особенно жестока к женщинам. Мужик может быть полжизни старым и лысым — никого это не волнует, что-то свое он продолжает получать. А женщина сегодня чудо, сегодня *блистает* (глагол этот беру у классической литературы, классики в бабах разбирались), завтра же вдруг гаснет. И все. Начинается проза, остается милый человек со многими завлекательными женскими качествами, но чудо кончилось, блеск пропал. Чувствуют ли сами бабы, что проходят свой звездный час?

— А теперь признайтесь, — это я обращаюсь к ее команде, — люгует Хозяйка? Пьет кровь стаканами из рабочего класса?

Видимо, чем-то эта фраза ее задевает. Во всяком случае, после ресторана она меня в свою машину не сажает.

Меня везут на другой, и я уже привык к тому, что в Анн-Арборе туман на привязи. Вечером веревочку отпускают. Мы пробираемся к дому в египетской тьме, замешанной на манной каше.

Хозяйка рассеянна и со мной холодна. Как провинившийся пес, заползаю в свою комнату.

А ночью мне снятся Бетаки. О Господи!

Утро было повторением предыдущего, с той лишь разницей, что на прогулку я отправился один. Почему пудель за мной не последовал, он мне не сообщил. Туман опять аккуратно приполняли метров на восемь. Я топал часа два и встретил по дороге четыре машины, двух собак и одного рыжего кота. Люди, ау! (“Карнавальная ночь“, реплика актера Филиппова.)

Когда я вернулся, в доме царила воскресная суета. К тому же проснулся телефон. Известно, что на воскресенье всегда набирается масса дел. В чем они конкретно состояли, мне трудно судить, но внешне все выражалось в кругах. Хозяйка бодрым, спортивным шагом пересекала центральный холл, скрывалась в какой-то комнате, потом неожиданно появлялась с другой стороны, проваливалась в подвал, где контора, и я ждал, когда она вынырнет на поверхность, — глядь, Хозяйка спускается со второго этажа по лестнице. За Хозяйкой, не отставая, шла девочка, за девочкой — пудель, за пуделем — кот. И ни разу этот порядок не нарушился. Я насчитал кругов двадцать, пока не сбился со счета. Иногда Хозяйка притормаживала — около телефона или около меня. У нас возникал короткий диалог, но часто ответ на свой вопрос я получал со следующего круга, причем тон менялся: в подвал Хозяйка спускалась ангелом, одарив меня с порога обольстительной улыбкой, — через пять минут пикировала со второго этажа разъяренным коршуном.

— ...Я не повезу тебя на могилу. Это всё ваши русские языческие глупости. Он у меня в сердце, и мне этого достаточно.

— Но в Нью-Йорк на конференцию, ему посвященную, ты поедешь?

— В светских спектаклях не участвую.

— ...Как ты не понимаешь, что, когда подаешь мне шубу, а в дверях пропускаешь вперед, — ты меня унижаешь! У нас в Америке принято, что женщины такие же самостоятельные, как мужчины.

— ...Повтори еще раз это слово. Не аген, а эген. Тебе надо каждый день запоминать несколько английских слов. Ты просто ленишься.

— ...Ты лучше, чем кто-нибудь, можешь написать роман об эмиграции. Пусть будет скандал. Ведь ты сдаешь свои позиции одного из лидеров литературы. Тебя постепенно забывают.

— Для эмигрантского скандально-модернового романа нужны три компонента — микроскоп, чья-то ж... и Лимонов.

— Надеюсь, от подробностей ты меня избавишь?

— Рассказываю лишь технологию: микроскоп вставляется... Лимонов припадает к окуляру и диктует по вдохновению.

Однако были ли услышаны мои перлы? Процессия уже продефилировала, и в дальней двери исчезает хвостик кота.

Как мы и договорились вчера вечером, за мной приезжает редактор моей книги Рейчел со своим мужем. Они везут меня в город, показывают достопримечательности Анн-Арбора и, в первую очередь, Мичиганский университет. Позже мы заворачиваем в единственное открытое по воскресеньям молодежное кафе. Это магазин, где продают салат, сахар, соленые огурцы и кока-колу, а заодно и подают горячие блюда и кофе на несколько столиков, к которым сегодня не пробиться. Мои спутники смущены:

— Извините, конечно, это не как в Париже.

Неужели я выгляжу столичной штучкой?

— Ребята, если не поздно, давайте поедем на кладбище.

Мне уже знакомы, увы, американские кладбища. Это как поля для гольфа, но вместо лунок — маленькие каменные плиты. А тут все под снегом, правда, иногда в проталинах что-то можно различить.

Мы ищем могилу Хозяина. Полчаса мы кружим в радиусе пятидесяти метров. Ребята уверяют, что могила должна быть здесь. Тем временем, как по команде, вместе с вечерними сумерками спускают туман.

Могилу мы не нашли.

Это мой последний вечер в Анн-Арборе. Я сижу наверху в комнате Хозяйки. Это нечто среднее между спальней и кабинетом. Хозяйка полудрежит на постели, небрежно и эффектно выставив колени, и вычитывает гранки. Я просто читаю да поглядываю в ее сторону.

— Сколько ошибок! — периодически восклицает Хозяйка. — Больше я им не пошлю ни одной рукописи.

Я сочувственно поддакиваю. Теперь мне стали ясны странности ее распорядка: если днем крутишься в суете, то работать приходится вечером и ночью, особенно когда поставила себе целью всех и все проверять. Правда, на вопрос является ли проверка всего самоцелью или необходимостью в частном бизнесе? — я ответить не могу.

Потом, видимо, наступает пауза в работе, и Хозяйка спрашивает тем же капризным тоном, как тогда, в парижской гостинице, растягивая слова:

— Ну, расскажи, где ты сегодня был?

Я рассказываю.

— А где ты утром гулял?

— По тому же кругу. Дорога, которая идет налево, к тем белым домам на горке, в конце концов делает круг.

— Не может быть!

Клянусь, первый раз она на меня смотрит с некоторой почтительностью. Кажется, я открыл ей Америку. Попытаемся развить успех.

— А вообще ты, как барыня. Тебя надо развлекать байками, чтобы не заскучала.

— Почему же? Я и сама очень люблю поговорить. Особенно когда внизу... Но тебе этого никогда не узнать.

— Хамишь старому человеку?

— Не хамлю, а защищаюсь. Я же одинокая женщина. У меня теперь нет защитника.

Снова она уткнулась в гранки, а я — в книгу, но в комнате возникло напряжение электрического поля.

Интересно, в американских домах перегорают когда-нибудь пробки? Очень бы кстати сейчас было короткое замыкание.

Вдруг Хозяйка откладывает страницы. Прислушивается.

— Она не заснула. Слышишь, она плачет?

Я ничего не слышу.

— Ну как же, она плачет! Подожди, я спущусь к ней.

Хозяйка уходит. Я закрываю глаза. Короткое замыкание произошло, но... в моей голове. Выскочил какой-то предохранитель, и теперь начинается — в который раз — мое сумасшествие, мое наваждение. Теперь я слышу. Я слышу голос моей маленькой девочки, моей младшей дочери, которая живет в Москве и которой я никогда не видел. Но это не тот веселый, чуть картавый голосок, каким она говорит со мной по телефону: “Здравствуй, мой бедненький папочка!” Нет, я слышу ее плач. Ее, наверно, бьют (кто? почему? не знаю), бьют жестоко, и она не плачет жалобно — она кричит, как звереныш, наивно надеясь, что те, кто бьют, испугаются ее крика, убегут. Ее плач то глуше, то поднимается пронзительно и отчаянно. Она зовет меня, и я должен быть там, разметать в диком порыве ярости этих извергов или просто заслонить ее своим телом, пусть удары сыпятся на меня, но только ее не трогайте, сволочи!

Что же мне делать? Биться головой об стенку? Если бы это помогло... Я должен быть там, но как мне перемахнуть через тысячи километров и, главное, через государственную границу моей родины, через ряды колючей проволоки, за которыми сурово бдят краснощекие ребята в зеленой форме с “калашниковыми” наперевес?

— Учтите, вы никогда не вернетесь на родину, — сказал мне молодой чиновник ОВИРа, сразу ставший наглым и высокомерным, когда увидел мои эмиграционные бумаги. А ведь сначала, еще не зная, зачем я пришел, он, услышав мою фамилию, на секунду напрягся и с почтением спросил:

— Вы... однофамилец? А, вы тот самый. Да, я читал.

Когда Хозяйка вышла из комнаты девочки, она неожиданно обнаружила своего гостя на кухне. Гость довольно развязно потребовал бутылку виски и сказал, что закусь он сам найдет в холодильнике, и сказал, чтоб она не беспокоилась, ему и одному хорошо, и вообще не надо возникать.

Хозяйка пожала плечами и поднялась наверх. Как боль-

шой специалист в русской литературе, а значит, в психологии русской души, она поняла, что произошло: гость сообразил, что ничего у него с ней не получится, ничего ему не обломится, — и решил надраться в одиночку. Она знала, что с русскими так бывает.

Мой самолет в Вашингтон улетал в пять вечера. Поэтому утро я спокойно провел с ребятами в конторе, наблюдал, как проходит рабочий день в издательстве.

После двенадцати в подвал заглянула Хозяйка, энергичная и озабоченная. Несколько ценных указаний сотрудникам и потом мне, тоном, не допускающим возражений:

— Толя, мы сейчас поедem в город.

— Зачем???

— Маша не поймет, если я не куплю ей подарок.

Я пытался объяснить, что моя жена не ждет никакого подарка. Бессмысленно. Однако в конце концов почему бы не прошвырнуться по улицам?

На одном углу Хозяйка притормозила:

— Вот кладбище. Вы же не нашли... Если хочешь...

Куда подевалась уверенность в ее голосе?

— Да, я хочу.

Я следовал за Хозяйкой, а она шла прямо и четко, словно ее вела стрелка компаса.

Через минуту мы у могилы. Каменная плита чиста от снега. Странно, как мы вчера ее не нашли? Крутились же рядом...

У Хозяйки отчужденное лицо, но мне кажется, что если она когда-нибудь действительно чувствует себя одинокой и незащитной, то именно здесь, и в момент, когда сюда приходит кто-то посторонний.

— Спасибо, — говорю я, — а теперь можешь отвернуться. Это наши с ним, русские дела.

И я опускаюсь на колени.

В Вашингтоне у меня выдались два или три свободных вечера, и тогда я всласть мерил ногами мостовые города. Верный указанию Аксенова — не заходить дальше 14-й стрит (негритянский район!), я заворачивал на улицу, где

советское посольство, далее огибал Белый дом и потом по Пенсильвания-авеню чесал до Джорджтауна. Станный все-таки этот столичный град! Днем бурлит, а после восьми вечера вымирает. У ресторанов еще можно встретить кого-то, а так впечатление, что объявлена воздушная тревога. Слышишь даже звук своих шагов. “По темным улицам Кронштадта...”

Потом я возвращался в гостиницу и заказывал ужин к себе в номер. В ресторан не спускался, мне было и так хорошо.

Не знаю, как для кого, а для меня эмиграция связана с дефицитом времени, и в первую очередь времени, которое я могу проводить в одиночестве.

Для писателя важно иногда отстраниться от всего и от всех (Браво! Истина на уровне “Волга впадает в Каспийское море“. Даже ниже.) хотя бы для того, чтобы задать себе несколько глупых вопросов. В том числе и этот: зачем меня сюда принесло?

Я вспомнил свои поездки по Союзу и первую командировку в город Бийск на Алтае. Тогда я жил в общежитии со строительными рабочими, в комнате на шесть человек. Сейчас в моем номере можно было бы разместить шестнадцать. Огромный номер в шикарной гостинице, хоть катайся по нему на велосипеде. Однако что из этого следует? Я стал счастливее, что ли? В Бийске, тридцать лет назад, я был легок на общение, предприимчив и полон грандиозных планов. Зато теперь пришло спокойствие — что-то в этой жизни я успел сделать. Стоит ли одно другого? Не знаю. Меняю шило на мыло.

Но, вероятно, надо, чтоб тебя куда-то несло, а не только шагать в выверенном направлении, иначе... И т.д. И т.п. Мелкая философия на высоте четвертого этажа гостиницы.

Несколько раз я звонил в Анн-Арбор. У Хозяйки и в мыслях не было приезжать в Вашингтон. Действительно, зачем?

И в аэропорт Детройта отвезла меня не она, а ее Первый Помощник.

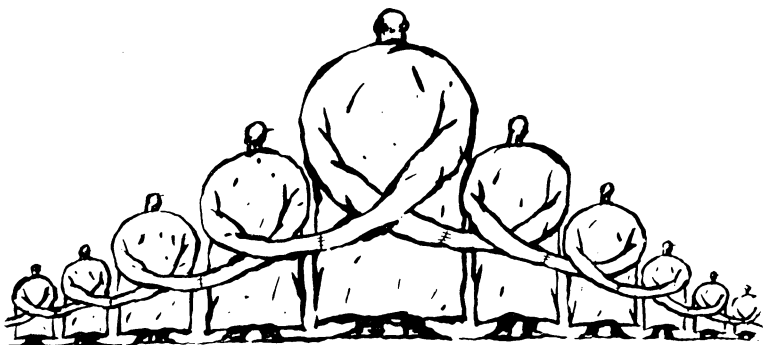
Провожать меня вышли девочка, пудель и кот. Впрочем, не успел я еще сесть в машину, как пудель с лаем умчался

под горку. Кот затаился в боевой позе, заметив соскочившую с дерева белку. А девочка...

У меня кольнуло в сердце от жалости. (Цитата из всей литературы, включая букварь.) Каюсь, признаюсь — все эти дни у меня к ней была злая ревность, ибо я ставил на ее место свою маленькую дочь. Но как я мог завидовать ей, как я мог думать, что ей лучше? Ведь моя дочка, может быть, когда-нибудь (во всяком случае, пока есть теоретический шанс) увидит своего отца, а эта девочка — уже никогда.

...А девочка в полном и благом неведении, кто и что про нее думает, вдруг запела какую-то песенку и начала прыгать, радуясь пробившемуся наконец сквозь туман солнцу, засверкавшему снегу, простору, птицам, белкам, прекрасному дню, — прямо картинка с рекламной открытки благополучной и беспечной Америки.

Ноябрь 1986 — февраль 1987 гг.



К читателям альманаха
"Конец века"!

В ближайших номерах нашего альманаха
мы начинаем публикацию записных книжек
известного советского писателя,
автора знаменитых "Москва—Петушки",
"Вальпургиева ночь"
и других произведений

ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА,

любезно предоставленных редакции директором СП
"Интербук" Виталием Савенковым!

Вам можно только позавидовать!..

Независимый альманах

**КОНЕЦ
ВЕКА**

ВЛАДИМИР ПАЛЕЙ

Стихи

Владимир Палей прожил двадцать лет. Несмотря на краткий срок, отпущенный ему судьбой, он оставил большое поэтическое наследство — при его жизни вышли два сборника стихотворений. Третий, подготовленный к печати, не был издан...

Владимира Палея арестовали и убили — сбросили живого в шахту под Алапаевском — за то, что был членом дома Романовых. Владимир Палей — Князь Владимир, носил фамилию матери, как и положено было детям великих князей Романовых от мorganатического брака. Он мог избежать страшной участи: глава Петроградского ЧК Урицкий предлагал ему ранее отречься от отца — великого князя Павла Александровича; отвергнув это предложение, Владимир Палей подписал свой смертный приговор. До дня своей гибели Князь Владимир писал стихи. Предчувствие смерти, быть может, не до конца осознанное, есть и в самых ранних произведениях, и в поздних, ставших последними. Он и в стихах был обращен к Богу, и последние часы своей жизни среди алапаевских узников, умиравших мученической смертью, проводил в молитве. Крестьянин, ставший невольным свидетелем гибели родственников Николая Романова, рассказывал: из глубин шахты раздавались Херувимская песнь и пение молитвы “Спаси, Господи, люди твоя...” Предлагая вниманию подборку стихотворений Князя Владимира, редакция альманаха “Конец века” приоткрывает еще одну — увы, не последнюю — страницу революции 17-го года.

Татьяна Александрова, автор публикации.

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ

(Лунная ночь в Крыму)

Ночь воистину эта — библейская ночь.
Не Енгедские ль дремлют здесь лозы?
Распростерлась вдали не Сиона ли дочь?
Кто принес мне Саронские розы?

Да! Воскресло былое воистину вновь,
В полумгле голубого тумана,
В моем сердце не та, не простая любовь,
Различаю хребты я Ливана...

Наконец, из житейских я вырвался уз,
И я знаю: сейчас предо мною
Средь немых кипарисов пройдет Иисус,
Окруженный несметной толпою.

И навек прекратятся страдания мои,
Возвратится души упование —
Да польются небесные речи твои,
Мой учитель. Я весь — ожиданье.

И рыдать и томиться мне доле невмочь,
Преклонил я колени в молитве —
Если ночь эта вправду — библейская ночь,
Раввуни! Приготовь меня к битве!

Крым, август 1915 г.

* * *

Узник невинный во мраке рыдает темницы,
Стены кругом, а в душе его злая тоска...
Там за решеткой поют словно райские птицы,
День восхваляя, и даль, как любовь, — широка.

Узник несчастный свои проклинает оковы,
Плачет и к милости тщетно взывает Творца:
Стены всё так же стоят, беспощадно суровы,
Те же всё песни и та же печаль без конца...

Разве не узник и ты, о Поэт? Ты телесно
Жизнью прикован к земному понятию о ней,
Вечно ты слышишь душой словно хор поднебесный,
Вечно ты должен томиться со скорбью своей...

Февраль 1916 г. (1915)

ОДИНОЧЕСТВО

Как хорошо мечтать с самим собой,
Когда кругом спокойствие, молчанье,
Немая тишь и теней трепетанье...
Мечта в уме сменяется мечтой...

Закрыв глаза, как сказочный пловец,
Спускаешься на дно души мятежной,
И чтоб найти хоть отблеск мысли нежной,
На дно чужих спускаешься сердец...

Как в этот миг все чувствуешь иначе,
Как сознаешь всю глубь своей задачи,
И что твой долг — всегда прощать, любя...

Лежишь, отдав глаза земным дремотам,
А сам, в душе, пред жизненным киотом
Рыдаешь за других и за себя...

Февраль 1915 г.

ОСЕНЬ

Мне Осень чудится единственной Весною,
Я вижу в ней конец бездумных знойных снов,
И веет в душу мне отрадой неземною
С убора грустного желтеющих лесов...

Октябрь звучит во мне пророческой струною,
Призывом сладостным с волшебных берегов,
Душа пленяется свободой иною,
И вырывается из жизненных оков.

О, как прекрасна смерть! Не смутное забвеньё
И не покой один могильный без конца
Сулит она в тиши, но — духа возрожденье...

Неслышную рукой ей сорваны сердца
Для лучших грёз и стран, для лучшего венца,
И в ней воистину должно быть пробужденье...

Крым, август 1915 г.

* * *

Мы восходить должны, в течение этой жизни,
В забытые края, к неведомой отчизне,
Навевшей нам здесь те странные мечты,
Где свет и музыка таинственно слиты...
О, низшая ступень! О, лестница к святыне!
О, вещий, вещий сон Иакова в пустыне!

Январь 1917 г.

CREDO

Проникнуть в душу боязливую
Того, кто в жизни изнемог;
Вдохнуть ему мечту счастливую,
Сорвать улыбку, как цветок;

Превозносить необъяснимое,
Что заставляет верить нас;
Смиренно воплощать любимое
И каждый день, и каждый час;

Уметь взмахнуть родными крыльями
Для похищений красоты,
И ежедневными усильями
Достигнуть чистой высоты;

Ценить как радость — вдохновение,
Печаль, как длительный аккорд —
Вот даль моя, моё стремление,
Вот мой удел, и я им горд.

Июнь 1917 г.

В ДНИ РЕВОЛЮЦИИ

(из дневника февраля—марта 1917 года)

Свинцовая гроза неслышно нарастала
Над всей страной,
И в пору зимнюю России душно стало,
Как в летний зной...

Воззваниям и мольбам внимали равнодушно,
Сгущалась тень...
И в пору снежную России стало душно,
Как в летний день...

К чему, к чему тогда, когда ещё святыни
Не пали в прах,
Ты чують не хотел заботливой кручины
Ни в чьих словах?

Зачем на речь друзей Ты хмурился сурово,
Зачем, скажи,
Не различал тогда Ты вещей правды слово
От слова лжи?

Ты мог ещё спасти хотя бы луч нетленный —
Мечту венца,
И росчерком пера завоевать мгновенно
Врагов сердца!

А ныне — произвол без совести и страха,
Кругом пустырь,
И ниже кажется без шапки Мономаха
Наш богатырь.

* * *

Как ты жалка и окровавленна
Моя несчастная страна!
Ты от позора не избавлена
Ты в эти дни коснулась дна!

Терзают нас часы недужные
Нигде не видно берегов
И в горести враги наружные
Добрее внутренних врагов.

В страницу славы непечатую
Вонзились грязные мечи
И перед родиной распятою
Одежды делят палачи.

И длится страшное видение
Блестит смертельная коса
О, где же Бог? Где Провидение?
О, как безмолвны небеса!

* * *

Господь во всем, Господь везде:
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах,
Не только в радостных мечтах,
Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всём, что больно и темно,
Что на страданье нам дано...
Господь в рыданье наших мук,
В безмолвной горечи разлук,
В безверных поисках умом —
Господь в проклятии самом.
Мы этой жизни должны
Достичь неведомой страны,
Где алым следом от гвоздей
Христос коснется ран людей...

И оттого так бренна плоть,
И оттого во всём — Господь.

Август 1917 г.



Книга "Таинственные моменты в жизни русских государей", подготовленная к изданию Б.Василевским, выходит в приложении к альманаху "Конец века". Об условиях подписки на книгу читайте на страницах нашего альманаха!

ДВА

РАССКАЗА

Оповещать сегодня читателя о существовании писателя Вячеслава Пьецуха можно только с той же степенью самонадеянности, с какой составляются шифрограммы "для служебного пользования" о том, что земля-таки вертится: всего за какие-то три или четыре года книги Вячеслава Пьецуха "Новая московская философия", "Роммат", "Я и другие" и другие ворвались в читательский обиход и заняли в нем такое заметное место, что его хочется назвать не местом, а пространством. Однако: книги эти создавались день за днем, строка за строкой в течение 17 лет, но еще четыре года назад имя писателя знали только друзья. Однако: еще четыре года назад официальные лица из министерства писателей отказали писателю Пьецуху в праве называться писателем. Однако: все это теперь позади, но позади и прошедшие годы. Вячеславу Пьецуху 45 лет. Живет в Москве. Известен —

МЕЛАНХОЛИЯ

Будучи по делам службы в городе Ашхабаде, старший инженер Пальцев купил на базаре два здоровенных арбуза и впал в то состояние духа, которое называется меланхолией. Для этого у него были следующие резоны: несмотря на то что стоял конец декабря, в городе было тепло и сыро, и Пальцев промочил ноги; во-вторых, приобретя пару арбузов, он достиг своей сокровенной цели, ибо еще загодя решил убрать новогодний стол диковинным для этого времени года блюдом и тем самым повергнуть домашних в приятный шок; наконец, как только он достиг своей сокровенной цели, ему сразу разонравился Ашхабад. Оттого-то на душе у него было чуждо, неприбранно и пустынно, как в комнате, из которой выехали жильцы. Остаток дня Пальцев провалился у себя в номере, размышляя о том, что цель в жизни, даже самая что ни на есть тактическая, — это все, и тупо наблюдал за двумя туркменами из Тахта-Базара, которые уже двое суток играли в нарды.

Наутро Пальцев летел в Москву. Настроение у него по-прежнему было поганое, до такой степени поганое, что — случилась минута — он поймал себя на страстном желании укусить в плечо тетку, которая стояла перед ним в очереди на регистрацию багажа и беспрестанно хихикала, как душевнобольная, точно ее все время кто-нибудь щекотал. Вдобавок оказалось, что пальцевский багаж тянет на один килограмм больше против положенного и за излишек следовало платить, а между тем денег у него оставалось только на автобусный билет от Внукова до Москвы. Видимо, оттого, что дальше расстраиваться было некуда, Пальцев не особенно огорчился, а даже как-то лениво спросил у дамы, сидевшей на регистрации багажа:

— Ну и как же мне теперь быть, дорогой товарищ?

— А я почему знаю, — ответила ему дама. — Возьмите и съешьте свои арбузы, если вы такой бедный. До отлета еще остается тридцать минут — как раз вы срубаете два арбуза.

Это трудно было предвидеть, но над Пальцевым сжалилась та самая тетка, которую он жаждал давеча укусить: она порылась в своей сумочке и подала ему пять рублей. В другой раз Пальцев скорее всего отказался бы от подачки, однако из-за меланхолии он безропотно принял деньги — будто бы так и надо. На несчастье, благодетельница оказалась в самолете его соседкой и битых три часа рассказывала о том, какая она жалостливая, добродушная и как все, кому не лень, эксплуатируют ее слабость; при этом она хихикала и внимательно заглядывала в глаза. Пальцев только потому ее, что называется, не послал, что это уже было бы верхом неблагодарности. Чтобы как-то отвлечься от приставаний, он нашарил в сумке излюбленную веревочку и принялся вязать и распутывать узелки.

Во Внукове он разбил-таки арбузы в зале выдачи багажа: авоська с арбузами ненароком выскользнула из рук, и диковинное блюдо расколосось с противным треском. Как это ни удивительно — хотя это, напротив, нисколько не удивительно — утрата его тоже не особенно огорчила. Но меланхолия усугубилась, как-то заматерела. Впрочем, такое могло случиться отнюдь не из-за арбузов, а оттого что в Москве уже были чуть ли не сумерки, стоял довольно крутой мороз, с неба падал колючий снег — словом, в противоположность почти весеннему Ашхабаду господствовала форменная зима. Как бы там ни было, меланхолия его до таких пределов околдовала, что вот он даже ни с того ни с сего раздумал ехать в Москву; он дошел пешком до развилки, потому что не смог дождаться 511-го автобуса, и отсюда подался в сторону деревни Аннино, где у него была родовая дача.

Сумерки тем временем становились синее, гуще, и когда Пальцев добрался до своей дачи, которая представляла собой небольшой рубленый домик, обшитый тесом, с застекленной верандой, голубыми наличниками, чуланчиком, пристроенным сбоку, решительно инородным крыльцом — то есть обыкновенный загородный домик из тех, что поколениями возводят москвичи, живущие на зарплату, — было уже темно. Лес кругом стоял сизый с прозеленью и такой умудренно тихий и одновременно нерасположенный, какими бывают наши деревенские старики. Пальцев с трудом от-

чинил калитку, которую занесло снегом, и, увязая в сугробах, побрел к крыльцу. Пришлось ему повозиться и со входной дверью — видимо, замок за зиму приржавел и отпереть его было не так-то просто.

Войдя на веранду, Пальцев поставил в угол свою сумку с биркой Аэрофлота, а войдя в комнаты, осмотрелся и сел в плетеное кресло, стоявшее против печки. Пахло в комнатах старой пылью, мышами, книгами и еще почему-то дешевым одеколоном, а холодно было так, как только бывает холодно зимой в давно нетопленных помещениях — кажется, куда холоднее, нежели на дворе. Следовало бы затопить печку, но он не мог себя заставить даже пальцем пошевелить. Он сидел в кресле, тупо смотрел в светлые еще окна, которые чудились ему окнами в мир иной, явственно ощущал, как постепенно каменеет от стужи, и спрашивал сам себя: кой черт дернул его забраться на эту дачу?

Некоторое время спустя он поднялся-таки из кресла, подошел к правому окошку, перебрал несколько журналов "Химия и жизнь", заглянул в пустую кастрюлю, немытую с самого сентября, пнул ногой задубевшую бахилку, вырезанную из валенка, подул в ладони, сложенные колодцем, смахнул со стола мышиный помет, вздохнул, поправил несколько покосившуюся репродукцию "Девочки с персиком", пощупал угол печки и вдруг увидел длинную засаленную веревку, которая валялась на подоконнике. Пальцев взял ее в руки и глянул на потолок.

Затем он установил плетеное кресло посреди комнаты, встал на него, снял с крюка старый шелковый абажур, прикрепил веревку одним концом к освободившемуся крюку, а с другого конца принялся вязать какую-то особенную удавку. То ли по причине меланхолии, то ли оттого, что заледневшие пальцы его не слушались, но вместо удавки у него получилось несколько занимательных узелков. Пальцев соскочил на пол, уселся в кресло и начал их бережно расплетать. Когда с этим было покончено, он положил веревку обратно на подоконник и поехал себе в Москву.



Я И СМЕРТЬ

Больше всего на свете я боюсь смерти. То есть смерти боятся все, но большинство людей природа счастливо устроила таким образом, что они инстинктивно о ней не думают и, в общем, изображают из себя категорию, которой обеспечено вечное бытие. Я же денно и нощно терзаюсь мыслями о предстоящем уходе, хотя я здоров как бык, хотя мне уже не тридцать семь и даже не сорок два, хотя линия жизни на левой руке у меня простирается до запястья. Как подумаю, что когда-нибудь да придет пора помирать, так весь столбенею и начинаю захлебываться смертным ужасом, как утопающие водой. Я не знаю, почему я такой уродился, но это еще не самое идиотское, что во мне есть; самое идиотское это то, что вот я как черт ладана боюсь смерти, а между тем мне отлично известно, что на самом деле в ней ничего ужасного нет. Я это со всей определенностью утверждаю, потому что один раз я уже умирал. Это случилось в прошлом году, весной, как раз под сессию Моссовета, к которой я, правда, имсю только то отношение, что работаю в Доме Союзов осветителем и по совместительству полотером.

Для полной ясности следовало бы добавить, что в мертвецах я пробыл только четверо суток, а на пятые сутки почему-то воскрес. Точнее, совершенным, безоговорочным мертвецом я был, наверное, считанные минуты, а четверо суток болтался в довольно обширном пространстве между состоянием жизни и состоянием смерти, так что, по совести говоря, я был и не то чтобы мертв, но и не то чтобы жив. Однако это еще сравнительно ничего: самое любопытное, я бы даже сказал, отчаянно любопытное, заключается в том, что за четверо суток со мною произошли значительные события, которые, как это ни странно, не заметила ни одна живая душа. То ли эти четверо суток как-то спрессовались в одно ослепительное мгновение, что вполне вероятно, так как время у мертвых наверняка течет иначе, нежели у живых, то ли у моих родственников и знакомых напрочь отбило память, но, например, ни одна собака не помнит моих поминок. Честно говоря, первое время я и сам сомневался: было

ли то, что было, не бред ли мои похороны, не сон ли мои поминки, но, во-первых, у меня нашлось одно вещественное доказательство, а во-вторых, еще до того, как оно нашлось, какое-то арифметическое чувство, которое безошибочно указывает, что сновидение, а что явь, сказало мне: это было. Что же касается вещественного доказательства, то его роль сыграли обыкновенные сломанные часы, которые остановились в момент моей смерти и, как впоследствии ни бились над ними мои знакомые часовщики, по сей день отказываются ходить. Тем не менее ни жена, ни мой единственный друг Иван, ни родственники, ни свойственники, ни знакомые не упомнят, как я скончался, как меня хоронили на Никольском кладбище и как потом гуляли у меня на поминках, которые по славянскому обыкновению вылились в разнузданную попойку.

В тот момент, когда я воскрес, я первым делом подумал, что своим воскрешением наведу на публику панику, ужас, во всяком случае замешательство. Однако все присутствовавшие при моем воскрешении, а именно два выздоравливавших мужика и старшая медицинская сестра отделения реанимации тетя Клава, восприняли его как ни в чем не бывало, а тетя Клава даже легкомысленно поздравила меня с возвращением, как если бы я вернулся не с того света, а из местной командировки. После этого я начал с трепетом дожидаться прихода жены, предвкушая, каково ей будет встретиться с привидением, но жена, которая еще три дня тому назад проливала над моим телом крокодиловы слезы, принесла в авоське марокканские апельсины и битых полча-са распространялась о повышении цен на кофе. Через неделю она забрала меня домой под расписку.

Дома я только и делал, что целыми днями ломал себе голову, раздумывая на тем, как же это все-таки так случилось, что я скончался, был похоронен, наконец, помянут беспардонными родственниками и знакомыми, а между тем этого не упомнит ни одна живая душа? Такая забывчивость казалась мне в высшей степени подозрительной, а с точки зрения науки, принципиально необъяснимой. Хотя, с точки зрения науки, очень многие явления природы принципиально необъяснимы, например, как она ни пыжится, ей не под

силу решить вопрос, почему хорошего человека по лицу видно. В конце концов я решил сходить на работу и потолковать со своим другом Ваней, который, во-первых, большая умница, во-вторых, он учился на вечернем отделении в библиотечном институте, в-третьих, был моим сокровенным другом и поэтому предположительно должен был понять меня, как никто.

На работе меня тоже встретили спокойно, будто бы так и надо. Я нашел Ивана, который возился с люминесцентными лампами в конференц-зале, поздоровался и сказал:

— Слушай, Вань, напомни мне, пожалуйста, что было семнадцатого числа.

— А что у нас было семнадцатое число? — переспросил Иван.

— Хрен его знает, кажется, понедельник.

— Погоди, сейчас соображу... Ну, как же: семнадцатого числа у нас было собрание. Рабочие сцены пропили бархатную кулису, и мы их на собрании осуждали. Ты что, не помнишь, что ли, или разыгрываешь дурачка?

Я помотал головой.

— Точно ты разыгрываешь дурачка? — ехидно сказал Иван.

Я опять помотал головой.

— Пропили, хищники, бархатную кулису. И вообще, чего ты мне голову морочишь, мы же их вместе на собрании осуждали!..

— Я не о том, — зло сказал я. — Я о том, что было потом.

— Потом я поехал на занятия в институт, а ты вечером заболел, и тебя отвезли в больницу. Странный ты какой-то сегодня, некоммуникабельный.

— Ну а потом?

— А потом суп с котом! — рассердился Иван. — Ну чего пристал? Ничего потом не было...

— Ох, Ваня, было! Ох, было, друг ты мой ненаглядный!..

Я сел на стол президиума и, болтая ногами, рассказал, как все было. Когда я закончил, Иван многозначительно помолчал, потом протер глаза безымянными пальцами и сказал:

— Это, конечно, идеализм. Но как показывает практика последних десятилетий — у нас может случиться все.

— Ну! — согласился я. — У меня еще когда было подозрение, что смерть — это не совсем то, что о ней думают. Но насчет воскрешения я, по правде сказать, никакого мнения не имел, потому что я думал, что смерть — это бесповоротно.

— Проперций говорил: “Летум нон омниа финит”.

— Это еще что такое?

— Не все кончается со смертью.

— Ну, это ладно; ты мне лучше скажи, почему никто ничего не помнит? Вот ты помнишь, как гулял у меня на поминках?

— Не помню, — сказал Иван с таким видом, с каким хитрые люди сознаются в неправоте.

Наш разговор еще продолжался довольно долго и в конце концов завершился тем, что я совершенно и окончательно успокоился. Я про себя решил, что, было дело, я помер, некоторое время провел на Никольском кладбище, а потом воскрес, чего, правда, не помнит ни одна живая душа, но сумму всех этих загадочных обстоятельств следует принимать как данность; скажем, киты время от времени совершают коллективные самоубийства, это непонятно, но мир между тем продолжает существовать. Правда, я долго не мог взять в толк, зачем, собственно, это было, но потом меня надумило, что я просто-напросто прожил небольшой кусок будущего, которому не суждено было осуществиться. Тут, конечно, тоже не обошлось без фантастического элемента, но поскольку сравнительно с моими приключениями на том свете это была какая-то приземленная фантастика, почти быть, я подумал, что так оно и случилось на самом деле. На всякий случай я еще раз пересказал про себя всю историю, чтобы перепроверить, нет ли в ней чего-то такого, что обличало бы меня как человека, спятившего с ума. Нет, ничего такого не находилось. Перипетии моей истории обличали кого угодно, но только не человека, спятившего с ума. Я сидел на стремянке в кофференц-зале, смотрел на Ивана, который распутывал провода, и припоминал, как вечером семнадцатого числа я пришел с работы, переоделся в домашнее

барахло и, пока не подospel ужин, прилег с газетами на диван. Потом я поужинал, потом мы немного посплетничали с женой, потом я посмотрел программу “Время” и отправился в спальню спать. С этого все, собственно, и началось: я лег спать и не проснулся. Я почему-то всегда предчувствовал, что именно таким образом и умру, то есть как-нибудь лягу и уже никогда не встану. И вот я лег спать и не проснулся. Вообще все произошло немного иначе — это домашние думали, что я не проснулся, на самом деле в свою смертную минуту я как раз и проснулся. Я проснулся и подумал: а чего это я проснулся? Мне это показалось очень странным, потому что среди ночи я сроду не просыпался, и по этому поводу у меня в животе зашевелился какой-то испуганный червячок. Что такое, думаю... И тут я почувствовал, как к сердцу подступает... И даже не подступает, а подкрадывается что-то окончательное, какая-то итоговая дурнота. Она подкрадывалась, подкрадывалась и вдруг во весь рост встала посреди сердца, расперев его стенки до натянутости струны. Я стремительно сел в постели. По-видимому, дыхания уже не было, так как из выкатившихся глаз струями полились слезы, а рот, которым я пытался схватить хоть сколь-нибудь окаменевшего воздуха, раскрылся до того широко, что со стороны это, наверное, выглядело неопишимо безобразно. Я понял, что это все, и меня обуяла жуть. В последнее мгновение я попытался позвать жену, которой ввиду моего ухода вообще-то надлежало проснуться самостоятельно, но она, дрянь такая, спала, как говорится, без задних ног. Вдруг внутри меня произошел какой-то всесотрясающий взрыв, глаза занавесила бархатно-черная пелена и нежданно-негаданно стало так легко, так освобожденно, как бывает, когда ни с того ни с сего отпускает боль. Я лег и выпрямился.

Я сразу сообразил, что умер, но, как ни странно, меня это ни испугало, ни огорчило — ну разве что огорошило. Я лежал и тихо, хорошо дожидался рассвета, рисуя себе какие-то симпатичные пейзажи, какие-то милые лица, уж какие именно, не упомню, и прислушивался к тиканью часов в большой комнате — в спальне, как уже было сказано, часы встали и, сколько впоследствии над ними ни бились мои знакомые часовщики, по сию пору отказываются ходить.

Как это опять же ни странно, я вовсе не думал о том, какой настанет трагический переполох, когда с наступлением утра обнаружится, что я мертв, хотя при жизни меня вообще не так пугал момент смертельного превращения, как момент эстетического порядка: мне жутко было видение собственно-го трупа, а точнее, жутко, что другим жутко. Но вот оказалось, что в действительности покойнику до этого нет никакого дела.

Я даже не стану описывать, что творилось вокруг после того, как обнаружилось, что я умер, только из-за того не стану описывать, что посиюсторонняя суета не вызывает у покойника ничего, кроме легкого раздражения. Видите ли, тут чувство такое, как будто ты летишь на большой высоте, а внизу всякая дребедень: люди, коровы, электрички, автомобили, которые мельтешат и поэтому раздражают. Но вообще состояние было настолько приятное, что я даже не заметил, как подоспел день похорон.

Я и о моих похоронах умолчу, оговорюсь только, что вообще славянские похороны — это дичь, дичь, дичь. Я даже удивляюсь, как до сих пор не запретят эту варварскую процедуру: человеческие жертвоприношения запретили, инквизицию запретили, даже смертную казнь кое-где запретили, а этот душевынимающий обычай, тем более нелепый, что все равно никто не знает, что, собственно, произошло, почему-то не запретят...

Ну ладно, похоронили меня и уехали поминать. Я себе лежу; тихо лежу, спокойно, опять же мысли хорошие, категорические: если да, то да, если нет, то нет. Но любопытное дело: как бы одним желудочком сердца, или полушарием головного мозга, или ногой, ну, я не знаю чем, — я у себя в могиле, а другой своей половиной я вместе с родственниками и знакомыми. Например, я совершенно явственно видел свои поминки. Народ, можно сказать, без малого веселился, и только Иван обпился до ненормального состояния и горько рыдал, рассказывая о том, какой я был уважительный человек; я слушал его и думал: “Вот дурак! вот дурак!..”

Но, как уже было сказано, другой своей половиной я бытовал в могиле. Я лежал и сквозь категорические мысли наблюдал поразительные картины: какое-то громадное собра-

ние, на котором всем присутствующим делали нагоняй, потом что-то похожее на висячие сады Семирамиды... Только вдруг слышу — вокруг меня раздаются шорохи, приглушенные вздохи, шепот. Что такое, думаю, или мне померещилось? Нет, не померещилось; не прошло и минуты, как слева от меня кто-то постучал по дереву, на манер того, как стучатся в дверь, и я слышу голос:

— Как дела, товарищ?

Я насторожился, потом кашлянул для солидности и сказал:

— Ничего... то есть дела, как сажа бела. А у вас тут что, тоже разговаривают?

— Это смотря по настроению, — отвечает голос. — Если есть настроение поговорить, можно поговорить, если нет — нет.

— Держи карман шире! — вдруг доносится голос справа. — Есть настроение, нет настроения, все равно не дадут покоя. Я вот уже третий год тут лежу и все никак с мыслями не соберусь. Третий год никак с мыслями не соберусь, етит вашу мать! Все бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу!..

Сосед слева, слышу, тяжело вздохнул и примолк. Но прошло очень немного времени, как он еще раз тяжело вздохнул и сказал тоном ниже:

— Вообще-то у нас тут тихо. Кладбище новое, лежат все, главным образом, ровесники, так что трений особых нет. Я представляю себе, что на Ваганькове творится...

— Да, на Ваганькове творится...

— Да, на Ваганькове небось дым коромыслом! — донесся голос откуда-то издалека. — Там у них один Сергей Александрович чего стоит! Вот, наверное, дает публике прикурить!..

— Это скорее всего, — сказал мой сосед слева. — Тем более что там и его критики похоронены, те самые, которые инкриминировали ему подпевание кулаку.

— Моя бы власть, — сказал отдаленный голос, — я бы этим критикам не дал помереть естественной смертью...

— Интересно!.. — сказал голос справа. — Что же, повашему, нужно было нянькаться с идейными прихвостнями кулака? Правильно их давили, да только мало!

— А вы, полковник, вообще помолчите, — сказал какой-то совсем отдаленный голос. — Прошли ваши времена.

— Послушайте, ребята! — тогда сказал я. — Это что, и есть смерть? Если это и есть смерть, то на хрена козе баян...

— Гм! А чего вы, собственно, ожидали? — донесся до меня голос слева.

— Я ничего не ожидал, — сказал я, — я скоростижно скончался: лег спать, и на этом все. Но, во всяком случае, я не думал, что у вас тут целые загробные конференции.

— Товарищ, видимо, предполагал, что за хорошие производственные показатели ему обеспечат райские кущи, — съехидничал голос справа.

— Рай не рай, — сказал я, — но элементарный покой я, наверное, заслужил.

— Так это и есть рай, — сказал отдаленный голос. — Мы как раз третьего дня пришли к выводу, что это и есть рай. А мы с вами в аду — это к бабке ходить не нужно...

— Но в таком случае непонятно — я-то за что в аду? — сказал голос справа.

— И он еще спрашивает... — донесся совсем отдаленный голос.

— Нет, тут действительно не все ясно, — сказал голос слева. — Главным образом, неясно, почему в так называемый ад нашего брата покойника попадает абсолютное большинство. Ведь у нас на все кладбище только один молчун! Как похоронили его в семьдесят девятом году, так он и молчит...

— А кто он был? — спросил я.

— Неизвестно, — ответил на мой вопрос отдаленный голос. — Он же молчит...

— Мы тут посоветовались и решили между собой, что это был просто отличный человек, — сказал голос слева. — То есть такой человек, который, что называется, умел жить.

— Что значит уметь жить? — зло спросил совсем отдаленный голос.

— Ну, туши свет! — сказал голос справа. — Сейчас пойдет философия...

— Если бы я это знал, я бы сейчас с вами не разговаривал, — объяснил сосед слева. — Но, по всей видимости, су-

ществует какая-то формула умения жить. Даже может быть, что эта формула валяется под ногами, возможно, что открыть ее гораздо проще, чем найти кимберлитовую трубку или построить Панамский канал. И если подойти к этому вопросу с позиции монадологии Лейбница...

— Тьфу! — сплюнул в сердцах сосед справа.

— Хотя, — тем не менее продолжал голос слева, — умение жить может заключаться всего-навсего в том, чтобы постоянно осознавать, что ты не что-нибудь, а живешь. И сразу пойдет какое-то пристальное, въедливое бытие, этаким продолжительный праздник самосознания. Недаром древние говорили: “Когито эрго сум“...

— Послушай, друг, — сказал голос справа, — ты вообще-то русский?

— Ну, русский... — отвечал сосед слева.

— Тогда почему у тебя на языке одни иностранные слова? Откуда такой космополитизм?..

— Заткнитесь, полковник, слушать тошно! — донесся совсем отдаленный голос.

— А ты кто такой? — сказал голос справа. — И чего ты меня все время полковником попрекаешь?

Тут я не выдержал и сказал:

— Знаете что, ребята, это не смерть, а сумасшедший дом! Я в таких условиях отказываюсь лежать!

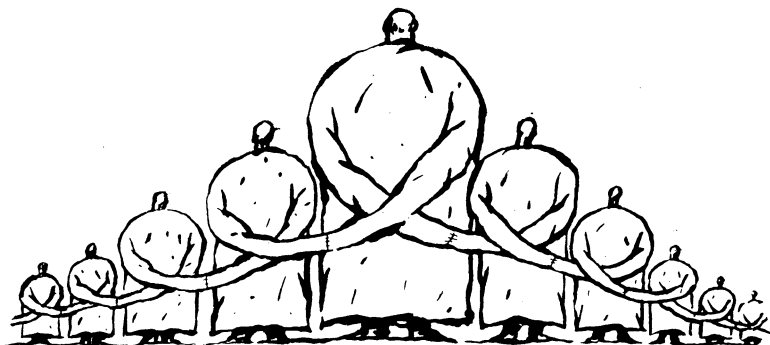
И вот что чудно: только я произнес эти слова, как в голове у меня начало светлеть, светлеть и вскорости я воскрес. Я открыл глаза и увидел нелепые физиономии двух выздоравливающих мужиков, а потом старшая медицинская сестра отделения реанимации тетя Клава поздравила меня с возвращением, как если бы я вернулся не с того света, а из местной командировки. Вот и вся история, которая, с моей точки зрения, обличает в главном действующем лице кого угодно, но только не человека, спятившего с ума. Я пришел к этому выводу бесповоротно, после чего слез со стремянки и начал помогать Ивану распутывать провода. Мы распутывали их, распутывали, а потом я сказал:

— Послушай, Вань, а давай будем жить пристально, въедливо, чтобы это дело вылилось в продолжительный праздник самосознания?

— Давай, — сказал Иван. — Только это как?
Я пожал плечами.

— Может быть, это должно выглядеть так, — сказал я после некоторой паузы. — Положим, мы с тобой в обеденный перерыв решили сходить выпить по кружке пива. На Кузнецком Мосту пиво стоит сорок шесть копеек, а на Богдана Хмельницкого двадцать шесть. Однако до Богдана Хмельницкого дальше, поэтому набрасываем пятак за проезд и в результате получаем тридцать одну копейку; выходит, что хотя оно и дальше, но все равно дешевле. И вот так мы все думаем, думаем, ко всему придираемся — может быть, это и будет вьедливая жизнь?

— Все может быть, — ответил Иван. — Как показывает практика, у нас все может быть...





ВЛАДИМИР КОНАШЕВИЧ

1888 — 1963

Да и где, как не в Москве, это обилие должно было дойти до полного расцвета и даже много перехватить в своей изысканности. Москвич тонок и внимателен к еде, да и ко всякой вещи, и во всем ты ему подавай самое настоящее. Да он и сам знает, где его искать, за чем куда идти. Городские сухари всех сортов — от простых сдобных до маленьких сливочных, обсыпанных миндалем, и баранки — от толстой сдобной до тоненькой сушки, брались у Чуева; торты — у Трамбле. У него же и пирожные всех видов — только не меренги, боже упаси: за меренгами москвич шел к Флею! Фруктовые конфеты, цукаты и все, что из фруктов, — у Абрикосова и Сну; но не пастилы и смоквы: эти только у Прохорова. Кулебяки, пирожки и калачи — у Филиппова: хоть калач повсюду тот же калач — более точного стандарта не создашь, — но так уж повелось! В больших гастрономических магазинах на Тверской — у Белова и Генералова — все колбасные изделия — объеденье! Но чтобы настоящий, уважающий свой вкус москвич взял у них сосиски? Никогда! Он за ними поплетется на Цветной бульвар, в маленькую немецкую колбасную Бензеля. Зато уж ничего другого, кроме венских сосисок, там не возьмет, хоть и все остальное у этого немца отменно хорошо. А громовские сельди, а горшковская ветчина, а тестовские блины и поросята, которых отпаивали молочком в особых стойлицах, чтобы жирок не “сбрыкнули”! И так во всем, во всем — не только в еде, конечно.

Конашевич Владимир Михайлович — известный русский советский художник, мастер книжной графики, особенно детской. Приведенный фрагмент взят из книги “Воспоминаний”; это описание Москвы конца века — прошлого века, разумеется.

ВИКТОР КОКЛЮШКИН

По-вчнучся!

Повесть

Виктор Коклюшкин красив, скромн, элегантен. На него часто оборачиваются на улице, особенно если его обрызгала машина. Улица, где живет Виктор Михайлович, корявая и на ней много луж. Иногда Виктору Михайловичу кажется, что это слезы прохожих, и тогда он начинает жалеть людей. Но когда он поднимает глаза и смотрит на дела рук этих людей, жалость проходит. Виктор Михайлович любит собак, кошек, лошадей и птичек разных тоже. Ему нравится их естественность. И главное: птицы не заставляють его летать, лошади — ржать, а собаки — тявкать... Как и почти всякий пишущий, Виктор Михайлович сменил несколько профессий. Любопытен, разве, подбор: слесарь, корректор, выпускающий издательства, полотер, комендант пенсионного отдела горвоенкомата, старший инженер по охране и реставрации памятников истории и культуры, редактор отдела сатиры и юмора в еженедельнике, артист, а кроме того — старшина запаса. Нет, Виктору Михайловичу не сто лет. Пока ему значительно меньше, но как он успел все это, включая сложности семейной жизни и производство многочисленных рассказов, повестей, эстрадных спектаклей и прочего, — не ясно. И последнее, Виктора Михайловича часто обвиняють, что он умнее других, а он смущается и говорит: “Я не виноват...”

Глава первая “Убийство”

Волею случая я оказался в селе Куямы на следующий день после убийства капитана милиции Морокова.

В местной пещере спелеологи обнаружили настенные рисунки с загадочным изображением отпечатков пальцев. В Управлении совещались и решили отправить меня как специалиста по отпечаткам, по пещерам и вообще — по темному прошлому.

Было у меня предчувствие, что командировка принесет неожиданность, но чтобы такую...

На станцию Подколюзино, это в тридцати километрах от Куям, я прибыл около шести утра. Поезд там не останавливается, пришлось прыгать на ходу. Проводник разбудил вовремя. “Сейчас ваша станция, — говорит, — будете прыгать или уж, смотрите, до конечной, а там самолет”.

“Прыгну, — говорю, — спать, конечно, охота, но прыгну”.

“Ну-ну, — сказал проводник, — в крайнем случае в больнице доспите. А то, смотрите, до конечной, а оттуда на товарном можно. Тут товар-то иногда сгружают...”

Разбежался по коридору, выскочил в тамбур, кричу:

“Что ж ты мне, черт чудной, дверь-то не открыл! А рассуждаешь!...”

“Тык, команды не было, — говорит проводник, — кто вас знает, вы люди специальные, из органов, может, вы в окно будете прыгать для конспирации...”

“Конспирации... Ладно, — говорю, — открывай!”

Прыгнул, но запал уже потерял, да и время ушло. Хорошо в столб не угодил, а просто в бочку какую-то... с водой.

Весь мокрый, невыспавшийся, в шесть утра — вот так я оказался на станции Подколюзино.

Светало. Летом в тех местах светает рано, а темнеет поздно. Из-за угла вышел человек, посмотрел на меня мокрого, но не удивился, а пошел дальше. Как я узнал спустя 15 минут, это и был дежурный по станции.

“А чего удивляться, — объяснил он мне, — бочка на месте сто-

ит, у противопожарного щита, а кто в нее вбухается — это не наше-го ума дело, этого в инструкции не обозначено. Сейчас вообще, — говорит, — в жизни много путаницы: сейчас еще пуще инструкции держаться надо!”

Дал он мне старую робу переодеться. Чаю предложил, только предупредил, что сахара и заварки нету.

Со станции Подколюзинс я отправился пешком, имея самые смутные представления о предстоящей работе и сырую одежду, которую нес на палке, а шагал в железнодорожной робе.

Роба хранила формы чужого неизвестного мне тела, от этого я ощущал какую-то стыдливую неловкость и невольно старался угодить робе: шел, раскачиваясь, небрежно ставя ноги, и свалился в канаву.

И только я упал лицом в лопухи, как что-то темное пронеслось мимо.

Когда я вылез из канавы, дорога была пуста, лишь показалось мне: за взгорком скрипнули тормоза или взвизгнул кто-то?

Работая в органах, я привык к опасностям: то руку обожжешь, хватаясь за горячую сковородку, когда торопишься завтракать; то на ногу что-нибудь уронишь, однажды из автобуса весной выходил и — прямо в лужу. Поэтому я не очень испугался, но задумался: кто мог так торопиться в Куямы? Да еще утром? Если туда рейсовый автобус ходит только два раза в неделю, когда шофер Сашка к своей подруге Зинке заезжает.

Дорога к селу Куямы шла меж полей и светлых, каких-то радостных березовых рощ... Так шел бы и шел, если бы есть не хотелось. Солнце светило сбоку, на полях рос овес, что-то в его худой стройности было сиротское, пшеница росла тоже, что-то в ней было взрослое, озабоченное и обреченное. Картошка росла легко, просто, без затей; кормовая свекла росла упорно.

Птицы какие-то летали в воздухе...

Когда шел меж полей, мысли были широкие, просторные: о смысле жизни, о людях, что жили здесь когда-то очень давно... Когда входил в березовые рощи, как в нарядную одежду одевался: весело становилось беспричинно, хотелось кого-нибудь встретить, девушку какую-нибудь нарядную в сарафане. Но никто не встречался.

Ближе к Куямам недоброе предчувствие стало томить меня и еще сильнее захотелось есть. Сорвал с куста какую-то ягоду. “А если ядовитая?” Плохо мы, горожане, знаем природу, в милиции это-

му тоже не учат. Съел, постоял с закрытыми глазами — кажется, живой остался! Но сытости не почувствовал. Во всяком случае, энное количество витаминов получил.

Когда пошел дальше, некоторое время меня преследовала сорока. Птица как бы хотела что-то узнать и не понимала, потом резко полетела в сторону.

Солнце было в зените, когда показались Куямы. Сначала выползла из-за бугра обшарпанная колокольня с погнутым темным крестом, потом крыши, чем-то напоминающие взъерошенные головы куямцев, потом сами куямцы — они молча стояли на площади, а перед ними, в центре, лежал капитан милиции. Один погон оторван, на лице окаменевшая снисходительная улыбка, в правой руке зажат пистолет рукоятью вперед. Рукоять была расплющена, видно, крепко кому-то досталось...

Я неслышно подошел и поздоровался. Вместо ответа дед, стоящий рядом, тихо сказал:

— Ночью слышали какие-то крики, а утром вот приполз... вчера. Попить просил, ну бабы говорят: если он раненый в живот, пить нельзя...

— А куда ранили?

— А кто ж его знает! Фелдшера у нас уж какой год нету! Раньше-то Иван Тимофеевич был, фелдшер хороший, грамотный, он хоть корову, хоть бабу вылечит, но вот беда — сам помер, выпил какого-то своего лекарства и... уж какой год без фелдшера!

— А чего ж с улицы-то не убрали?

— Нельзя, отпечатки пальцев какие могут быть! — уважительно произнес дед. — Председатель, вон в окне его видать, в район звонит...

— Ну?!

— Ну а попадает все в бухгалтерию, в соседнюю комнату, вон, видите, в соседнем окне бухгалтер Степанов ему отвечает: не туда попали! Председатель матерится и набирает опять. И так уж вторые сутки. Хорошо хоть дождя нет, хотя для овса-то дождь в самый аккурат!

Я подошел ближе к лежащему, тогда я еще не знал, что это Мороков. Я только догадывался, что передо мной человек необыкновенный, жалко что покойный. Я встал на колени и приложил ухо к груди лежащего. Было слышно, как на руке у меня тикают часы, это почему-то успокаивало, внушало ясность.

— Жив? — с надеждой спросила круглолицая баба, стоящая поодаль.

— Хоть бы они быстрее дозвонились! — кивнул в сторону конторы насупленный мужик.

Из конторы доносилось: “Это милиция?!“ — “Я вам тысячу раз говорю: не туда попали!“

Я расстегнул на лежащем рубашку и вздрогнул — в нижней части шеи было два крупных лиловых пятна, каждое размером с доньшко стакана. Что-то в этих пятнах было зловещее, непонятное. Чем-то они напоминали отпечатки пальцев.

Я невольно представил, какого же гигантского размера должен быть их обладатель, и вздрогнул еще раз, потому что солнце зашло за тучу, и мне на миг показалось, что это склонилась надо мной гигантская фигура.

Теперь выражение снисходительности на лице убитого вызвало во мне уважение, и очень захотелось узнать его имя. Я расстегнул пуговицу у него на кармане, достал документ и вздрогнул в третий раз — передо мной был капитан Мороков!

Судьба не удостоила меня личного знакомства.

Человек необыкновенной храбрости и мужества, еще в детстве с мамой ходивший на медведя смотреть в зоопарке, — о нем в Управлении рассказывали легенды, гордились, любили, но, как водится, мало что знали.

Председатель сельсовета наконец дозвонился и ему обещали срочно выслать вертолет. Он вышел на крыльцо довольный, потирая руки, вслед за ним вышел бухгалтер. Думали, наверное, что их встретят, как победителей. Но люди, узнав имя покойного, искренно скорбели. И тут, никогда не забуду этого, маленькая девочка сорвала ромашку и положила к ногам Морокова. И заголосили тут бабы, словно только и ждали сигнала; засопели, нахмурились мужики, стали серьезными и настороженными мальчишки. И капнуло с неба, хотя не было там ни тучки.

Вскоре желтопузая тархтящая железка повисла над площадью. Люди разбегались по сторонам. Вертолет снижался, заколыхалась вокруг трава, и взметнулись на лбу светлые волосы капитана Морокова, казалось, еще немного, и он встанет навстречу опускающейся тархтящей вертушке, протянет руку, скажет: “Здравствуйте, товарищи. А я вас тут жду. Есть важное сообщение“. Но опустился вертолет, затих мотор, но не встал капитан Мороков, не

доложил, не представился по форме, не улыбнулся своей простецкой обвораживающей улыбкой.

Из вертолета опустили лестницу и по ней, оттопырив зад, спустился майор Орехов. Осторожный и хваткий, его не любили в нашем Управлении. Вот и сейчас он даже не утрудил себя скорбным видом, взглянул коротко убитому в лицо, расписался на одной бумажке, что опознал, на второй, что удостоверяет свое прибытие, и подал знак убирать.

Обидно мне было все это видеть. Как несправедлива подчас бывает жизнь: герой Мороков и равнодушный службист Орехов, один — мертв, другой — живет...

Когда вертолет с телом капитана Морокова поднялся в воздух, я неожиданно почувствовал себя одиноким, брошенным, я даже подпрыгнул легонько и потом долго, до вечера, не мог простить себе этой слабости.

Глава вторая "Тайна сгущается"

Издавна в Куямах творилось что-то неладное. Еще в 20-х годах, когда здесь искали золото, пропала целая экспедиция. Правда, она объявилась спустя некоторое время в Америке, но тогда исчезновение ее наделало много шума.

Искали здесь нефть, газ, счастье — ничего не нашли. В 60-х годах искали снежного человека. Приехал из Москвы какой-то чудак очкастый, сам потерялся, его нашли через полтора месяца обросшего, кричат: "Поймали! Поймали снежного человека!" Он кричит: "Это я — доцент Свирепов!" Ему кричат: "Мы доцента Свирепова знаем, он в очках был!" Доцент кричит: "Я очки потерял, когда от волка убежал!" "Ха-ха-ха! Он! От волка! Что ж волк-то хромой, что ли, был! Ха-ха-ха!.."

Ну в конце концов разобрались, когда побрились, когда для сравнения надели на него очки бухгалтера Степанова, разобрались. "Чего ж ты, — говорят, — не знаешь, что ли, что солнце встает на востоке, а садится на западе?! Вот и шел бы все время на запад в свою Москву ненаглядную! Ха-ха-ха! В парикмахерскую!.."

Уже в середине 80-х искали здесь спички, мыло, сахар... Учитель Пиркл искал библиотеку Ивана Грозного, для этого ходил к бабке Лукерье, у которой в паспорте стояло: год рождения — 1514

(ошибка, наверное), пил с бабкой самогон, пытался выпытать... В конце концов спился.

Особенно красивы Куямы бывают зимой, когда снег, снег кругом... И белизна его такая чистая, нежная, и кажется: вот растает снег, а жизнь останется и будет продолжаться такая же чистая, ласковая.

Весной и осенью, конечно, не пройти, не проехать, грязь такая, что, кажется, и дома вот-вот засосет и только чавкнет.

Поместили меня к бабке Лукерье. Раньше-то за честь посчитали бы и председатель и бригадир: знакомили бы со своими сладко глядящими женами, уважительными стариками, любознательными детками, но после убийства Морокова боялись.

Бабка Лукерья встретила меня хлебом, солью. Больше у нее ничего не было.

— Ты уж не обессудь, батюшка, — виновато сказала, — все остальное большевики отобрали.

— Так ведь... сколько лет прошло?!

— Вот с тех пор ничего и нету. А лет мне много, — она была глуховата, — лет мне, посчитай, аж шестьсот двадцать пять годиков, ежли по паспорту, а ежли так считать, — она стала загигать пальцы, загнула свои, потом мои, потом кликнула проходившего мимо мужика: — Федор, зайди-ко, посчитать надоть.

Федор зашел. Кашлянул для порядка. Вытер ноги.

— Ты чего? — с грубоватостью спросил он. И сразу ко мне: — Да не слушайте вы ее. Чтоб я поршня взял, да Севостьянову в “Новый путь” за четвертной, а там нажрался, как свинья, и на тракторе в овраг опрокинулся, да что я, пля, дурак, что ли?!

— Федь, я посчитать хочу, — остановила его Лукерья, — дай-ко руку-т.

Федор вытянул руку, и я вздрогнул — на запястье было точно такое же лиловое пятно.

— Это... откуда? — спросил я.

— А хрен его знает! — легко ответил Федор. — Когда в овраге-то заснул, просыпаюсь — кто-то руку вывертывает, ну я ему и вмазал, — он показал увесистый кулак. — Впотьмах-то не разобрать, кто был.

— А где овраг-то?

— Да где, пля, эта пещера поганая.

— А почему поганая?

— Да не знаю, поганая — она и есть поганая, наши-то местные туда не ходят...

— Боятся?

— Двадцать семь, двадцать восемь... — считала бабка Лукерья.

— Может, и боятся, только не ходят — и все, деды еще завешали держаться от ей подальше: держитесь, говорят, от ей, пля, подальше, мать вашу!

Старуха закончила считать и теперь выжидаючи смотрела в окно, кого бы еще позвать.

— Васи-ка! Васи-ка! — заголосила Лукерья в окно. — Почто мимо идешь, зайди-ко, дело есть!

Вскоре в избу вошел невысокий сухонький старичок.

— Здравствуйте всем! — сказал он и быстрым взглядом обвел стол. — Чего звала, дык?

— Посчитать хочу, коды родилась-то.

— Дык, чё считат-то, — старичок вопросительно глянул на меня. — Разе ж мы виноватые, что родилися тогда... когды энтих амбортов не было и энтих... тож не было. Сказывали, правда, старики, что ежли сыскать корень специальный... пустобрюх называется, дык, это в пещеру надоть идтить, не кажный решится! А мы не виноватые, что родилися, а ежли всех штрафуват, дык!..

— Да кто ж вас собираетса штрафовать? — удивился я.

— Дык, и Петька говорил, и... Степанов, бухгалтер наш, тож молчит чего-т. А Петька, внук, говорит: на вас, грит, на стариков, один, грит, расход — пенсия. А ежли вы все померёте — государству только доход, дык!

Старичок заморгал, шмыгнул носом и заплакал.

— Тьфу, черт старый! Прости, господи! Лучше б я Николаича позвала, у него и рука больше и...

Лукерья скрылась за занавеской и, возвратившись оттуда, бухнула на стол трехлитровую банку самогона. Глаза у старичка в момент высохли.

За долгие годы работы в милиции я знал, что нет ничего более полезного при дознании, чем застолье, и одно время довольно успешно практиковал: приносил на допрос бутылку, закусочку, наливал подследственному стакан, себе рюмку, бегал в соседний магазин, чтоб добавить, бывало, идешь с работы — с ног валишься. Но почему-то перебросили сначала в архив, а потом на отпечатки пальцев.

Отпечатки... Глядя на них, я видел не только дуги и полукружья, я видел судьбу человека, предназначение и цель жизни... Ведь рисунок на пальцах (а в этом я теперь твердо убежден!) не что иное, как номер человека, шифр его судьбы.

Да, многие называли меня поэтом отпечатков, и это была правда! Да, многие называли меня сухим, бесстрастным теоретиком, и это тоже была правда! А жена меня часто называла дураком, но она была не права, потому что я жил не в мире кастрюль, соседок, счетов за квартплату и мнений телекомментаторов!

Вглядываясь в отпечаток указательного пальца какого-нибудь вора-домушника Фильки, я видел страшную замкнутость его судьбы, капкан, в который он попал помимо своей воли, чаяниям родителей и школьному педколлективу. Иногда, глядя на отпечаток, я не мог сдержать слез. Я закрывался в своем кабинетике изнутри на ключ, выключал свет и плакал, закрыв лицо чистым носовым платком, чтоб никто не слышал.

Я знал свое дело, как птицы знают полет, как соловей свою песню, как... Разбуди меня ночью и покажи любой отпечаток, и я скажу безошибочно: что этот человек хотел быть счастливым!

Лукерья накрыла на стол, и Федор со старичком сидели теперь, вытянув шеи. Чем-то они мне напомнили гончих собак, натянувших поводки. Лукерья крепкой рукой набуровила нам по полному стакану, положила каждому на тарелку по сухарю.

— Ну, гости дорогие, — сказала, — кушайте на здоровье!

Василий и Федор подняли стаканы, два донышка усталились на меня, и что-то, какая-то догадка мелькнула, но не успел я ее додумать: два опорожненных стакана уже стукнули об стол, и две довольные ухмыляющиеся рожи жевали уже сухари.

— Вот некоторые говорят, — начал Федор, и вдруг глаза полезли у него из орбит. Он зажмурился и мотнул головой. — Нет, — сказал сам себе, — показалось. Вдруг смотрю в окно, а там, пля... показалось. — Он трясущейся рукой набуровил себе еще стакан, выпил, напряженно вытер рукавом губы.

— Нет, показалось, — повторил, успокаивая себя, — не может быть...

— Что показалось-то?! — не выдержал я.

— Понимаешь, когда я там, пля, в овраге-то...

Он заволновался, налил себе еще стакан, выпил и... заснул. Вот

и работай в таких условиях! Он спал, положив голову на сжатые кулаки. Черт меня дернул, я взял пустой стакан и приложил донышком к пяту на запястье и успел заметить, как испуг вспыхнул в глазах старика. Донышко и пятно не совпали.

— Ну, извиняйте, мене пора! — заторопился дед Василий. — Дык, я это, ежли... потом зайду.

Дверь за ним захлопнулась. Мы остались с Лукерьей одни, она повела плечами и скинула шаль.

Я метнулся в угол.

— Што, не нравлюсь? — спросила она.

— Я в милиции... у нас с этим строго! — выкрикнул я.

— А милосердие? — в упор спросила старуха. Иль вправду Васятка говорит: только ущерб от нас государству?!

Я молчал, зажатый в угол ее взглядом. И тут увидел то, что видел в окно раньше Федор, — темное, большое и два сумасшедше белых, глубоких глаза. Казалось, они смотрят на меня из космоса, из глубин веков, из вечности, но зачем? Зачем они на меня смотрят?!

— А-а-а! — закричал я.

Старуха обернулась и тоже заголосила. Видение за окном метнулось и пропало. Вернее, не пропало, а как-то... потухло.

Сердце у меня колотилось, будто кто молотком там внутри молотил: и гулко, и больно...

Старуха обхватила голову руками, седые космы выбились из-под платка, глядела перед собой потерянно. Наконец поправила волосы, подтянула под подбородком платок.

— Садись, — сказала спокойно, — выпей самогончика-т, не сердчай на меня, старуху. Бес понутал, бес это приходил.

— Как-кой бес?..

— Не говорила я никому, опасалась... а тебе скажу, ты стаканчик-т выпей, не брезговай. Никому не говорила, а тебе-тк расскажу, все одно уж помирать скоро, тык слушай: молодая я была, веселая, а тута — Петька... Петруша, ну, общим, затихалела я, а тятка у мене строгой был, однажды бревно на ногу уронил, тык он стегал его плетью, стегал, покуда бревно не взмолилось: “Пощади! Распили, расколи, в печи сожги, но не измывайся!” Бревно! А я!.. Меня, думаю, точно забьет, ну-тк и пошла я пустобрюх-траву искать...

— К пещере?

— К ей, милай, к ей проклятущей. И только я...

Неожиданно скрипнула дверь, и по ногам потянуло сквозняком. Я почувствовал, что в избе, кроме нас, кто-то еще есть. Я чувствовал как бы дыхание и гнилостный запах.

Лукерья тоже заволновалась, вдруг она схватилась за горло и стала оседать на пол. Душат! Ее душат, понял я, кинулся вперед, получил в грудь мощный удар, будто налетел на стену, и потерял сознание.

Глава третья “Будем живы — не помрем!”

...И вздрогнул от чьего-то прикосновения... тихого, ласкового и какого-то... пьянящего. Была крошечная мгла. Что-то опять дотронулось до моей руки и потянулось к лицу.

“Здравствуй, Витя!” — услышал я дребезжащий голос, как бы состоящий из осколков, голос в целом мне незнакомый, а каждый осколочек я, вроде, уже когда-то слышал.

И тут что-то остро кольнуло меня под локоть, и я услышал более отчетливо:

— Если не поможет, придется ампутировать голову.

“Как?!” — захотелось спросить мне. Я приоткрыл веки и увидел низко склонившееся надо мной лицо в белой шапочке, носатое, глаза сквозь толстые стекла очков смотрели с животной алчностью. “Пирогов! Наш медэксперт”, — сообразил я.

Я пошевелился и застонал.

— Во, гляди, оживает! — изумился кто-то. — Давай, колени ему еще! А что колот-то?

— Сам не знаю, — ответил Пирогов. — Прислали, идиоты, в последней партии все перепутали: в накладной — одно, в наличии — другое, ну а мне за них разбираться некогда, у меня у самого работы навалом! Сейчас подожду немного, если не поможет, вот из этой оранжевой бутылочки вколю. Бабку-то жалко, конечно... это ж получается, он ее задушил... душегуб!

Я сжал веки и испуганно насторожился.

— Свидетели показывают, — теперь я узнал голос — это был майор Орехов, — Федор Плетогонов и Мозгляков В.С., что он и погибшая вдвоем оставались.

Я похолодел.

— Вообще странно, — услышал я опять голос Орехова, — при-

был в чужой одежде... на второй день после убийства Морокова. На мое предложение сопровождать тело ответил немотивированным отказом...

— Что-то он опять посинел, — сказал медэксперт Пирогов, — вколю я ему все-таки из оранжевой бутылочки — лекарство экспортное, мне незнакомое, наверное, сильное, все слабодействующие я знаю, а это... вколю, посмотрим, что будет!

— Чего будет — придется, едренть, арест оформлять... если очнется, а если... что ж, вскрытие покажет!

— Что оно покажет, разве это патологоанатомы?! Ты видел заключение, которое они прислали на Морокова? Они перепутали Морокова с сопровождавшим его сержантом Скворцовым. Работнички!.. А вколю-ка я ему из оранжевой бутылочки!

Где-то в коридоре зазвонил телефон.

— Опять генерал!.. — сказал Орехов. И ушел, осторожно прикрыв дверь.

Пирогов засвистел вальс “Амурские волны“ и звякнул пару раз банками, видимо, подбирал что бы мне еще вколоть. Он стоял спиной. Я давно заметил, что у каждого человека есть своя главная часть тела: у кого-то лоб, и это бросается в глаза, даже если человек курит или стоит на остановке автобуса; у некоторых, особенно, конечно, у женщин — ноги, но не всегда, у женщин может быть — шея, руки, затылок, реже почему-то — грудь...

У Пирогова главным в фигуре была спина: тугая, сутулая, как натянутый лук, и несоразмерно большая настолько, что зад был как бы не сам по себе, а довеском, завершением, как у лица подбородок. Почему я так подробно рассказываю о спине Пирогова, потому что нет никого опаснее в мире, чем люди с такой спиной: они не знают пощады, не ведают сомнения.

Ах, если бы я не работал в милиции, я бы попросил пить, попросил таблетку от боли, рассказал бы поощрительно улыбающемуся Орехову, что одежда у меня чужая — потому что промок, про старуху рассказал бы, даже про самогон... но я знал, что потом, когда я закончу, на лице у Орехова появится нехорошее выражение высокомерного презрения, и он подчеркнута сухо скажет: “Ну что ж, разберемся. А пока вам придется побыть у нас“. И щелкнет за моей спиной замок, и перед носом будет стена, и под потолком, сквозь решетку, кусочек неба...

Пирогов сладострастно нацеживал шприц. Жить мне, воз-

можно, оставалось минуты. Я опустил руку и нашарил что-то тяжелое — это были мои (теперь уже мои!) железнодорожные ботсы. “Если он повернется, я ударю!” — понял я.

Но он не повернулся, я надел ботсы и ушел...

Глава четвертая “Спелеологи”

Руководитель экспедиции спелеологов Борис Николаевич Подковкин был спелеологом по призванию.

Всю жизнь, сколько он себя помнит, он куда-нибудь лазил. Лазил по подвалам, карманам, чердакам. Время послевоенное было жестокое, серьезное было время, есть хотелось, даже когда ел, брюки с одной заплаткой считались почти новыми. Москва, казалось, состояла из одних подворотен, а оттуда — сквозняки, дворники, шпана...

Подвал в Костянском переулке, тусклый свет коммунальной кухни... постоянное желание спрятаться от родителей, учителей, домоуправа, участкового. Жизнь как бы сама готовила будущего спелеолога.

Про Куямскую пещеру он слышал давно, еще во время службы в армии рядовой Разбойников, призывавшийся из Подколюзино, рассказывал; любопытно другое — что нигде в печатных источниках пещера не упоминалась. Может, и Подковкина не занесло бы в Куямы, если бы не одно странное обстоятельство: сначала редко, а потом все чаще стал ему сниться его покойный дед Савелий Прохорович. Не под утро и не с вечера, а где-то среди ночи вдруг явится его фигура, словно выхваченная лучом из мрака, протянет дед руки к нему, просит чего-то.

Ну сначала Подковкин внимания не обращал на сны, думал, переутомился; потом, когда Бога в стране реабилитировать начали, сходил в церковь. Краснел, сопел, пыжился, по сторонам не смотрел — свечку за упокой души поставил на подоконник, не глядя. Вышел, сказал себе мысленно: лучше бы я в самую глубокую пещеру слазил!

Потом дед стал сниться чаще, просил требовательнее, по губам можно было определить — матерится. Борис пошел на кладбище.

Металлический с пошлыми загогулинами крест, давно крашеный серебряной краской, еле видная выцветшая надпись “Подков-

кин Савелий Прохорович...“ Положил Борис на холмик букетик, повздыхал...

В эту ночь дед приснился сразу, грозил кулаками, стучал себе по лбу, плевался.

Борис Николаевич пошел утром к психотерапевту в медицинский кооператив “Мозги“. Врач с нарочитой и оттого оскорбляющей вдумчивостью выслушал его и выписал лекарства на месяц вперед. Подковкин купил и выпил сразу все, а когда заснул, дед появился тут же и членораздельно произнес: “Ты что, балбес, совсем охренел?!“

“Ну что?! Что я должен делать?!“ — заорал Борис Николаевич.

“Слушай себя внимательнее, — был ответ. — Повинуйся себе!“

Утром Б.Н.Подковкин почувствовал, что ему хочется убежать из дома. Так он оказался в Куямах.

Конечно, этому предшествовали сборы, уточнялся состав экспедиции: Моментов В.С., Татьяна Говорушко, Назым Сюгдеев — лучший боковой (член экспедиции, который стоит сбоку и никому не мешает), Елена Максимовна Фиктюль — дама, под взглядом которой хочется сквозь землю провалиться (незаменима при спуске в незнакомую пещеру), ну и Олег Григорьевич Светлозаров — старик, мудрец, учитель, учивший, что от судьбы никуда не уйдешь, семь раз не умирать, а одного не миновать, сам охотно учившийся у молодых читать, писать.

Экспедиция тронулась с Ярославского вокзала пешком. Потому что не было билетов, а ждать не хотелось.

Шли рядом с железной дорогой, слева пылил автотранспорт, справа грохотали поезда, обстановка была боевая. На первом привале в Мытищах Подковкин спал без сновидений, без подушки, без задних ног.

Утром догадались сесть на электричку. Когда ехали мимо Загорска и слева за окном появились кресты и купола, все восприняли это как добрый знак, как благословение на добрые дела.

Старичок Светлозаров даже украдкой перекрестился, сделав вид, что сморкается. Атеист-магометанин Назым Сюгдеев подумал, что купола напоминают девичьи груди и это, видимо, не случайность, что в этом есть глубокий, символический смысл. И даже Фиктюль подумала, что теперь им должна сопутствовать удача, потому что за окном было красиво.

До Александрова доехали легко и быстро. А там Моментов договорился с машинистом. Обещал ему смонтировать прямо в кабине самогонный аппарат, отдал из аптечки часть спирта, рассказал анекдот про съезд депутатов.

До Перми промахнулись меньше, чем за сутки, после Кирова, правда, плутали на запасных путях, но потом опохмелились... Все время пути Моментов монтировал самогонный аппарат: штука была не в том, чтобы сделать — это он враз соорудил из старого титана и колючей проволоки, что подобрал еще в Александрове, задача заключалась в том, чтобы аппарат выдавал жидкость, не имеющую запаха, чтобы пьющий, даже если с ног падает, мог сказать: “Не пил!”

В Подколюзино прибыли глубокой ночью. Машинист (Харитонов его фамилия) хотел ехать прямо в Куямы, ему долго объясняли, что это близко, но рельсов туда пока не проложили и, вероятно, теперь уже не проложат. Он слушал, обливался горячими слезами, кричал: “Уважаю! Наливай! — кричал. — Сам пешком пойду, вас на руках понесу! Где, — кричал, — Валерка Моментов, он мне теперь лучший друг! Почему он спит в тамбуре, а не у меня под ногами, он м-ме обижаить!..”

Загнали электричку на запасной путь, где еще с восемнадцатого года ремонтировался бронепоезд “Беспощадный”. Семь раз переходил бронепоезд из рук в руки: белые, красные... Во время войны отремонтированный, но без снарядов был отправлен на фронт, там, чтобы не достался врагу, был взорван... Сейчас опять ремонтировался: кооператив “Восход” предполагал разместить в нем видеосалон.

Распрощались со Степой Харитоновым, обменялись адресами. Степа кричал: “Меня теперь, наверное, посодют, потому пишете: МВД, до востребованья!” Мужики, которые ремонтировали бронепоезд, говорили: “Если посодют, нашим привет передавай”. Моментов кричал: “Степа! Друг! Я не успел тебе доделать насчет запаха, но это пустяки, главное, по-человечески друг к другу относиться! Дай, я тебя поцелую!” — кричал и лез целоваться к Тане Говорушко, которая ловко увертывалась и сверкала глазами в сторону Подковкина. Назым Сюгдеев сопел, кряхтел, сжимал кулаки. Елена Максимовна делала вид, что ничего не замечает, кроме прелести летней ночи, пока Моментов не упал на нее. Тогда только Подковкин scomандовал: “В путь, друзья!”, он не сердился на Валерку, понимал, что парень страдает за всех, за общее дело!

Пошли. Звезды в небе светили хладнокровно, ясно и еще как-то настойчиво, словно призывали именно по ним высчитывать свой земной путь. До леса добрались без препятствий, на поляне поставили палатку. То ли оттого, что ставили в темноте, то ли еще отчего палатка два раза падала, и каждый раз под ней находили спящего Моментова.

Костер долго не разводился, дрова шипели и гасли. Назым Сюгдеев взялся наломать сухих еловых веток, уколол палец, но кровь не выступила. Сюгдеев почувствовал на миг, что кровь словно хочет спрятаться в нем поглубже. Однако, когда за костер взялась Татьяна Говорушко, огонь разгорелся шустро, тянул к ней языки пламени, словно руки...

Ночь провели в напряжении. Всем казалось, что кто-то за ними наблюдает, переглядывались, нарочито громко смеялись, отчего становилось еще страшнее. И еще: сколько ни подкладывали дров — вода в котелке не кипела.

Утром измотанные, уставшие двинулись к пещере. Солнце осторожно всходило сзади, роса на зелени была, как чьи-то слезы...

Подковкин шел первым, азарт покалывал кожу, гулко бухало сердце. Следом шла Татьяна Говорушко, даже после бессонной ночи, даже в резиновых сапогах и в брезентовых мужичьих портках она выглядела грациозной и женственной! Шла, как лань. За ней тащился Моментов, с похмелья метал головой и всхрапывал, как конь. За ним семенил старичок Светлозаров, потом Елена Максимова... Замыкающим шел Назым Сюгдеев — по-восточному невозмутимый, по-спортивному подтянутый, по матерному вполголоса выражающийся, потому что Фиктюль не придерживала веток, и они наотмашь лупили Назыма по лицу.

Пещеру увидели издалека. Зев ее был, как широко открытый рот. Холодом тянуло оттуда, сыростью...

По команде Подковкина заняли свои места: боковой Сюгдеев встал сбоку, Моментов приготовил аварийно-спасательный запас слов, Е.М. Фиктюль ждала приказа, на кого ей смотреть.

Подковкин скомандовал смотреть на него и... первым шагнул в пещеру.

Прошла минута... или час (время тянулось очень медленно), из пещеры не доносилось ни звука. Фиктюль перевела взгляд на Моментова, тот дернулся было в сторону, но тут же поник головой и зосел в зев. Фонарик дрожал в руке Моментова. Странно, но пеще-

ра не была темной, а была серой, как бывает рассветное утро пасмурного дня.

У Моментова вдруг погас фонарик и расстегнулся ремень на брюках — факты никак не объяснимые. Он прошел вперед — Подковкина нигде не было. Моментов почувствовал необъяснимый страх, сделал еще несколько шагов и вскрикнул — на стене светились отпечатки огромных пальцев, они светились тихим фосфоресцирующим светом и... перемещались, будто кто ощупывал с той стороны (откуда?!) стену кончиками пальцев.

* * *

Экспедиция Подковкина без Подковкина сидела у костра.

Моментов пил и рассказывал:

— Только я вошел, сразу почувствовал, кто-то наблюдает за мной!..

— Кто?! — спросил кто-то, но Моментов на это лишь усмехнулся: презрительно, высокомерно, обидчиво и протянул стакан.

Татьяна Говорушко с готовностью плеснула ему водки.

— Но это не остановило меня, — продолжал Моментов. — Меня вообще трудно остановить, когда я чувствую опасность, — заметил он, — и я пошел дальше.

Все застыли в напряжении, было слышно, как потрескивают сучья в костре и кричит где-то в лесу птица.

— Я прошел километра два, — сообщил Моментов после некоторого молчания. Он хотел сказать “метра два“, но у Танюши Говорушко так взволнованно вздымалась грудь, что сказать правду, значило бы оскорбить женщину. — И обнаружил на стене гигантские...

— Настенные рисунки... — подсказал кто-то.

— Да, настенные рисунки... выполненные в форме отпечатков пальцев в масштабе... — Моментов посмотрел на свои пальцы — они дрожали, — один к... кулаку.

Фиктюль слушала недоверчиво. Она всегда волновалась, когда не знала: врет человек или нет? Историк по образованию — она иногда не верила даже себе. Услышав про два километра, поняла — врет, и успокоилась.

— Подозрительного ничего не заметил? — спросил старичок Светлозаров и на всякий случай отодвинулся.

— Все было подозрительно, — сразу сказал Моментов. — Но это меня не остановило. Я ждал, что вот сейчас догоню Подковкина, я ускорял шаги...

Фиктюль опять заволновалась: а вдруг не врет?

— И тут!.. — Моментов протянул стакан, Танюша быстро наполнила его. — Я увидел...

Моментов выпил, пил долго, судорожными глотками, все ждали и смотрели, как двигается у него кадык.

— Я увидел его... У-бр-р! — Моментов мотнул головой и с шумом понюхал кусок колбасы. — Громадный, лохматый, глаза горят...

— Ой! — Танюша прижала бутылку к груди. — А Борис Никола?..

— ...Глаза горят, а все тело покрыто...

— Снежный человек... что ли? — сказала Фиктюль.

Моментову показалось, что в ее словах проскользнула обыденность, и он поспешно сказал:

— Нет! А все тело покрыто... светящимися волосами.

— Ой! — Танюша зажмурилась, а потом украдкой взглянула на свои волосы.

“Врет! — поняла Фиктюль. — Где научная доказательность: факты, аргументы? Вечно Подковкин наберет в экспедицию профанов, дилетантов, алкоголиков!”

Светлозаров — наоборот, охотно верил всему услышанному. Он прожил непростую жизнь и всегда верил в то, что завтра будет еще хуже. Странно, но ему было страшно и радостно одновременно. Какая-то животная глубинная радость поднималась в нем, просыпалась в каждой клеточке тела: в пальцах ног, что прели в портянках, в кончиках ушей, в затылке, странно, но все тело радовалось возможной гибели, как освобождению.

Назым Сюдеев сидел поодаль на пенечке, поблескивал глазами, слушал внимательно, жевал травинку.

Однако как пылает лицо Танюши Говорушко, устремленное на рассказчика, как стрункой вытянулась спина, а бедра... “Вот бедра, — думал Сюдеев, жуя травинку, — в одном и том же положении у женщин — разные, сидит ли она на совещании, за швейной машинкой, в театре сидит ли в кресле, на стуле в очереди к зубному врачу — вроде бы, сидит одинаково, а всегда по-разному, и разность эта зависит не от того, где сидит женщина, а с кем она сидит рядом!”

Назым вздохнул, сплюнул травинку и сказал:

— И что же ты: испугался и убежал?

Моментов повернул к нему голову, и уже в повороте головы, во взгляде был заключен ответ, и был он отнюдь не двусмыслен.

Моментов протянул стакан. Танюша откинула пустую бутылку и торопливо стала открывать новую. Моментов ждал, ждали и все остальные. Наконец Таня скovyрнула пробку, набулькала пол-стакана. Но Моментов пить не стал, показал, что не этого ждал он, а — доверия. И сказал, перекладывая стакан из правой руки в левую:

— Я бросился вперед. Как зверь!.. — спохватился, что может оскорбить слух Танюши и поправился: — Как гордый .. зверь. Может быть, я действовал опрометчиво, но я действовал бесстрашно! Я — ударил его!..

— Куда? — выдохнула Таня.

— Вы его ударили в лицо? — уточнила Фиктюль.

— В харю, — ответил Моментов и посмотрел на свой кулак.

И все посмотрели тоже.

И тут все увидели, что кулак у Моментова засветился зеленоватым фосфоресцирующим светом. А из стакана с водкой ударил в небо луч света.

— А-а-а-а! — завопил рассказчик.

И тут все услышали дикий хохот, раздавшийся в лесу. И хоть сидели все у костра кругом, каждый слышал его за своей спиной.

Было это за два дня до моего приезда и за день до гибели Морокова...

Глава пятая “Загадкам нет конца”

Многое теперь становилось непонятным. Я сидел в овраге и рассуждал. Во-первых, рассуждал я, хорошо, что лето, а то в овраге-то не посидишь! Во-вторых, мне со всей очевидностью становилось ясно, что вчера по дороге в Куямы хотели сбить не меня, а того человека, чью одежду я так неосмотрительно надел на станции. “Уж не нарочно ли дежурный подsunул ее мне? Однако какие жесткие бывают люди! Первого встречного человека готовы обречь на смерть во имя...” А вот во имя чего — непонятно.

Думать про смерть капитана Морокова и про гибель бабки Лукерьи было невыносимо, поэтому я старался не думать.

Щебетала птичья мелочь, солнце вползало на небосклон. Надо было и мне что-то делать. Я встал, оправил на себе чужую железно-дорожную одежду, сунул руку в карман куртки и обнаружил бумажку. Не придавая особого значения, скорее по профессиональной привычке, я развернул ее и — насторожился. Это был план каких-то подземных ходов и помещений. Почувствовав необъяснимое волнение, я перевернул бумажку. На обороте было написано простым карандашом еле заметно: “Землемер Скоморохов”. Ниже стоял бледно-лиловый штамп “Подклюдзинское железнодорожное отделение ОГПУ”. И еще ниже старыми фиолетовыми чернилами: “Вещ. док. № 127 к делу Скомороховой-Генц П.Л., л-т Открепилов, 5.X.39 г.”

Гром грянул в небе, и по листве замолотил крупный дождь. Я поспешил спрятаться под деревом, но листва скоро намокла, я перебежал под кусты, потом под ель, уже оттуда углядел что-то вроде пещеры и вбежал туда.

Ржавые рельсы уходили в темноту штольни. У входа сквозь камни и полусгнившие шпалы пробивалась трава. Чувствовалось, что здесь давно не бывали люди.

Я решил пройти вглубь насколько возможно, сделал несколько шагов, и тихий ужас объял меня — из глубины навстречу мне выходила фигура человека. Она двигалась медленно, неуверенно и неуклонно. Вот стало видно лицо — бледное, глаза широко открыты и, кажется, ничего не видят. Волосы взлохмачены... Я попытался, и тут сзади кто-то схватил и больно вывернул мне руки. Я вскрикнул и потерял сознание.

* * *

“Вот и опять Витенька наш пришел!..” — услышал я и опять увидел, вернее, почувствовал всем телом темноту. Темную темноту, добрую, мягкую и бездонную, как... космос.

“Витюша... маленький наш...” — голос зазвенел радостью, раздробился, стих и... и что-то больно пнуло меня в бок. И я услышал: “Хотел обмануть, едренть, скрыться... Забыл, что у меня нюх собачий, потому что всю жизнь жил, как собака...” Голос бесспорно принадлежал майору Орехову.

Я открыл глаза, да, это был он. Рядом стояли медэксперт Пиров, председатель Куямского сельсовета Филиппов и бухгалтер Степанов. Каждый из них глядел на меня по-особенному: во взгляде

бухгалтера была жалость — он жалел, что меня так скоро поймали, и теперь больше ничего интересного не будет. Председатель Филиппов А.Е. смотрел задумчиво, вспоминал, как сам, бывало, вот так же валялся на земле, но потом нашел в себе силы, завязал, с тех пор не берет в рот ни капли, и вот уже третий год председателем... Очи Орехова смотрели холодно и жестко, как пустые стекла очков.

— Указ от 6.13 читали? — спросил он.

По этому Указу работникам милиции запрещалось самовольно уходить из населенного пункта, не согласовав свои действия с вышестоящим руководством. По Указу предусматривалось: смертная казнь или штраф до 50 рублей.

“Однако дело дрянь!” — понял я.

— Отвечайте на вопросы: зачем вы пошли к старухе Лукерье?

— Переночевать... — проговорил я, соображая что же мне теперь делать.

— Кто вам дал адрес?

— Так ведь это...

— От-твечать!

— Вы не имеете права!

— Я не имею?!

Он размахнулся и шлепнул комара на своей щеке. Там осталось кровавое пятно.

Я закрыл глаза. “Будь что будет!” — решил я. — Буду молчать“.

Но тут же не выдержал и закричал:

— Я здесь выполняю задание! У меня командировка!

Он размахнулся и шлепнул себя по второй щеке. Комар улетел.

Это окончательно вывело Орехова из равновесия.

— Что вы делали в заброшенной штольне?!

— Я от дождя хотел спрятаться, от грозы!..

— От грозы! — майор размахнулся и шлепнул себя по шее, фуражка съехала на нос, он поправил ее. — От грозы!.. А это кто?!

И тут только я увидел связанного по рукам и ногам лежащего рядом человека. Сквозь белизну лица и напряжение мускулов проступали знакомые черты — это был человек, выходявший мне навстречу! Глаза его выражали свершившуюся какую-то внутреннюю трагедию, они были в прошлом, как пепел. И еще, я бы сказал, они выражали какую-то великую катастрофическую предрешенность...

Впрочем, одет он был обыкновенно: телогрейка, резиновые сапоги... рубашка на груди порвана.

Я потянулся к нему, чтобы спросить.

— Лежать! — скомандовал Орехов и опустил руку на кобуру.

— Кто вы? — прошептал я незнакомцу. — Куда ведут рельсы?

Незнакомец будто очнулся и произнес:

— А, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н...

— Прекратить разговоры! — крикнул Орехов.

Бухгалтер Степанов прихлопнул себе рот, хоть и не собирался ничего говорить. Эксперт Пирогов удивленно приподнял бровь, председатель Филиппов отступил назад.

Первым гудение в рельсах почувствовал я. Звук шел издалека. Он был какой-то вытягивающе душу длинный и жуткий даже в своей негромкости.

Незнакомец заплакал. Беспомощно, обреченно.

— Развяжите его, — попросил я.

В моей просьбе была тревога, она передалась остальным.

Человека развязали, но он остался лежать, прижимаясь щекой к ржавой щеченке.

Я встал. Здесь звук был слышен тише, зато ветром из глубины тянуло сильнее.

И вот — нет, не может быть! — в конце тоннеля, который вдруг стал длинный-длинный, показался свет. Он нарастал. Нарастал и ясно обозначился звук: он походил одновременно и на рев самолета и на стук колес.

— А-а-а!.. — завопил А.Е. Филиппов и остался на месте.

Гул стал громче. Пылью ударило в лица.

Орехов дергал, расстегивал кобуру. Свет на секунду пропал и вынырнул с новой силой. Гул перешел в грохот и... смех.

Глаза у Степанова полезли на лоб и пропали под шляпой.

Медэксперт (кто бы мог подумать?!) поднял камень и замахнулся. При этом очки упали у него с толстого носа, но он не нагнулся за ними, близорукий, безумный взгляд был устремлен вперед.

Что-то неизвестное и страшное неслось на нас.

Степанов натянул шляпу поглубже, и она оказалась на плечах. Медэксперт кинул камень, и он... повис и остался висеть в воздухе.

Орехов наконец выхватил пистолет. Рука тряслась, и он мог убить кого-нибудь из нас. Жахнул выстрел, но... пуля тоже повисла в воздухе, она трепыхалась у меня перед глазами, маленькая, жалкая.

— Бежим! — заорал я.

И все, словно только и ждали команды, бросились прочь.

Я бежал. Ноги неслись, словно хотели обогнать тело. А сзади что-то ломилось, догоняло, обдавало спину жаром дыхания. Я нарочно метил в заросли, кустарники, ельник колючий. Морда была вся исхлестана, исцарапана, но я убегал, я не оборачивался, я чувствовал, что ухожу от погони, отрываюсь, что расстояние между нами удлиняется. Еще, еще!.. Я прыгнул в болото и спрятался за кочкой.

На берегу полыхнул огонь, взвизгнуло, будто тормоза, и грохот и треск помчались обратно.

Я вздохнул. Крупно и очень отчетливо увидел на кочке каждую травинку (вот так же видят, наверное, предметы художники!). “Как прекрасна жизнь! — подумал. — И как мы ее портим!”

И почувствовал, что кто-то схватил меня за ноги. За щиколотки, будто клещами, и потянул вниз, вот болотная жижа уже на уровне рта, я вытягивал шею, сжимал губы. Я вцепился в кочку, но меня неумолимо тянуло вниз, я зажмурился и почувствовал, что голова погрузилась в воду, и вода... сомкнулась над ней. Я уже попрощался с жизнью, как что-то с силой вытолкнуло меня, и я оказался сидящим верхом на кочке, как на коне. А на берегу, откуда я прибежал, дико захохотал кто-то, так захохотал, что в жилах стыла кровь, и самому хотелось уже с головой нырнуть в болотную топь.

— А-а-а-а!.. — заорал я. Поджал ноги, липкие сырые брюки задрались, и я увидел на щиколотках у себя лиловые свежие отпечатки чудовищных пальцев!

А на берегу хохотал кто-то, задыхался, булькал, давился смехом. Потом ушел.

Глава шестая “Береженого Бог бережет, а черт стережет!”

Утром того дня жители села Куямы с удивлением обнаружили у сельсовета оборванных перепуганных спелеологов. Они жались к зданию с красным флагом на крыше. Они как бы здесь искали защиты у власти.

Хотя какая защита, разве, что Филиппов, председатель, придет к обеду, спросит: “Вы чего тут... расселись?..”

Вынесло их из леса ветром страха, так что просека осталась. Деревья многолетние повалены были, а у Моментова на лбу только одна шишка, да у Танюши Говорушко юбка порвана (может, потому и шишка у Моментова?). Вынесло их из леса, а куда дальше?

Дождались, когда председатель пришел, зашептали ему горячо

в уши. Но чуткий нос Филиппова уловил запах перегара. Улыбался председатель, не верил. Сам рассказал анекдот: “Жена возвращается из командировки... то есть, муж... Ну, в общем...” Он запутался, но хохотал здорово. Спелеологи вздрагивали, таращили на председателя глаза. Попросили воспользоваться телефоном.

— А что... З-звоните, мне не жалко! Ох-хо-хо!..

Конечно, не так прост был Филиппов и тоже много был наслышан о поганой пещере. Но поймите и вы его правильно: он, когда был в белой горячке, где только не побывал: в пищеводе кита-рыбы был? Был. Это, когда они справляли день рождения Дерюгина: начали, когда тому 38 исполнилось, а закончили, когда уже 43 стукнуло. Как годы пролетели — никто не заметил. Вот тогда-то Филиппов и попал в пищевод кита-рыбы. Ну что там его особенно поразило: тепло, температура всегда постоянная. Надо было только от пищи вовремя уворачиваться. Ночью можно спать, а утром уворачивайся, не увернешься — пеняй на себя. Одно и спасло, что у кита-рыбы случилось однажды несварение... С траулера скинули протухший улов — сдавать некому было. Дали радиogramму: кому сдавать? А им ответили: некому, все в очередях стоят, ждуг, когда свежую рыбу привезут! Ну, некому и некому, скинули в океан, а рыба-кит на халяву, на дармовщину и обожралась! Не любил вспоминать об этом Филиппов.

Куда как лучше, когда в Бразилии был. Волной. Набегал на солнечный пляж, ласкал девушек, играл с детьми. Мужиков не любил, фыркали они в воду, чего-то очень многие бразильцы, когда плывут, любят фыркать в воду. Наш там один, третий советник посольства, купался — не фыркал, правда, он далеко не заплывал, боялся провокации.

Волной-то хорошо было! Работа не пыльная, постоянная, однако, когда океану что не по нутру, когда он взбунтуется, тут и своим достается!

Про океан Филиппов любил вспоминать, потому что — мощь! Сила! Власть! Сколько кораблей угробили, но об этом еще не время, гласность гласностью, а лучше помалкивать!

— Обнаружены отпечатки! — кричала в трубку Фиктюль. — От-пе... Да не “от печки”, а от-пе-чат-ки!..

Лампочкой был еще Филиппов. Когда они однажды утром опохмелились, а потом сразу добавили, а потом еще и еще!.. Лампочкой стал. У склада готовой продукции в городе Чусовом висел. Чего

только не посмотрелся! Как свои же! из этого склада тащили! Висит, светит им, подлецам. Крикнуть не может. Сам виноват: если бы не добавлять...

— Передаю по буквам! — кричала Фиктюль. — Ольга... Тамара... Какое еще отчество?! Тамара... Петровна!.. То есть, Петр!.. Егор... Че... Чи... Чарльз! При чем тут — иностранец?!

Все терпеливо ждали, когда она договорится.

И тут случилось невероятное: старичок Светлозаров мелким бесом подпрыгнул к Елене Максимовне Фиктюль, цепко схватил ее сзади за талию и застыл, впитывая наслаждение.

Елена Максимовна отстранила трубку, стояла, задохнувшись от негодования, не знала что делать.

Ошеломленные застыли Назым Сюгдеев и Таня Говорушко. Моментов пытался что-то сообразить, но его обожженный алкоголем и ударенный обо что-то мозг не в силах был постичь происходящее. А председатель Филиппов смотрел с удовлетворением, с усмешкой: “Спелеологи!.. Интеллигенты!.. Видали мы таких спелеологов!”

Это правда: один раз в белой горячке ему довелось побывать в стране терпимости, да, да — не в доме, а — в стране! Это произвело на него ошеломляющий эффект! Он, может, потому и пить бросил.

— Что?! Что вы делаете?! — вопрошала Фиктюль.

Из трубки доносилось: “Из какой страны иностранец?! Ответьте: кто такая Тамара Петровна Егорова?.. Они в интимной связи?..”

Светлозаров стянул-таки в это время с Фиктюль штаны и снимал трусики.

Окружающие смотрели со все большим любопытством.

Рубашка прикрывала ягодицы Фиктюль, ноги у нее оказались на удивление привлекательными, и Филиппов заелозил на стуле. А Назым с Моментовым, не сговариваясь, взглянули на Таню Говорушко.

И тут Елена Максимовна взвизгнула и шарахнула трубкой старикашку по голове. Он брыкнулся на пол, и... все это видели — откуда-то изнутри (из-за пазухи, что ли?!) выскочил из него маленький чертик, соорудил гримасу и сиганул в окно. А старичок, лежа навзничь, прошептал: “Ох, больно!”

Фиктюль поспешно натягивала трусики, штаны. Все остальные, пораженные, молчали.

И тут Филиппов А.Е. произнес задумчиво: “Значит, и тогда все было правда... Значит, если пьешь — ближе к истине; если напишься, как скотина, — ближе к природе, если разлагаешься, то переходишь в мир иной, значит, он — существует!..”

Эх, еще бы полдня, додумал бы свою неожиданную мысль Филиппов, но только из Куям ушли спелеологи, приполз Мороков...

Глава седьмая “Два глаза”

Капитан Мороков прибыл в Куямы, на первый взгляд, по весьма незначительному поводу — Филиппов сигнализировал в Управление, что передачи по телевизору стали в Куямах неинтересные, вот Мороков и приехал разбираться. Было подозрение, что это кто-то воздействует через спутник. Много негативного шло из эфира, разлагающего.

Молодежь на этих материалах училась, как не надо работать, и главное — получала оправдание своим безобразиям.

Короче, приехал Мороков, думал навести порядок, а оно вон как обернулось. Убили.

Жаль Морокова! Жаль его молодой жизни, неосуществленных идей и планов. Нет, не за чинами и наградами пошел он в милицию, а чтобы люди были счастливы! Он понимал жизнь просто: он считал, что хорошие люди должны жить хорошо, а плохие — плохо. И делал для этого все, даже лишнее.

Эх, Паша, Паша! (Его Пашей звали. Отец назвал в честь себя.) Прощай, сокол! (Его мама в детстве птичкой звала.) И черт тебя дернул залететь в Куямы. В это треклятое место. Прощай...

Пришел ты в Куямы с чистыми намерениями, остановился у старика Мозглякова, поужинал, лег спать, а в полночь проснулся от непонятного тонкого свиста. Свист доносился откуда-то рядом. Павел огляделся — свист исходил из носа старика Мозглякова. Но капитан ложиться уже не стал, оделся и вышел на крыльцо.

Над крышами куямцев торчали телевизионные антенны, как кресты на кладбище. Луна в небе висела наглая, сытая. После того, как по ней ходили космонавты, да к тому же американские, Мороков ее не любил. Вообще, не любил он ночь, ему казалось, что ночью природа не отдыхает, а притаилась.

У соседа забрехала собака, капитан кинул ей бутерброд, вероятно, попал, она взвизгнула, но тут же заткнулась.

В доме у председателя сельсовета Филиппова светилось окно. Мороков подкрался, заглянул. Супруги лежали в постели, председательша большими тоскливыми глазами глядела в потолок, а председатель читал "Огонек".

Большие белые руки председательши, закинутые за голову, еще некоторое время преследовали капитана и не давали сосредоточиться. Не довелось Морокову жениться, не было в его жизни любви светлой, теплой. Спал на боку калачиком на своей холостяцкой койке. И не плоть женская взволновала капитана, а та женская доброта и ласка, которые были ненужными и которых так не хватало ему в жизни.

В доме у бухгалтера Степанова играла музыка, и сюда заглянул Мороков в окно, но ничего не увидел, кроме кукиша, вышитого крестиком на занавеске. Ну что ж, к оскорблениям он привык, лицо только каменело у капитана и копилась, копилась в душе обида и ненависть.

Около сельмага шмыгали какие-то тени. Капитан кашлянул, тени замерли и метнулись в стороны. "Профилактика — великое дело!" — усмехнулся Мороков и пошел дальше. Остановился у церкви, с болью подумал, что разрушенное состояние старого храма показывает состояние духа народа, как термометр у больного под мышкой. стыдно сделалось капитану, он наклонил голову и хотел быстро пройти мимо, и вдруг услышал тихий, ехидный смешок. Мороков обернулся и застыл — из темного проема выломанных дверей на него светили два глаза: без зрачков, круглые, лунные какие-то... Мигнув, погасли.

Капитан милиции помедлил и вошел в пустую, заброшенную церковь. Расстегнув кобуру, огляделся: сырость, темнота, наверху в проломе купола лунное небо, и на его фоне черный куст, как когтистая лапа...

— Ха-ха-ха!.. — послышался смех сзади. Мороков обернулся. Дверной проем заслонила какая-то большая страшная тень.

Капитан достал пистолет и держал его наготове.

Вдруг яркий свет залил все церковное помещение, резко, как во время молнии, и капитан увидел сотни, тысячи людей (как уж они там помещались!), теснящихся перед ним: бородатые мужики с обнаженными головами, бабы в платках, старики, старухи, пацанва, все они тянули к нему руки и немо просили: "Спаси!.."

Свет погас, и вновь глянули глаза. Мороков не знал, что делать,

инстинктивно ждал еще одной вспышки. И она последовала, но теперь высветила беснующуюся толпу: оскаленные, озверевшие лица, раскрытые рты, немо посылающие проклятия, тянущиеся к нему руки, готовые схватить, разорвать.

Жутко стало Паше Морокову. А когда вспышка случилась в третий раз, мороз прошел по коже: люди рвали друг друга... И вот тут капитан милиции не выдержал и кинулся вперед. Но свет погас, а на него навалилось что-то вязко-тяжелое.

— Уйди! — заорал он. — Стрелять буду!

По инструкции нужно было сделать предупредительный выстрел вверх и трижды сказать: “Вы поступаете нехорошо, товарищи!“, но где что, разобрать он уже не мог.

Мороков нажал на курок, пистолет жалобно хлопнул, и пуля выпала из него. Капитан нажал еще, звук получился: “П-пых!“, как из чайника, и пуля, вторая уже, капнула вниз.

Тогда Мороков схватил пистолет за ствол и стал лупить им во все стороны. И лупил он так до тех пор, пока не потерял сознание...

Я ничего этого, конечно, не знал и решил начать расследование.

Глава восьмая “Следы оставляет только тот, кто идет“

Станция Подколюзино была построена инженером-путейцем Н.П.Симбирцевым в 1913 году по проекту швейной машинки “Зингер“. Другого проекта не было, а ждать — время терять.

Подрядчик Филифитьев — известный в губернии пройдоха и плут, должен был выложить стены из кирпича обыкновенного, а облицевать гранитом черемесским, добываемым в единственном на земле месте — кишлаке Черемес (это по Закавказской железной дороге, а дальше на верблюдах или пешком 2 тыс. верст).

Филифитьев и здесь вздумал нажиться: и вместо черемесского гранита использовать местный куямский самород.

По прочности самород не уступал граниту (пока по нему не били кувалдой), а вот по цвету разнился. Черемесский гранит, как глаза восточных красавиц: карий, с темной глубиной, с внезапной искрой и поволокой. А самород куямский — белый, синюшный, как гусиное яйцо. И мелкий.

Но, как поговаривали старики: в самой пещере самород обязательно должен быть крупный и черный, как обугленный, только кто ж решится жизнью своей рисковать?

Но Филифитьев рисковать и не собирался, а задумал он прорубиться в холм с другой стороны, из оврага. Вот что писала “Губернская вежа” в уголовной хронике: “Наняв беглого каторжника Белозубого, г. Филифитьев Г.Ф. снарядил под его началом артель землякопов. Работы по пробивке штольни начались 27 апреля, а уже 29-го рабочих поразила неведомая ранее в этих краях болезнь, которая выражалась в безудержном смехе, охватившем несчастных землякопов. Ваш корр., прибыв на место, застал странную и одновременно жуткую картину: двое рабочих — Петр Слободкин и Иван Горшков — были уже мертвы, а остальные четверо катались по земле, корчась от смеха и повторяя: “Ой, больше не могу!”

Отсутствовал только Белозубый, на которого и пало подозрение в отравлении товарищей неизвестным веществом.

Профессор Вигде П.С. так прокомментировал это событие:

“От этих каторжных чего угодно ожидать можно! А уж наши подрядчики! Нет, видно, никогда не будет на Руси порядка!” После чего профессор удалился в лабораторию продолжать работы по изобретению гипербомбы, способной поразить врага на другом конце земного шара, даже если взорвать ее у себя.

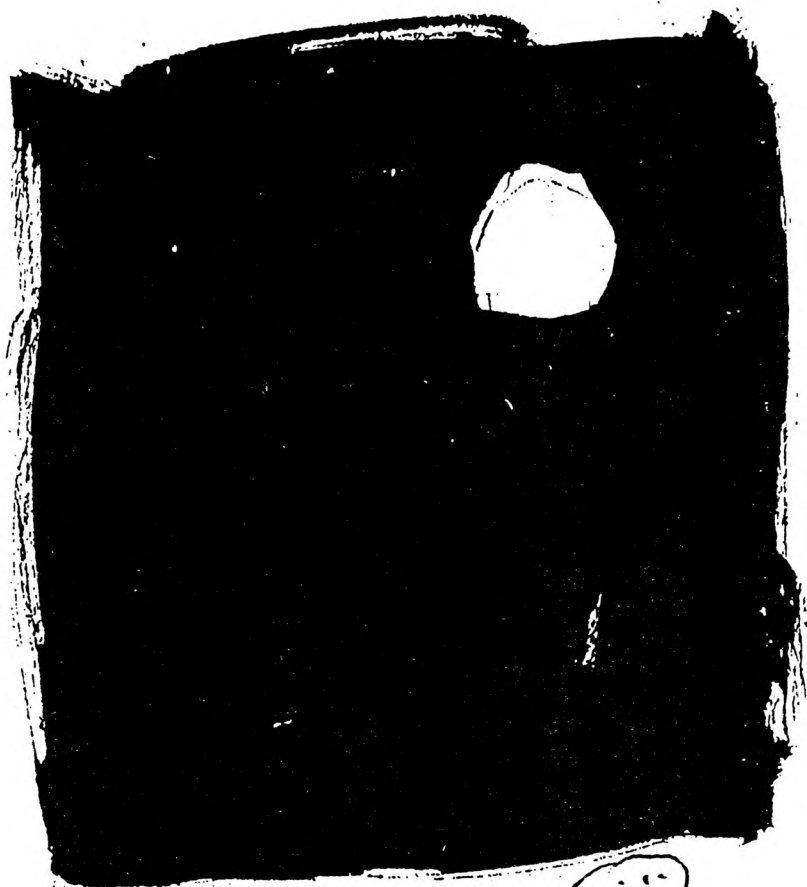
Судебное дело по обвинению подрядчика Г.Ф. Филифитьева будет слушаться в суде на будущей неделе, но, как предполагает его адвокат Г.Г.Зануда, прокурор не найдет достаточно улик, и присяжные оправдают подсудимого, так как строительство ж/д станции в Подколюзино желательно для многих жителей губернии независимо от сословия и агрессивности характера. Ал. Пиписов“.

Филифитьева оправдали, больных отправили в сумасшедший дом, где они быстро сошли с ума, станцию построили деревянную, а вот след беглого каторжника Белозубого затерялся.

Шли годы, и когда в Подколюзино прибыл новый начальник районного отдела ГПУ, лишь одна Лукерья узнала в нем бывшего артельщика, сбжавшего много лет назад, так и не сдержав своего обещания жениться.

А станция Подколюзино, построенная по проекту швейной машинки “Зингер“, стояла себе и стояла, никого не удивляя. Много чего в те времена строили в России по чужим проектам. В конце концов вон даже целое государство построили, чему ж тут удивляться?!

Грянули с тех пор революции, войны, бедствия, и забыли люди о куйамском самороде, о Филифитьеве, о Белозубом.





Однако жизнь в последнее время была ко мне немилостива.

Опять мокрый, опять голодный брел я по лесу.

В школе милиции нас учили: если хочешь согреться — разозлись, если хочешь есть — вспомни что-нибудь гадкое. Я вспомнил майора Орехова и не заметил, как пошел быстрее.

Парадокс: казалось бы, мы с ним делали общее дело, а я Орехова терпеть не мог. Когда на торжественных собраниях в Управлении он со сладкой улыбкой поднимался на трибуну и решительно читал с бумажки то, что накануне было согласовано с замполитом, мне от стыда хотелось выскользнуть из милицейской формы.

Уходил к себе в кабинет, погружался в работу. Рассматривал отпечатки, классифицировал. И все больше и больше убеждался, что рисунок отпечатка — это закодированное что-то, поэтому и не повторяется.

Я сел на пенек, задрал брюки и всмотрелся в лиловые отпечатки. Они были как клейма. Что-то знакомое показалось мне в них. Я всмотрелся пристальнее и чуть не упал с пенька — на правой ноге рисунок отпечатка был рисунком моего большого пальца правой руки! А на левой — левого. Сколько раз я глядел на них, сравнивая с отпечатками преступников и пытаюсь постичь истину; сколько раз я пытался разгадать свой шифр, чтобы узнать, как жить дальше!..

Мысли путались. В школе милиции нас учили: если мысли путаются — не думайте ни о чем. Вообще нас учили смотреть на жизнь конкретнее: если будешь думать, что у преступника было трудное детство, никогда не сможешь скрутить ему руки, а если будешь думать, что он тебя может убить или изувечить, выполнишь задачу быстрее.

Старый преподаватель полковник Федоров учил курсантов всегда радоваться. Если ранили — радуйся, что не убили; если убили — радуйся, что не мучился, если мучаешься, радуйся еще сильнее — значит, есть надежда, что выкарабкаешься.

Я ощерился в улыбке, встал с пенька и бодро зашагал в село. Нужно было найти и побеседовать с участниками экспедиции спелеологов, забрать в доме бабки Лукерьи свое высохшее обмундирование. И главное — дать телеграмму в Управление: доложить генералу обстановку и о самоуправстве Орехова.

И тут только, бодро шагая по лесу, я вспомнил, что фамилия нашего генерала... Открепилов.

Я достал из кармана бумажку с планом подземных ходов — точно: “Открепилов... 39 год...” “А нашему, — стал я соображать, — под семьдесят...” Я растерялся окончательно. Вспомнил осанистую фигуру начальника с орденскими планками на груди... волосы седые, взгляд усталый, вспомнил его рукопожатие, будто что-то живое и больное дали тебе подержать.

“Значит, Морокова послал он!” — связал я логическую цепочку, ошибочную, как все логическое, потому что не логика правит миром, а Господь Бог!

Глава девятая “Роковая пропажа”

“Память живет не в книгах и кинофильмах, память живет в крови!” — думал Открепилов, разглядывая свой порезанный палец.

Из тонкого пореза выкатились две капельки крови. “Что в них, — продолжал думать Открепилов, — лейкоциты? Или гены, которые помнят все и передадут эту информацию детям?”

— Генка! — позвал он внука.

В комнату въехал на трехколесном велосипеде внук. Открепилов внимательно оглядел его.

— Ты кого больше любишь: мамку или папку?

Внук так же, как дед, оглядел его и сказал:

— Тебя.

“Передалось!” — понял Открепилов.

— Ладно, — сказал, — иди, внучек...

Малыш резво укатил, а Открепилов понес свой палец в ванную и, проходя через гостиную, услышал из детской: “Спрашивал, кого больше люблю... ну я ответил: маму!”

“Передалось!” — понял дед Открепилов, генерал, ветеран, начальник...

Когда вышел из подъезда, нагло, в пику себе решил пройти до Управления пешком. Шел, чувствуя, как сзади ползет черная “Волга” и недоумевает водитель. “Это хорошо, — автоматически отметил Открепилов, — сегодня в Управлении расскажет, задумаются!”

Решил поддать пару и встал в очередь в табачный киоск, купил “Астру”.

Водитель пялил из машины глаза: чувства нереальности и не-

ловкости поразили молодого сотрудника: его начальник, уважаемый генерал Открепилов в своей яркой форме, в черных, привыкших к коврам и паркетам, а оттого каких-то тихих, домашних, импотентных ботинках!.. Он в интерьере обычной городской улицы выглядел, как инопланетянин!

“Передалось! — думал Открепилов. — Передалось!..“

В молодости он был уверен, что легко переступит через все и забудет, а уж зато дети его вырастут чистыми, достойными и образованными. Потом надеялся уже на внуков, и вот!..

Вошел в Управление. У центральной колонны на столике стоял портрет капитана Морокова с траурной лентой.

Село Куямы... Нет, не зря Открепилову накануне приснилась большая лягушка. Скакнула будто ему на грудь холодная, мерзкая. “А-а!..“ — заорал он во сне и столкнул жену с кровати.

Капитан Мороков смотрел с портрета прямо в глаза генералу. Но смелость эта была не перед генералом, а перед фотоаппаратом. Открепилов грустно усмехнулся, он сам когда-то установил для себя: стараться смотреть в глаза начальству, будто в объектив. Особенно, если льстил...

Да, льстил! До подхалимажа не унижался, но льстил! И верили! И ждали! И привыкали. И ждали лести более щедрой. Поэтому сам Открепилов лести не любил, тонко ее чувствовал и воспринимал как оскорбление его уму и пронизательности.

Поднялся к себе на второй этаж. Все в Управлении уже знали, что пришел пешком. Каждый понял демократию по-своему: подполковник Одинцов протирал тряпкой окно, капитан Трофимов демонстративно курил “Астру“.

Рецидивист Конько, которого провели по коридору, нагло усмехнулся, блеснув золотыми зубами. Это был опасный знак.

Открепилов завел Конько в свой кабинет и молча дал в наглуемую рожу кулаком. Тут же зазвонил телефон, и из Краснохолмского района доложили, что заключенные местной тюрьмы взяли повышенные обязательства: сидеть за себя и за тех, кто на свободе!

Открепилов ненавидел преступный мир. Ненавидел журналистов, которые писали о гуманном отношении к заключенным. Он ненавидел уголовников так ярко, что иногда готов был их всех убить и сам сесть на скамью подсудимых!

Когда ввели войска в Афганистан, он испытал чувство обиды. Танки надо было ввести в ворота лагерей и тюрем, и стрелять,

стрелять! По улицам пустить пехоту, на крыши снайперов... Дня в два можно было бы очистить страну.

На браконьеров в тайге сбрасывать десант, пленных не брать и расстреливать тут же на месте! “Интернациональный долг! — морщился Открепилов. — Человеческий надо в первую очередь выполнять!”

Вызвал сержанта и велел увести Конько и принести из архива дело Скомороховой-Генц. Память у Открепилова была отличная, и если другие в подобных случаях говорят, что не жалуются на память, то он жаловался, жаловался! Многого забыть ему хотелось...

По комсомольскому набору пришел он в органы в 39-м...

Тогда-то и направили его в Подколюзинский районный отдел ГПУ, где начальником был Белозубов. Ох, много воды с тех пор утекло, много слез и крови. Но поговорим о чем-нибудь светлом! Пятисотсвечовая электрическая лампа освещала главную комнату райотдела, бывшую залу особнячка купца Воротилова! У людей как бы светлее на душе становилось, когда их вводили сюда, и они торопились поскорее все рассказать, чтобы быстрее идти домой...

Нет, не случайно оказался здесь Белозубов! И рассчитал он довольно точно, что рубить туннель могут те, кому не до смеха.

— Ха-ха-ха!.. — горько усмехнулся Открепилов.

А правда — вот она: с детства его учили почитать старших. Белозубов был старшим. С детства его учили уважать и повиноваться власти рабочих и крестьян! Он уважал, повиновался и гордился, но... но где-то глубоко-глубоко в груди (в душе?) чувствовал неудобство. Работящий, смелый, он хорошо справлялся с работой, но... но где-то глубоко-глубоко в душе (а что это такое?) чувствовал: опасность! Грех...

В 41-м пошел добровольцем, не знал, а опять же чувствовал, что своей только кровью может искупить... но, вероятно, кровь его была не того качества, не той концентрации, чистоты, не те несла планы, мысли и надежды...

Вернулся с войны с медалями, орденами, часто смеялся, но, когда смеялся, глаза оставались грустными... (Женщинам это почему-то нравилось.) Работать направили в милицию...

Открепилову принесли папку, на которой его юношеским почерком было написано: “Дело Скомороховой-Генц П.Л. о сокрытии документов и мыслей, имеющих особо важное государственное значение”.

Это было его первое дело, и он отчетливо помнил красивую, ничего не понимающую женщину. Она смотрела на молодого следователя с надеждой и страхом. Стыдно признаться, но он тогда подумал, что такая женщина никогда не сможет его полюбить, и даже если жениться — не будет у них семьи, как не вить одно гнездо орлихе и воробью...

Генерал Открепиллов открыл папку и вздрогнул — она была пуста...

Глава десятая “Подозрительные незнакомцы”

Баньки села Куямы были рассыпаны на берегу реки. Какое-то свободомыслие сквозило в их произвольном расположении.

Баньку Федора Плотогонова срубил еще прадед без единого гвоздя. Только один гвоздь был в бане — Федька вбил, — на который он одежду вешал. Года два назад приезжали из области, хотели поставить баньку на учет как образец деревянного зодчества, срубленный без единого гвоздя, но, как увидели гвоздь в предбаннике, на котором висела старая шапка Федора, вздохнули, поскущтели. “Извините, — говорят, — а нет ли у вас в селе, где гвоздей нет?” — “Конечно, есть, — говорит Федор, — в магазине...”

Потом пошли осматривать церковь Михаила Архангела, ее закрыли в 30-х, разрушили в 50-х, в 70-х снимали фильм тут о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Москвой, а уже в 80-х, когда от церкви остались только стены и часть купола, решили восстановить и сделать концертный зал, чтобы сюда съезжались со всего мира знаменитые музыканты и играли бы тут свои никому не нужные увертюры и симфонии, а местная молодежь чтобы тянулась к прекрасному, забросив свою матерщину, водку, тягу к мордобою и сексуальной распущенности.

Ну пришли они, вошли внутрь, посмотрели вдумчиво на нецензурные надписи и неприличные рисунки, щедро и жирно украшавшие стены, и пошли обратно, втянув головы в плечи, к поджидавшему их у сельсовета автомобилю “Кубанец”. Больше не приезжали.

Не знал я, что эта крайняя к лесу банька принадлежит Федору Плотогонову. Конечно, если приглядеться, было в ней что-то плотогоновское: основательность, угрюмость, прочность — но это все от прадеда! Силен был прадед! Плоты гонял по Куямке. Матом, конеч-

но, гонял. Встанет на утес и кроет. А они — плоты-то — плывут, плывут вниз по реке, торопятся, чтоб побыстрее мимо.

Прадед Плотогонов хозяин был — серебряная цепочка на брюхе, сапоги с галошами, уважение в народе. Но и топором помахать не гнушался, и, что удивительно, красив был в работе: с прилипшим чубом к потному лбу, в рваных портах, удалой, веселый, топор в руке, как... у птицы крыло! А оденется нарядно: сюртук, картуз, поддевка, цепочка на брюхе, сапоги с галошами — скучный, постыдный, отвернуться хочется, а не глядеть!

Федька-то не в него, Федька черт знает в кого! Красив только со стаканом в руке, и то со вторым. С третьим — уже косой, дурной, с первым — еще как бы не проснувшийся. Эх, вырождается народ в русских деревнях и селах!

Вошел я в эту баньку, повесил на единственный гвоздь робу за трапезную, сырую, железнодорожную. Нашел спички, затопил. Задумался.

Сам городской, до двух лет я ходил в баню с мамой.

Ну, что я помню... Детская память сохранила такие картинки: много коленок... много коленок, а над ними треугольнички. Больше ничего не помню, роста был маленького, выше ничего не видел.

Мама меня мыла, как гладила: ласково, заботливо, тихо...

Потом был скандал. “Вы бы еще мужа привели!” — кричали маме женщины. “Да он у меня просто крупный очень! — оправдывалась мама. — Он родился: четыре двести!” Оправдывалась, но с гордостью.

Потом ходил с дедом. Дед клал меня на лавку, как полено!.. Как полено, клал он меня на лавку, намыливал всего мылом и тер, тер, так что, казалось, от меня только мыльная пена останется. Потом смывал из шайки и говорил: “Расти большой — не будь, понимаешь, козлом вонючим!..”

Вскоре в баньке стало тепло. Я залез на полок и заснул. Проснулся от скрипа, кто-то открывал дверь. А за окошком уже ночь. Кто это? Хозяин. Или... Я нашарил рукой черпак, притаился.

Низко нагнув голову, из предбанника шагнула фигура. Раздумывать было поздно, я со всей силы взмахнул черпаком, он шваркнулся об низкий потолок, отскочил мне по башке, и я, оглушенный, рухнул к ногам вошедшего.

— Что с вами?! — испуганно прошептал он.

Наклонился надо мной, и в малом свете луны, сочившемся в окошко, я узнал незнакомца, выходявшего тогда из туннеля.

Стоит ли говорить, что нервы мои не выдержали, и я заплакал. Я плакал о прошедшей жизни, о несбывшихся мечтах. Хлынуло все накопившееся, как в прореху. Ведь я когда-то мечтал быть пожарником, мечтал продавать мороженое, мечтал жениться на Светке Куприяновой из старшей группы детского сада, и вот на голове уже лысина (а на ней шишка от черпака) — и ни одна мечта не выполнена! Ни од-на... У черта на куличках! В каком-то селе Куямы! В бане! Преследуемый милицией и, черт ее знает, какой нечистой силой! За что мне такая доля? В чем я провинился? А может быть, я расплачиваюсь за грехи моих предков?..

Высморкался в тряпочку, вздохнул глубоко, взял себя в руки.

— Кто вы? — спросил.

— Я... — незнакомец задумался и с удивлением произнес: — Я... спелеолог Подковкин.

— Так это вы?..

— Да... то есть нет! Не знаю, с чего начать. Понимаете... — он схватил меня за руку и потащил под полку. — Понимаете, я был, кажется, на том свете!

Я выдернул руку и отодвинулся. Накануне в Управление поступило сообщение, что из сумасшедшего дома совершила побег группа больных, возмущенных действиями персонала, тормозящего перестройку (больные думали, что теперь они должны управлять больницей, а персонал подчиняться).

— Вы мне не верите?

— Я из милиции. Прибыл сюда именно по сообщению спелеологов...

— Ах, это, вероятно, мои коллеги! Я их не видел с тех пор, как...

— Что вы знаете об отпечатках?

— Подождите, я все расскажу по порядку.

— А что вы делали в штольне? Почему вы оттуда выходили?

— Не перебивайте! Слушайте!

— И последний вопрос, — я вспомнил про план на бумажке, — кто проложил рельсы?

— Вы будете слушать, мать вашу, или?!

— Буду. Не волнуйтесь. Но я же должен уточнить, потому что...

— Да что же это такое! — заорал Подковкин. — Ему, идиоту, рассказывают то, что никому неизвестно в целом мире, а он!..

— Все, молчу, — заверил я. — Извините...

Но было поздно — вопль Подковкина кто-то услышал, снаружи раздалися шаги, в предбанник кто-то вошел, потянул дверь, и к нам просунулась голова.

Укрытые в потемках под полком, мы остались незамеченными. А голову было хорошо видно: коротко стриженная, лопухая, она, по-видимому, принадлежала человеку легкомысленному, незлобному, но дураковатому. Впрочем, я мог ошибаться.

— Никого нет... — таинственно произнесла голова.

В предбаннике послышалось шевеление, и старческий голос произнес:

— Ё-моё! Глянь-ка, чё на гвозде!

— Чё?!

— Так то — одежда моя!

Голова лопухого исчезла, дверь в предбанник захлопнулась.

* * *

Затаив дыхание, сидели мы с Подковкиным в темноте, ждали. А те двое не спешили уходить.

— Федька, козел!.. Мать-ить!.. — ворчал старик. — Волюнку тянит!..

— Может, запил? У нас в палате...

— У тя одно в башке: выпить да похмелиться! Запил... Распустились, козлы! Нет хозяина, о-ох, нету! Правильно начальник у нас говорил: Рассею можно залить или кровью, или водкой!

Ноги затекли, я пошевелился.

— Чё там? — насторожился старый.

— Мышь, наверное, — высказал предположение молодой.

Приоткрыл дверь, запустил веником, попал Подковкину в лицо. Стало тихо.

— Мыши... — подтвердил старый, — кота завесьть надо. У нас на станции одно-то время здоровый кот жил, потом сбег. Козел! Сел на пассажирский “Тютьма—Москва“ и сбег, зараза!

— Коты валерьянку пьют, — сказал молодой.

— Тс-с!.. Кажись, идет!

В баню ввалился запыхавшийся Федька Плотогонов.

— У-уф, пля! Милиция кругом! Эт-того... своего ищут, кото-

рый старуху придушил. Во, пля, свой же, милиционер, и — старуху!

— Хватит болтать! — осек его старый. — Принес?

— Тык, у дороги оставил, чего сюда-то переть?!

— А возьмет кто?!

— Да кому нужно-то, дерьма! Нам его, пля, тонны три вместо удобрения прислали! Если, говорят, у вас бой за урожай, то, вот, говорят, вам взрывчатка!.. Отставник, видать, какой накладную составляя!.. Ты давай план, куда закладывать будем!

Мы с Подковкиным, затаившись, внимали каждому слову. Старик, судя по сопению, копался в карманах.

— Ё-моё! Чё ж тако?! Где ж бумажонка-то?!

— Может, ты ей?.. — засомневался молодой.

— Чё ей, да я отродясь!..

Старик сопел, напряжение в предбаннике нарастало.

— Если ты, пля!.. — начал Федор.

Но тут молодой лопухий радостно взвизгнул.

— Ты ж говорил: одёжа твоя!..

Он, видимо, сорвал с гвоздя мою (нет, не мою!) робу и достал из нее (а там была всего одна бумажка!) план подземных помещений.

— Вот она! — сомлел старик. — Родимая...

Они, толкаясь, вывалились из баньки и утопали. Подождав немного, и мы с Подковкиным выбрались наружу.

Глава одиннадцатая “Следы теряются во тьме”

Всего вещественных доказательств по делу Скомороховой-Генц было 128.

Первое вещ. доказательство — пуговица от верхней мужской одежды, которая (одежда) могла принадлежать кому угодно, в том числе и ярому врагу советской власти! Пуговица была черного цвета (что могло свидетельствовать об отношении человека к окружающей действительности), с четырьмя круглыми отверстиями посредине, которые (отверстия) могли служить не только для пришивания, но и для наблюдения через них, если приставить пуговицу к глазу.

Кто изготовил пуговицу? И когда? Неизвестно. Нашли ее в доме Скомороховых (!) между половицами (!!)) при обыске 13.08. Обыск производился в присутствии понятых, которые сами боялись, как бы

их не арестовали, а потому находились в полуобморочном состоянии и постоянно порывались что-то рассказать, только не знали что.

СПРАВКА: в 1956 году специальная комиссия установила, что пуговица во время обыска оторвалась у оперуполномоченного Панкратова А.Б. и впоследствии была заменена сходной по форме, цвету и себестоимости.

Однако, к делу! К “Делу Скомороховой-Генц П.Л.“. Предыстория такова: понимая все буквально, Белозубов поставил землемера Скоморохова мерять землю: сколько ее вынимается из горы. Но что удивительно — никакой земли, т.е. грунта из прокладываемого туннеля, не поступало. Да, был грунт вначале, а потом все, что добывалось, выгрызалось изнутри и доставлялось в вагонетках наружу, — исчезало!

Землемер Скоморохов посинел от удивления, не в силах сообщить, как и что считать. Заключенные выкатывали очередную вагонетку, ссыпали буро-желтое что-то у входа, и это “что-то“ испарялось на глазах.

Белозубов лично приезжал на автомобиле, но близко не подходил, еще шагов за тридцать начинал дико хохотать, шлепал себя по пузу, крутил усы, потом садился в автомобиль и уезжал. В кабинете ходил из угла в угол, курил папиросы “Юбилейные“ (20 лет расстрела семьи Романовых), думал.

“Материализм... мать его! — думал Белозубов. — Вот тебе и... материализм, мать его!“ Знал старый каторжник, что только то легко взять, что никому не нужно! А если что-то исчезает и прямо у тебя из-под носа!..

Землемер Скоморохов, посиневший, осунувшийся, потихоньку сходил с ума. И чем больше он погружался в безумие, тем лучше понимал происходившее. Он делал на клочках бумаги безумные записи, вычерчивал график эволюции жизни на земле, и у него получалось, что жизнь на планете завершает свой круг, что слова “эволюция“ и “революция“ похожи не случайно, что человек не царь природы, а палач, что, если испаряются человеческие жизни, почему не могут испариться песок, глина, камень? Или они для кого-то нужнее? А если валун ледникового периода нужнее, чем люди, какая же они — люди — мразь!

Румянец проступал на синих небритых щеках сумасшедшего землемера. Он видел теперь жизнь в ином свете. “Люди! — думал он. — Даже они, при их глупости, придумали для различия пого-

ны, петлицы, ордена, должности, звания. Неужели Всевышний не пометил как-нибудь для себя бездельников и подлецов, правдолюбцев и святых, философов и хулиганов? А если пометил, неужели не отберет более достойных?! И не сохранит их души, как сохранил валун ледникового периода. А может, валун — это тоже чья-то душа?!“ — вдруг думал Скоморохов.

Короче, он сошел с ума окончательно и решил максимально приблизить себя к истине и повеситься.

Радость и волнение испытывал землемер Скоморохов, завязывая узел. Торжественность момента не могли омрачить ни дождь (“Природа совершает мое омовение!” — думал он), ни матерщина, доносящаяся со сторожевых вышек, ни судьба оставляемой молодой красавицы жены...

Повесился он на сосне, стоящей в двухстах метрах от штольни. Висел красиво и гордо, как елочная игрушка. И все бы ничего, и никто бы не придал кончине землемера большого значения (мало ли их, землемеров, на Руси!), если бы не последующие события...

Бригады работали в три смены. В одну из августовских ночей бригада, работавшая во вторую смену, не вернулась из забоя. Утром не вернулась другая...

Надо сказать, что в последние дни, а все работы длились около месяца, люди возвращались из штольни неизмеримо возбужденные, с обезумевшими глазами. Они не могли выговорить ни слова, размахивали руками, мычали, вообще было впечатление, будто кто-то зажимает им рты. Кстати, они почти не ели, а на работу торопились, будто искали там облегчение.

Днем не вышла из штольни и третья бригада.

Конвой ждал до ужина, а потом пустили собак. Собаки (а их было пять — матерые овчарки, озверевшие от общения с людьми!) сделали несколько прыжков, прижались к земле и завыли. А одна (сука Жулька) затявкала жалобно и быстро, словно спрашивала: “За что?! За что?!“...

“Фас! Фас!“ — орали, понукали проводники. Собаки жались брюхом к земле и выли. А одна (кобель Султан) заскулила так протяжно, что ему невольно ответил в своем кабинете даже Белозубов (а это шесть верст с гаком!).

Командир отряда капитан Воблов приказал открыть огонь. Прицельный залп дали в черную дыру входа. И тут в наступившей тишине послышался легкий свист, он смешался в памяти очевид-

цев с запахом пороха. Одним показалось, что свист походил на скрип открываемой железной двери; другим — что он напоминал глубокий астматический вздох; а третьим, знакомым с боевыми действиями, — свист летящего снаряда.

Собаки окаменели и больше не двигались. Они умерли как-то вдруг. Смерть сковала их в напряженных позах, что-то внутри (а что?) как бы сделало попытку освободиться, но погибло.

Второй залп шарахнул эхом в Куямском лесу, и еще большим эхом вдруг загрохотал над лесом дикий хохот.

От хохота (как это может быть?!) обуглились сапоги у конвоя, погнулись, как пластинчатые, стволы у винтовок, и выпали глаза.

С вышки в бинокль ясно было видно, как от второго хохота у людей отрывались руки, падали головы, а после третьего полыхнули огнем и сторожевые вышки, и все погрузилось в пламя, и бушевало то пламя миг, но все превратилось в гарь и головешки, остались невредимыми только древняя сосна и висящий на ней землер-мер Скоморохов.

* * *

Лейтенант Открепилов принял к производству дело о сокрытии... Сейчас умники изгаляются в своей запоздалой смелости... Ха-ха!.. Посмотрел бы на них генерал тогда, в то время!

Но ближе к делу! К делу Скомороховой-Генц...

Адольф Христофорович Генц прибыл в Россию в славные времена царствования Екатерины Великой, много пользы принес России тем, что не вредил ей, а способствовал процветанию, богатству и могуществу посредством личного обогащения.

Потомки пошли пожиже — больше транжирили, чем прибавляли, и чем больше семья Генца роднилась с русскими, тем больше транжирила, во!..

Но, черт его знает, почему (а может быть, именно поэтому!) очень они, эти потомки, получались удачливыми. Словно, когда транжирили, деньги платили за удачу, смелость и красоту.

Это не осталось незамеченным. И в 1839 году Иван Генрихович Генц, никому ничего не говоря, решился на отчаянный эксперимент. Сам наполовину русский, наполовину немец, он развелся и женился на татарке.

Трое сыновей у них было, и все трое — революционеры! Эксперимент мог сорваться, но, слава Богу, младшего Рустама

сослали в Сибирь, где он, уже больной и старый, женился на бурятке.

Так протянулась ниточка. Иван Генрихович вывез русско-немецко-татарского бурятенка в Петербург, держал при себе до совершеннолетия, дал блестящее образование и... женил на еврейке! Чопорный Петербург был потрясен выбором молодого Генца, но когда его первенец Соломон в три месяца заговорил по-французски...

Судьба как бы готовила юное существо к браку с прекрасной парижанкой, и он состоялся в 1913 году. Тогда же, через девять месяцев, появилась на свет Жанна Соломоновна Генц!.. Талантлива! Красива! Весела!.. Избалованна, любима! Даже те гунные люди, которые ничего не понимали в жизни, когда видели ее еще грудным младенцем, а потом девочкой, девушкой, даже у них, у этих черствых душой и скудных умом людей, просыпалось что-то в груди, волновало, оттаивало, заставляло их улыбаться, умиляться, добреть и... любить жизнь. И радоваться, даже если пока радоваться было нечему!

Но уже наступала эпоха войн и революционных переустройств мира...

* * *

Медоксерт Пирогов и майор Орехов пили спирт. Сидели на берегу Куямки в трусах под жарким солнцем и глушили спиртягу, чувствуя себя с каждым стаканом все умнее и умнее.

Солнце било в затылки прямой наводкой. плечи покраснели, но собеседники спорили о политике и ничего не замечали.

Орехов спорил яростно, бешено и с наскоками до головокружения, однако спорил так, будто в кустах сидит его начальник генерал Открепилев и внимательно слушает. Орехов кричал: "Нельзя сбрасывать со счетов опыт прошлых поколений! Заслуженные люди заслуживают уважения!" Топал босыми пятками, вопил, что если всех подленов пересажать, то и остальным социализм понравится!

Пирогов интеллигентничал, почесывал спину, рассуждал.

— Нельзя, — говорил. — к примеру, пить, пить и стать вдруг трезвым! Чтобы стать трезвым и не испытать болезненного похмелья, надо постепенно и не торопясь проделать путь от последней рюмки к первой, а уж потом, от нуля, строить трезвую жизнь! А Ельцин... — медоксерт наполнял, выкалывал остатки в стаканы, — Гдван и этот, как сто... ну!

— Еврей какой-нибудь?

— О, вспомнил! Иванов. Ну, поехали!

Они чокнулись, ахнули спиртяги, вытаращили глаза. Кинулись закусывать. Вгрызлись в огурцы.

— Я, хрум-хрум... в политике ничего не понимаю! — заорал Орехов в сторону кустов. — Я Родине служу!

Пирогова, казалось, ни спирт, ни крики Орехова не брали, казалось, только очки пьянели, они сползали на нос.

— А когда полетим на Марс... — продолжал он вольнодумствовать.

— Куда?!

— Ну, мать ты, представь, что ты космонавт и...

— В каком звании? — подобрался, как на рынке, Орехов.

— Ну, допустим, майор...

— Я?.. Да я!.. Ты чей спирт пьешь?!

— Ладно — подполковник.

— Подполковник... Мне его для технической надобности выдают... мозги прочищать.

— Ну ладно, не обижайся! Допустим, ты космонавт, полковник, Герой Сое-етского Союза!..

— Дважды, — подправил Орехов.

— Ну хрен с тобой! Генерал, допустим, ты и прилетаешь на другую планету, а там спрашивают: к-какая ваша Родина?

— Ну ты, едрень, даешь! — сказал Орехов, оглянувшись на кусты. — А Открепилов — маршал, что ли?..

— Открепилов — по другому ведомству! Ты космонавт! Дважды...

— С половиной...

— Дважды, хрен с тобой, с половиной Герой Сое-етского Союза! Прилетаешь на другую планету... то есть планету, и ты спрашивают: а какая ваша родная Родина?!

— Ты, едрень, совсем... Тебя что — в штольне контузило? Чтоб я, ге-не-рал, и на другую планету! Мне что — на этой плохо?!

Пирогов задумался. Поддернул к переносице очки, встал и пошел, покачиваясь, к реке (его выразительная спина выражала недоумение). И тут (алкоголики знают это чувство, когда вдруг ясно и четко видишь предметы на расстоянии) он увидел на дне реки, там, где шевелились водоросли, человеческий череп, он не был светлым,

он был серым, а водоросли, как длинные зеленые волосы, шевелились.

Что-то тянуло Пирогова туда, он вошел в воду, поскользнулся, хнулся разом всем телом и почувствовал дрожь мерзкую, колющую, пугающую.

— Я, едреньть, столько для людей сделал, чтоб генералом стать, а он — на другую планету! Лучше б ты меня на х... послал!

Пирогов нырнул. Берег крутой, глубина была метра два. Водоросли от всплеска заволновались и заслонили собой, спрятали череп. Пловец раздвинул их руками, череп лежал (да, это так!), с какой-то трогательной заботой окруженный воланчиками песка, как на подушке. Сквозь толщу воды на него падал мягкий свет. Рядом большой, мохнатый камень караулил его, как старая добрая нянька. Хорошо ему тут было!

Пловец вырвал его из этой тишины и быстро всплыл.

Поскальзываясь, отфыркиваясь, выбрался на берег. Сел в мокрых трусах прямо на траву.

— Подполковник! Ты в следующий раз соображай, что го-варишь-то! Мы, едреньть... Эт-та что у тебя?.. Чер-репт!

Пирогов смотрел на череп, а череп смотрел на него. Пирогов не понимал, но что-то заставляло его, не отрываясь, смотреть в темные глазницы, на лоб, на часть сохранившиеся зубы...

Зубы! Вот что сковывало внимание Пирогова. Большая щербинка между верхними резцами и рядом, слева, напозающий, легкомысленный, словно пьяный! Они и сейчас, эти зубы, делали череп веселым и дерзким.

— У-учти, — крикнул Орехов, — спирту больше нету руки протирать!

— Да ладно!

Медэксперту и самому стало скучно, он встал и бросил череп обратно в воду.

И только когда они входили уже с Ореховым в село, вспомнил, что такую озорную улыбку он видел на фотографии... в семейном альбоме. И вдруг из тьмы памяти, сквозь туман хмеля ясно явилось лицо: спокойные, с достоинством глаза, вьющиеся темные (и тоже какие-то с гордостью) волосы, щегольские усы и улыбка, открывающая зубы и озаряющая все лицо человечностью...

Мама говорила, что это его дедушка. И фамилию Пирогов вспомнил, смешная такая фамилия — Ско-мо-ро-хов...

Глава двенадцатая “Это можно обалдеть!”

Дед спелеолога Подковкина Савелий Прохорович стоял босой в галифе и белой нательной рубаше. Улыбался. В глазах сияли слезы радости.

— Бориска! Ты!.. — протянул он дрожащие руки.

У Подковкина глаза полезли на лоб. Вроде сделал в пещеру всего несколько шагов, и вдруг прямо из воздуха перед ним соткалось изображение деда. В белой нательной рубаше, в синих диагональных галифе, на груди сверкнуло что-то. Крестик? Пригляделся — копейка на веревочке.

Откуда-то потянуло сквозняком.

Изображение заколебалось, поплыло, вытянулось струйкой и обмотало Подковкину шею. Спелеолог попятился, но удавка оказалась прочной, и его, как собаку на поводке, потянули вперед.

Спелеолог по призванию, человек, покоривший многие пещеры мира (расположенные на территории СССР), он и здесь покорился. Пошел, стараясь переставлять ноги быстрее, чтобы шее было не больно.

Вскоре он оказался в большом зале, наполненном зеленоватым, мерцающим светом, с потолка свисали сталактиты, а между ними плавали рыбки. Подковкин выворачивал голову, глаза по сторонам: среди рыб порхали птички. Один самый огромный сталактит оборвался и упал впереди, расколовшись на детские игрушки...

Подковкина протащили через них, хрустнуло под ногами что-то, оглянулся — грузовичок. Из сломанной машины выскочила мышка и юркнула в темный угол.

Спелеолог, разинув рот, остановился, его дернули сильнее, и он, не удержавшись, упал лицом на стеклянный пол, под которым светился красный огонь, как восход. Подковкин пригляделся: в этом красном свечении двигались какие-то тени — своими движениями, контурами, тихими, шуршащими звуками они напоминали что-то очень знакомое, но что?

Вдруг стекло треснуло, и Подковкин с осколками полетел вниз. Он летел в красное, в огонь и чувствовал, как сгорает, но не чувствовал боли, а ощущал радость...

Сгорев, он испытал восхитительную свободу, он слился с красным светом, он стал им.

— Я стал ничем и... стал свободным. Ты понимаешь, свободным по-настоящему может быть только ничто!

Подковкин схватил меня за руку и больно сжал запястье. Мы сидели на крыльце бани. В небе светила луна. Тихо светила, словно прислушивалась, как бы спелеолог не рассказал лишнего.

— Понимаешь, там, где я был, не было разума, как понимаем мы, там были только чувства, и я плыл по ним и сторонился опасных, и тянулся к приятным... И выплыл во что-то большое... нет, не в зал, а во что-то такое... чего объяснить не могу и не смогу никогда. Чувства, по которым... в которых я плыл, вдруг стали распадаться и формироваться в определенные как бы структуры... Меня стало как бы лихорадить, я стал забывать себя и моментами вспоминать несвойственные мне, незнакомые ощущения. Я чувствовал то когти на пальцах, то мне хотелось взмахнуть крыльями, то мне казалось, что я снег и таю... Вскоре чужие ощущения легко исчезли, и я попал куда-то, где было очень торжественно, страшно и любопытно. Там не было света, но было светло.

— К-как... это?

— И там я увидел...

— Чем вы увидели-то? Без глаз...

— Я видел даже не то, что впереди, а видел вокруг, а точнее не видел, а знал. И там я узнал Смысл!

— Может быть, вы... простудились в пещере? Или стукнулись...

— Смысл — он большой... Он дает жизнь всему. Он сильный, как... солнце! И ему нельзя, невозможно противиться! Иначе жизнь становится бес-смысленной!..

Луна пятлилась на нас с неба вытаращенным глазом. Я задумался.

— Понимаешь, во всей нашей жизни есть предрешенность, — проговорил Подковкин, — мы все рабы, выполняющие чужую волю, а те, кто бунтуют, погибают. И все мы помечены, как преступники... как потенциальные преступники отпечатками пальцев! Всех нас найдут и спросят! И накажут...

— А если не за что наказывать? — осторожно спросил я.

— Если не за что, тогда ты, значит, был покорным рабом...

Он, этот Подковкин, начал меня раздражать. Он, сука, не хотел

быть рабом, он, паскуда, хотел быть хозяином жизни, он, тварь, со своими медными мозгами хотел повелевать, рвань, вонючка, дешевка, мразь!..

— Вы неправы, — сказал я, сдерживаясь, — вы готовы подчиняться начальнику на работе, командиру в армии, вверяете свою жизнь водителю автобуса, пилоту самолета... И не хотите подчиниться тому, кто выше всех нас, умнее, кто, может быть, воззвал нас на великие, святые дела!..

— Да я хочу, хочу! — проговорил, нахмурившись, Подковкин. — Но ведь непривычно, нас ведь как воспитали — что мы умнее всех!

Еще неделю назад я считал бы все услышанное за бред, но после всего, чему стал свидетелем в Куямах, призадумался.

— А дальше?

— А дальше... выдуло меня каким-то ветром в коридор, и вновь увидел своего деда.

— Я тут по совместительству на сортировке, — зашептал он мне, — ты, мать твою, понял, как теперь жить надо! Я что звал-то, чтоб ты там, наверху, этим мудакам-то объяснил! Жить без Смысла невозможно! Сейчас иду! — крикнул он кому-то в сторону. Превратился в черную точку и полетел. Потом вернулся, проявился одной лишь головой, висящей в воздухе, и зашептал: — Иди прямо, а как упруешься в стену, иди в нее. Понял — в стену! В стену! В стену-у! — заорал он, улетаая. — Только так можно вый-ти-и!.. В стену-у-у!..

Луна светила в небе. На краю села женщина прокричала частушку: “К нам летают гуманоиды, но не объявляются. Вероятно, гуманоиды очень нас пугаются!” И тут же откликнулся мужской голос: “Трактор во поле грохочет, солнце по небу плывет, неужели озверееет окончательно народ!..”

— А туннель? — спросил я спелеолога.

— Туннель? Не знаю... я прошел три стены, потом за мной побежал кто-то... в общем, какое-то преследование...

Глава последняя “По какой дороге пойдешь — то и найдешь!”

Братцы-спелеологи молчаливо, гурьбой шли по дороге в Подколюзино.

Фиктюль, оскорбленная, шла впереди, Светозаров тащился

сзади. Назым Сюгдеев (лучший боковой) шел сбоку и смотрел, не отрываясь, на бедра Фиктюль.

В пещеры его гнал не спортивный азарт и не любопытство, а сексуальная неудовлетворенность. Он был такой страстный и жадный женолюб, что только забравшись в очень глубокую пещеру, мог получить удовлетворение.

Светлозаров лазил в пещеры от страха, лишь там, глубоко под землей, в полной темноте, забившись в расщелину, он чувствовал себя спокойно. Потом вылезал, конечно, опять всем улыбался. Говорил, что в пещерах хочет найти каменный цветок и подарить его детям.

Моментов мог бы с таким же успехом лазить и по горам, и под водой плавать, он был из тех людей, которых обстоятельства водят по жизни, как отец водит за ухо расшалившегося мальчишку.

Фиктюль лазила в пещеры от безысходности. Так все вокруг было не так, что металась Фиктюль по жизни, как крыса, ныряя в пещеры и вновь выскакивая. Разумеется, все это носило облик научного интереса. В свободное время Фиктюль писала книгу "Пещерная жизнь современной действительности".

Пожалуй, ближе других к спелеологии была Танюша Говорушко, потому что она любила спелеолога Подковкина.

Через каждые сто метров делали привал. Спорили: ждать Подковкина здесь или идти дальше? Танюша краснела, стеснялась и, чтобы никто не заметил, предлагала идти дальше. Моментов, норвивший остаться с ней наедине и поскорее, орал, что они обязаны дожждаться Подковкина именно здесь. Что это их священный долг!

Фиктюль старалась не смотреть на старика Светлозарова, но никак не могла забыть его руки на своей талии. Как два горчишника, жгли эти места воспоминания.

Старичок старался не попадаться ей на глаза, прятался за елками и кустами, что приводило к новым казусам...

Как это бывает без командира, делали все неважно, неорганизованно: то сидели и ждали, кто принесет хворост, то, когда стемнеет, бросались все собирать сушняк. Палатку ставили, когда уже уходить пора. Поставят — и тут же разбирать. Один раз ушли и забыли палатку. Одним словом, сплошной социализм!

За два дня проделали до Подколюзино только треть пути. И хоть бы одна попутка! Дорога, как вымерла, даже самолеты не летали над ней, даже облака плыли где-то вдалеке, на горизонте...

И вот настал третий день. И пусто было вокруг так же, как пусто было на душе у Тани Говорушко. Она отправилась в этот поход в отчаянной надежде, что Подковкин наконец-то заметит и оценит ее по достоинству. Она сверкала в перекрестных взглядах Назыма и Моментова, как алмаз в лучах солнца. Как капля росы: чистая, округлая, пленительная, готовая утолить жажду.

Она готова была иногда отдаться и Назыму, и Моментову, чтобы они, насладившись ее телом, рассказали Подковкину, сколь она восхитительна. Но этого делать было нельзя.

Атеист-магометанин Сюгдеев, отрицавший религию отцов и принимавший в магометанстве только многоженство, боялся подойти близко к Танюше — уже метра за три его начинала бить дрожь. Но как перемещаются стрелки на циферблате, так перемещаются и чувства. И если старик Светлозаров разбудил в Елене Максимовне женщину, то Сюгдеев ее заметил...

На третий день пути Фиктюль и Сюгдеев ушли утром искать хворост вместе, а вернулись с разных сторон, к обеду и с пустыми руками. Фиктюль вдруг начала петь... и песни какие-то бабские, дурацкие. Первый раз так вообще всех переполошила, когда вдруг запела: "Вот кто-то с горочки спустился!.." Голос у нее к пению неприспособленный, прямолинейный. Поэтому все подумали, что она и вправду кого-то заметила. Танюша обрадовалась, что это, возможно, Подковкин. Моментов вздрогнул, потому что теперь ожидал черт-те чего! Но Фиктюль, оказывается, пела... "Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет..." И хоть пришли они к обеду, а обеда не было, какая-то сытость была в голосе Елены Максимовны, в шее, в щеках, в коже.

Атеист-магометанин супился, надутый гордостью, остальные старались ничего не замечать.

Был третий день пути, был вечер...

Сидели вокруг костра, Фиктюль пела, остальные молчали. Кто ошарашенно, кто испуганно. И тут вдруг Татьяна почувствовала необъяснимое волнение. Она встала и пошла в темный лес. Какая-то неведомая сила вела ее в темноте. Глаза не видели ничего, в глазах было тепло.

Таня ушла. Моментов проводил ее тягучим взором, глянул на огонь и вскрикнул — затухающий костер был похож на большой, очень большой отпечаток пальца.



Федька пер ящик. Следом сопел лопухий. За лопухим топал старый хмырь, вертел башкой, зыркал глазами в темноту. Походка да и все повадки выдавали в нем бывшего жулика, хотя работал он до пенсии дворником в областном КГБ в чине очень младшего лейтенанта. В его обязанности входило не столько двор подметать, сколько следы затирать. Летом-то хорошо: из шланга польешь — и нет! Зимой тоже хорошо, когда снег идет, и в дождь работа в радость. А в остальное время приходилось вкалывать. До 1964 года работал, а потом, когда Хрущева сняли, — и его на пенсию! Тоже лысый был. Тогда много лысых поснимали.

Пришлось на железнодорожную станцию устраиваться, во-первых, к форме привык... Сначала, как уволили, мучился: захочет затылок почесать, а фуражки нет — приподнять нечего!

Мужики на станции его уважали: первым за стакан никогда не хватается, ждет, когда другой выпьет, смотрит — не околеет ли... Никогда не перебьет — слушает внимательно...

Вот и услышал он однажды легенду не легенду, быть не быть, а на правду похоже: будто хранятся в Куямском лесу в пещере богатства несметные. В сумасшедшем доме один сумасшедший рассказывал, что живем мы в стране так бедно, потому что все богатства в пещере спрятаны...

Васька-Лопухий, вернувшись из дурдома к прежней работе, (он стрелочником работал), рассказал про богатства. Ну, железнодорожники посмеялись, а старикан посмотрел в окно — точно, нищета кругом!

И вспомнил он тут, что, когда в органах работал, слышал кое о чем... Те же места назывались, та же пещера.

Поздним вечером бывший дворник, известный среди старых кадров под псевдонимом Метла, шел куда-то, прижимая к груди бутылку, как гранату.

Таня шла по темному лесу. Шла, как во сне.

Крысы покидают корабль за три дня до кораблекрушения. Земляные черви чувствуют землетрясение за сутки. Я лично чувствую желание поесть уже за полчаса до еды. Таня чувствовала — она нужна любимому!

А он, ее любимый Подковкин Б.Н., сидел на крыльце бани

Федьки Плотогонова и смотрел на меня широко открытыми глазами.

А я стоял, окаменев. Разрозненные наблюдения последних дней, фразы, намеки, косые взгляды, обрывки мыслей, жесты, звуки, мимика некоторых лиц — все это, калейдоскопом крутившееся в моем мозгу, вдруг замерло и явило мне жуткую картину предстоящего.

— Эти козлы вонючие, эти кретины пошли взрывать пещеру...

— Не может быть! — Подковкин побледнел. Его бледность превосходила лунную.

— Эти кретины хотят найти золото... или какой-нибудь клад. Я не уверен, но скорее всего они пойдут... в штольню. Иначе зачем им был нужен план?

— Бежим! — крикнул Подковкин.

Но плохо я знал майора Орехова!

И он не спал в эту ночь. Он готовил засаду.

Председатель Филиппов пошел организовывать народ. Ходил по домам, стучал, кричал: “Подсобить надоть... в засаду! Кого убьют — три дня отгула! Родственникам. Кого ушибет — медаль! Прикладывать на шишку“. На него тоже кричали разное. Охотно пошел только дед Василий. И то из жадности, чтоб на казенные деньги похоронили. Хотя какой тут смех — одни слезы! Последние годы дед Василий только и жалел, что его в 41-м под Москвой не убило. Хоть бы не мучился всю последующую длинную жизнь!

Ночь была тревожная... Ночь была пропитана тревогой, как ветошь бензином. Поднеси спичку — и вспыхнет!

Жена Филиппова несколько раз подходила к окну, прислушивалась, потом возвращалась в постель к Пирогову. Пирогов не был пылок в эту ночь, был задумчив и делал все задумчиво.

Бухгалтер Степанов тоже несколько раз вставал, проверял — на месте ли счета. Ему снилось, что на них стало меньше косяшек. Он не понимал, что это ощущение ему давала инфляция.

* * *

Федька, Лопухий и Метла двигались к штольне, мы с Подковкиным торопились туда же, а майор Орехов, лейтенанты Агафонов и Пашко, сержанты Охмурелов, Бусыгин, Утятников, Беззубов (внебрачный внук Белозубого, о том, конечно, не подозревающий), рядовые Фокин, Ляпин, Ужурбаев и Сайко, а также дед Василий

сидели в засаде у дороги. Место было выбрано безошибочно, потому что дорога была одна.

Первым меня заметил Пашко. Мы были давно знакомы, он часто помогал мне при идентификации отпечатков, просто заходил поболтать. Я думал, мы дружим, а он?! Сколько, оказывается, ненависти, сколько зависти к моей работе, к моей увлеченности накопилось в нем! Он приходил, оказывается, не поболтать, а убедиться, что я сдался (накоси, выкуси!). Да, да, я помню его взгляд: он ждал моего поражения.

— Вот он! — заорал он так, что вздрогнули ели.

Ах, как он меня ненавидел! (За то, что не мог меня пожалеть.) За ним поднялись в атаку Фокин, Ляпин, сержанты Охмурелов, Бусыгин, Утятников.

Я часто вспоминаю ту ночь. Пожалуй, впервые в жизни я тогда почувствовал, что такое быть настоящим героем! Многое, очень многое я не понимал до этого... В молодости меня встревожила и задела в памяти заключительная фраза из воспоминаний генерала Брусилова. Было рассказано о походах, подвигах, а потом, в конце, фраза спрашивающая: и зачем все это было надо?

...На меня бежали, ощерившись, мои бывшие коллеги (они выполняли свой долг и выполняли пока успешно). Что мне было делать: сдаться? Вступить в переговоры? Броситься на них с кулаками, получить в морду и охать, корчась на земле? Так в чем же героизм: героически погибнуть или трусливо победить? Сохранить честь или жизнь? И понял я в ту минуту: героизм в том, чтобы выполнить свой долг! Предотвратить взрыв...

Я сжал кулаки, повернулся и... драпанул в лес. Я слышал, как сопротивлялся один против всех Подковкин, я знал, что он думает про меня: “Предатель!” — но я чувствовал, что все делаю правильно.

Этот сук караулил меня с 1977 года, острый на сломе, отполированный непогодой, он вонзился мне в грудь выше сердца, и я повис на нем... как пальто на вешалке. Кровь текла по животу, по ногам, и мне казалось, что я, как в детстве, описался, и мне было смешно в первое время, пока я еще не почувствовал боли.

Боль резанула и разорвала грудь. Выла каждая клеточка тела, почему-то особо нестерпимой боль была в концах пальцев ног, будто она упала туда и застряла там, и очень хотелось, чтобы она нашла там дырочки и вылилась, и освободила меня от мук.

Больно!.. Ой, как больно... Я застонал и увидел глаза: острые, любопытствующие, смотрели они на меня из ничего...

Вскоре послышался свист, с неба упал луч света, и произошло что-то странное: полуживой, я находился на месте, а мимо меня несло время — разматывалось, как катушка (кто же его намотал?), неслись, все убыстряясь, мелькали дни, ночи... лица, резкие слова, жаркие объятия, слезы, клятвы, приступы гнева, тихая радость, и вот мелькнул, оборвался последний день, и наступила тишина, и прошла боль. И наступила смерть.

Прощайте, друзья! Я любил лес, небо. Мне нравилось смеяться. И не моя вина, что многие не любили меня. Желая вам всего доброго. До встречи!

* * *

Лес кончился и Таня вышла к дороге. И зрение к ней вернулось, и ощутила она зябкость, передернула плечами, взгляделась в темноту — что такое?! Со связанными руками, с синяком под глазом шел к ней ее любимый, а по бокам и сзади шли возбужденные милиционеры и местный житель дед Василий.

Вот и Татьяне судьба подкинула возможность для подвига. Часто женщины принимают за любовь увлечение, желание, жалость, бывает, тягу к престижности путают с великим чувством, но это от невежества, душевной глухоты или семейного несчастья, из которого хочется выбраться, как из мусорной ямы.

По-настоящему женщина любит не сердцем, не умом, не душой и не телом, а всем сразу! Женская любовь (настоящая) — это океан (Тихий).

Я видел женщину в цирке, которая летала под куполом просто так — от любви. Я видел старушку, которая краснела только от упоминания города, в котором когда-то до революции жил ее любимый. Я видел образованную даму, которая так любила своего неверного лоботряса, что готова была целовать его руки, даже когда он давал ей пощечины. И еще я видел, что многие мужчины хранят на груди, у сердца, бумажки с изображением Ленина (я имею в виду деньги), и мало кто — фотографии любимых, только в армии по какой-то несознанной необходимости дорожат фотографиями подруг, невест, жен...

Короче, вышла Таня на дорогу, раскинула руки: “Не пу-цу-у!..“

Больше всех испугался Подковкин. (Мужчины вообще боятся, когда их сильно любят, поэтому умные женщины, даже если любят сильно, стараются показать, что не сильно.)

— Татьяна Петровна! — вскричал он от испуга. — Что вы здесь делаете?! В столь позднее время?! (Мужчины, когда видят, что их сильно любят, от страха глупеют.) Вы простудитесь! — закричал он.

— Ваши документы? — спросил, опомнившись, майор Орехов.

И тут очевидцы: Бусыгин, Ляпин, Охмурелов, Фокин (Сайко, Ужурбаев, Агафонов и Пашко уклонились от дачи показаний) утверждают, что это правда — Танюша достала свое сердце и протянула его на ладони Орехову. Сердце билось взволнованно, переполненное тревогой и любовью.

— Допустим... — проговорил майор. (Ох, обидно ему стало! Такое женское сердце — и не его!) — Допустим... — произнес он. — А что вы делаете здесь в столь позднее время?..

Татьяна взяла его за уши и чмокнула в щеку. Фуражка сползла у Орехова набок, глаза разбежались.

— Что? — вымолвил он.

Но Таня чмокнула его второй раз. (Ну вот, казалось бы, кто мог ей подсказать, что именно так нужно поступить в нужную минуту?!)

“Конечно, — подумал майор Орехов, — плохой человек меня целовать не будет!” И тоже хотел поцеловать Таню, но она увернулась и... уже развязывала Подковкина.

— Бежим! — сразу заорал Подковкин, будто у него были связаны не руки, а язык.

И вся орава устремилась вперед.

Я наблюдал все это сверху, хотя телом продолжал висеть на суку. Я и тело свое видел, но мне не было его жалко, скорее грустно, как бывает грустно, когда приходится расставаться со старой, верно послужившей тебе одеждой...

Сверху или сбоку, а точнее — как-то отовсюду было отчетливо видно трех дураков, притащивших тяжелый ящик в туннель. Они вывели наружу бикфордов шнур и теперь спорили, кому сколько достанется богатства. Федька порывался поджигать, а Метла его останавливал и говорил: “Нет, мне за документ и за выслугу лет — восьмись процентов! А вам, козлам, и по десяти хватит, вы и на

них упьетесь вусмерть!“ Лопухий был против, он кричал: “Раз мы живем пока при сыциализме, то и делить надо поровну на всех!“ На него и старика! А Федыке просто заплакать за переноску тяжести и дать на бутылку, чтоб не обижался!

Федька кричал и бил себя в грудь кулаком: “Я коренной куямец, пля!.. И все тут, пля, принадлежит исконному населению!..“

Я просто укатывался от смеха, но молча, конечно. Рядом со мной тоже смеялся кто-то невидимый и беззвучный. А уж когда эти идиоты стали вспоминать свои заслуги и кичиться почетными грамотами, количеством выпиваемой водки, вспоминать армию и хвалиться самоволками, я чуть не захлебнулся и не подавился смехом. О, Боже, неужели и я столь же смешон, если смотреть на меня сверху или сбоку, или откуда-то отовсюду?!

Наконец эти дурареи договорились, что поделят все поровну, и каждый придвинул к себе увесистый камень. Незаметно, но мне-то отовсюду было хорошо видно.

Федька чиркнул спичкой (и рука у козла не дрогнула — коренной куямец!), огонек шустро побежал по шнуру в туннель. Взрывники зажали уши, зажмурились. И тут раздался хлопок выстрела. Пуля чиркнула по куямскому самороду и перерезала шнур в двух (!) сантиметрах перед огнем. Он угас покорно.

Непутевые грабители недр разинули глаза и обомлели — перед ними стоял майор Орехов... Вот кому выпало предотвратить гибель!

Я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться, а потом мне вдруг стало грустно, безразлично, душа моя (а это была она!) устремилась куда-то все быстрее и быстрее ввысь, и когда я, обернувшись, хотел увидеть Куямский лес, то увидел маленькую круглую Землю, а уже в следующий раз — только светящуюся точку, а больше уже не оборачивался.

Лето 1989 года.

ВИКТОР СУВОРОВ

АКВАРИУМ

Завершая публикацию "Аквариума" Виктора Суворова, редакция независимого альманаха "Конец века" информирует своих читателей: ведутся переговоры с доверенными лицами автора о публикации романа отдельным изданием в нашем книжном приложении. Следите за рекламой в очередных номерах "Конца века"!

Глава пятая

1

Львов — самый запутанный город мира. Много веков назад его так и строили — чтобы враги никогда не могли найти центр города. Природа все сделала для того, чтобы строителям помочь: холмы, овраги, обрывы. Улочки Львова спиралями скручены и выбрасывают непрошеного посетителя то к оврагу отвесному, то в тупик. Видно, я этому городу тоже враг. Центр города я никак отыскать не могу. Среди каштанов мелькают купола собора. Вот он рядом. Вот обогнуть пару домов... Но переулок ведет меня вверх, ныряет под мост, пару раз круто ломается, и я больше не вижу собора, да и вообще с трудом представляю, в каком он направлении. Вернемся назад и повторим все сначала. Но и это не удастся. Переулок ведет меня в густую паутину кривых, горбатых, но удивительно чистых улочек и наконец выбрасывает на шумную улицу с необычно маленькими, чисто игрушечными трамвайчиками. Нет, самому мне не найти, и вся моя диверсионная подготовка мне не поможет. Такси! Эй, такси! В штаб округа! В Пентагон? Ну да, именно туда, в Пентагон.

Огромные корпуса штаба Прикарпатского военного округа выстроены недавно. Город знает эти стеклянные глыбы под именем Пентагон.

Львовский Пентагон — это грандиозная организация, подавляющая новичка обилием охраны, полковничьих погон и генеральских лампасов.

Но на деле все не так уж сложно, как кажется в первый день. Штаб военного округа — это штаб, в распоряжении которого находится территория величиной с Западную Германию и с населением в семнадцать миллионов человек. Штаб округа отвечает за сохранность советской власти на этих территориях, за мобилизацию населения, промышленности и транспорта в случае войны. Кроме того, штаб округа имеет в своем подчинении четыре армии: воздушную, танковую, две общевойсковые. Вакануне войны штаб округа превратится в штаб фронта и будет управлять этими армиями в войне.

Организация штаба округа точно такая же, как и организация штаба армии, с той разницей, что тут все на ступень больше. Штаб состоит не из отделов, а из управлений, а управления в свою очередь делятся на отделы, а те на группы. Зная организацию штаба армии, тут совсем легко ориентироваться.

Все ясно. Все понятно и логично. Мы, молодые пришельцы, еще раз стараемся во всем убедиться и всюду суем свои носы: а это что? а это зачем?

Бывший начальник разведки Прикарпатского военного округа генерал-майор Берестов смещен, а за ним ушла и вся его компания: старики на пенсию, молодежь в Сибирь, на Новую Землю, в Туркестан. Начальником разведки назначен полковник Кравцов, и мы — люди Кравцова — бесцеремонно гуляем по широким коридорам львовского Пентагона. Строился он недавно и специально как штаб округа. Тут все рассчитано, тут все предусмотрено. Наше 2-е Управление занимает целый этаж во внутреннем корпусе колоссального сооружения. Одно нехорошо — все наши окна выходят в пустой огромный, залитый бетоном двор. Наверное, так для безопасности лучше. Отсутствие хорошего вида в окнах — пожалуй, единственное неудобство, а в остальном все нам подходит. И нравятся нам и разумная планировка, и огромные окна, и широкие кабинеты. Но больше всего нам нравится уход наших предшественников, которые совсем недавно контролировали всю разведку в округе, включая и в нашей 13-й армии. А теперь этих ребят судьба разметала по дальним углам империи. Власть — дело деликатное, хрупкое. Власть нужно крепко держать. И осторожно.

2

На новом месте вся наша компания, и я в том числе, обживаемся быстро. Работа у нас все та же, только тут размах шире. Тут интереснее. Меня уже знают, и мне уже улыбаются в штабе. У меня уже хорошие отношения с ребятами из “инквизиции” — из группы переводчиков, мне уже рассказывают анекдоты шифровальщики с узла связи и операторы с центра радиоперехвата. Но и за пределами 2-го Управления меня уже знают. Прежде всего в боевом планировании — в 1-м Управлении. Боевое планирование без наших прогнозов жить не может. Но им вход в наше управление запрещен, и потому они нас к себе зовут:

— Витя, что в ближайшую неделю супостат в Битбурге делать собирается?

Битбург — американская авиабаза в Западной Германии. И чтобы ответить на этот вопрос, я должен зарыться в свои бумаги. Через десять минут я уже в 1-м Управлении:

— Активность на аэродроме в пределах нормы, одно исключение: в среду прибывают из США три транспортных самолета C-141.

Когда мы такие прогнозы выдаем, операторы улыбаются: “Хорошо “тот парень” работает!”

Им, операторам, знать не положено, откуда дровишки к нам по-

ступают. Но операторы — люди и тоже шпионские истории читают, и оттого они наверняка знают, что у Кравцова есть супершпион в каком-то натовском штабе. Супершпиона они между собой называют “тот парень”. Хвалят “того парня” и довольны им очень офицеры боевого планирования. Действительно, есть у Кравцова люди завербованные. Каждый военный округ вербует иностранцев и для получения информации, и для диверсий. Но только в данном случае “тот парень” ни при чем. То, что от секретной агентуры поступает, то Кравцов в сейфе держит и мало кому показывает. А то, чем мы боевое планирование питаем, имеет куда более прозаическое происхождение. Называется этот источник информации — графики активности. И сводится этот способ добывания информации к внимательному слежению за активностью радиостанций и радаров противника. На каждую радиостанцию, на каждый радар дело заводится: тип, назначение, где расположена, кому принадлежит, на каких частотах работает. Очень много сообщений расшифровывается нашим пятым отделом. Но есть радиостанции, сообщения которых расшифровать не удастся годами. И именно они представляют для нас главный интерес, ибо это и есть самые важные радиостанции. Понятны нам сообщения или нет, на станцию заводится график активности, и каждый ее выход в эфир фиксируется. Каждая станция имеет свой характер, свой почерк. Одни станции днем работают, другие ночью, третьи имеют выходные дни, четвертые не имеют. Если каждый выход в эфир фиксировать и анализировать, то скоро становится возможным предсказывать ее поведение.

А кроме того, активность радиостанций в эфире сопоставляется с деятельностью войск противника. Для нас бесценны сведения, поступающие от водителей советских грузовиков за рубежом, от проводников советских поездов, от экипажей Аэрофлота, от наших спортсменов и, конечно, от агентуры. Сведения эти отрывочны и не связаны: “Дивизия поднята по тревоге”, “Ракетная батарея ушла в неизвестном направлении”, “Массовый взлет всех самолетов”. Эти кусочки наша электронная машина сопоставляет с активностью в эфире. Замечаются закономерности, учитываются особые случаи и исключения из правила. И вот, в результате многолетнего анализа становится вполне возможным сказать: “Если вышла в эфир РБ-7665-1, значит, через четыре дня будет произведен массовый взлет в Рамштейне”. Это нерушимый закон. А если вдруг заработает станция, которую мы называем Ц-1000, тут и ребенку ясно, что боеготовность американских войск в Европе будет повышена. А если, к примеру...

— Слушай, Витя, мы, конечно, понимаем, что нельзя об этом говорить... Но вы уж того... Как бы сказать понятнее... В общем, вы берегите “того парня”.

Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься, кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если ни с кем, опять же проверка: а почему?

— Товарищ полковник, старший лей...

— Садись, — приказывает он.

Он — это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской военной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, из которых в разведку пришел. Я, к примеру, танкист, Кравцов — артиллерист. В разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы, и химики. А полковник Марчук — медик. На малиновых петлицах чаша золотистая да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно, как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблему посвоему расшифровывают: хитрый, как змей, и выпить не дурак.

Марчук смотрит на меня тяжелым, подавляющим взглядом. Гипнотизер, что ли? Мне от этого взгляда не по себе. Но я его выдерживаю. Тренировка у меня на этот счет солидная. Каждый в Спецназе на собаках тренируется. Если смотреть в глаза собаке, то она человеческого взгляда не выдерживает. Человек может ревущего пса взглядом остановить. Правда, если пес один, а не в своре. Против своры нужно ножом взгляду помогать. В глаза ей смотришь, а ножичком под бочок ей, под бочок. А тогда на другую начинай смотреть.

— Вот что, Суворов, мы на тебя внимательно смотрим. Хорошо ты работаешь и нравишься нам. Мозг у тебя, вроде как электронная машина... ненастроенная. Но тебя настроить можно. В это я верю. Иначе тебя бы тут не держали. Память у тебя отменная. Способность к анализу развита достаточно. Вкус у тебя точный. Девочку из группы контроля ты себе хорошую присмотрел. Звонкая девочка. Мы ее знаем. Она к себе никого не подпускала. Ишь ты какой. А вроде ничего в тебе примечательного нет...

Я не краснею. Не институтка. Я офицер боевой. Да и кожа у меня не та. Шкура у меня азиатская, и кровь азиатская. Оттого не краснею. Физиология не та. Но как, черт их побери, они про мою девочку узнали?

— Как ни печально, Суворов, но мы обязаны такие вещи знать. Мы обязаны о тебе все знать. Такая у нас работа. Изучая тебя, мы делаем заключения, и в своем большинстве это положительные заключения. Больше всего нам нравится прогресс, с которым ты освобождаешься от своих недостатков. Ты почти не боишься теперь высоты, закрытых помещений. С кровью у тебя хорошо. Крови ты

не боишься, и это исключительно важно в нашей работе. Тебя не пугает неизбежность смерти. С собачками у тебя хорошие отношения. Поднатаскать тебя, конечно, в этом вопросе следует. Но вот с лягушками и со змеями у тебя совсем плохо. Боишься?

— Боюсь, — признался я. — А вы как узнали?

— Это не твоя проблема. Твоя проблема научиться змей не бояться. Чего их бояться? Видишь, у меня змеюги даже на петлицах сидят. А некоторые люди лягушек даже едят.

— Китайцы?

— Не только. Французы тоже.

— В голодный год я, товарищ полковник, лучше бы людей ел...

— Они не от голода. Это деликатес. Не веришь?

Ну, конечно же, я этому не верю. Пропаганда. Мол, плохая жизнь во Франции. Если он настаивать будет, я, конечно, соглашусь, что плохо пролетариату во Франции живется. Но это только вслух. А про себя я останусь при прежнем мнении. Жизнь во Франции хорошая, и пролетариат лягушек не ест. Но не обманешь Марчука. Сомнение в моих глазах он разглядел без труда.

— Иди сюда.

В кинозал зовет, где нам фильмы секретные про супостата крутят. Марчук кнопку нажимает, и на экране замелькали кухня, повара, лягушки, кастрюли, красный зал, официанты, посетители ресторана. На фокусников посетители не похожи, но лапки съели.

— Ну что?

А что тут скажешь? Крыть вроде нечем. Но вот фильм недавно показывали "Освобождение", и Гитлер там. Но ведь это не Гитлер совсем, а артист из ГДР. Диц ему имя. Вот если бы ты, полковник, сам лягушку съел, тут бы я тебе поверил, а в кино что угодно показать можно, даже Гитлера, не то что лягушек.

— Ну, что? — повторяет он.

Что ему скажешь? Скажи, что поверил, он тут же и прицепится, да как же ты, разведчик, такой чепухе поверил? Я тебе всякую чушь показываю, а ты веришь? Да как же ты, офицер информации, сможешь отличать ценные документы от сфабрикованных?

— Нет, — говорю, — этому фильму я поверить не могу. Подделка. Дешевка. Если людям есть нечего, то они в крайнем случае могут съесть kota или собаку. Зачем же лягушек? — мне ясно совершенно, что фильм учебный. Сообразительность проверяют. Вон у дамы какой пудель пушистый был. Тут меня проверяют, заметил я пуделя или нет. Ну, конечно, я его заметил. И вывод делаю, которого вы явно от меня добиваетесь: не станет нормальный человек лягушку есть, если у него в запасе есть пудель. Нелогично это.

А Марчук уже сердится:

— Лягушки денег стоят, и немалых.

Я молчу. В полемику не ввязываюсь. Каждому ясно, что не могут быть лягушки дорогими. Но с полковником соглашаюсь дипломатично, неопределенно, оставляя лазейку для отхода:

— С жиру бесятся. Буржуазное разложение.

— Ну вот. Наконец поверил. Я тебе фильм вот зачем показал: люди их едят, а ты даже в руки их взять боишься. Откровенно говоря, лягушку или змею я сам в руки взять не могу, но мне это и не надо. А ты, Виктор, начинающий молодой перспективный офицер разведки, и тебе это надо.

Внутри холодеет все: неужели и есть заставят? Марчук психолог. Он мои мысли, как в книге, читает:

— Не бойся, есть мы тебя лягушек не заставим. Змей, может быть, а лягушек — нет.

4

Солдатик совсем маленький. Личико детское. Ресницы длинные, как у девочки. Диверсант. Спецназовец. Четыре батальона диверсионной бригады огромными солдатами укомплектованы. Идут по городку, как стая медведей. Но одна рота в бригаде укомплектована разнокалиберными солдатиками, совсем маленькими иногда. Это особая профессиональная рота. Она опаснее, чем все четыре батальона медведей вместе взятых.

Тоненькая шейка у солдатика. Фамилия нерусская у него — Кипа. Однако в особой роте он не зря. Значит, он специалист в какой-то особой области убийств. Видел я однажды, как он отбивал атаку четверых, одетых в защитные доспехи, вооруженных длинными шестами. Отбивался он от шестов обычной саперной лопаткой. Не было злости в нем, а умение было. Такой бой всегда привлекает внимание. Куда бы диверсант ни спешил, а если видит, что на центральной площадке бой идет, обязательно остановится посмотреть. Ах, какой хороший бой был! И вот солдатик этот передо мной. Чему-то он меня обучать будет. Вот достает он из ведра маленькую зеленую лягушку и объясняет, что лучше всего привыкать к ней, играя. С лягушкой можно сделать удивительные вещи. Можно, например, вставить соломинку и надуть ее. Тогда она на поверхности плавать будет, но не сможет нырнуть, и это очень смешно. Можно раздеть лягушку. Стриптиз сотворить. Солдатик достает маленький ножичек и показывает, как это нужно делать. Он делает небольшие надрезы на уголках рта и одним движением снимает с нее кожу. Кожа, оказывается, с нее снимается так же легко, как перчатка с руки. Раздетую лягушку Кипа пускает на пол. Видны все ее мышцы, косточки и сосуды. Лягушка прыгает по полу. Квакает. Такое впечатление, что ей и не больно совсем. Солдатик запускает руку в ведро, достает еще одну лягушку, снимает с нее кожу, как шкурку

банана, и пускает ее на пол. Теперь вдвоем прыгайте, чтоб не ску-
чали.

— Товарищ старший лейтенант, полковник Марчук приказал
мне показать вам все мое хозяйство и немного вас к этим зсерюш-
кам приучить.

— Ты и со змеями так же легко обращаешься?

— С ними-то я и обращаюсь. А лягушки в моем хозяйстве,
только чтобы змеюшек кормить.

— Ты и этих к змеям отправишь?

— Раздетых? Ага. Зачем добру пропадать?

Он берет двух голых лягушек и ведет меня в змеиный питом-
ник. Тут влажно и душно. Он открывает крышку и опускает двух
лягушек в большой стеклянный ящик, где застыла в углу серая от-
вратительная гадина.

— Тебя кто этому ремеслу обучал?

— Самоучка я. Любитель. С детства увлекался.

— Любишь их?

— Люблю, — сказал он это буднично и совсем не театралью.

И понял я — не врет солдатик. Любитель хулев. С твоими
змеями!

В этот момент обе голые лягушки пронзительно закричали. Это
толстая ленивая гадина наконец удостоила их своим вниманием.

— Садитесь, товарищ старший лейтенант.

Глянул я на стул. Убедился, что не свернулась на нем прохлад-
ная скользкая гадина. Сел. Передернуло меня.

Кипа улыбается:

— Через десять уроков вы сюда сами проситесь будете.

Но не сбылось его пророчество. Змеи мне все так же отврати-
тельны. Но все же я могу держать змею в руке. Я знаю, как хватать
ее голой рукой. Я знаю, как потрошить ее и жарить на длинной па-
лочке или на куске проволоки. И если жизнь поставит альтернати-
ву: съесть человека или змею, я сначала съем змею.

5

Много у тебя, брат диверсант, врагов. Ранний рассвет и позд-
ний закат — против тебя. Звенящий комар и ревуший вертолет —
твой враги. Плохо тебе, брат, когда солнце в глаза. Плохо тебе, па-
рень, когда попал ты под луч прожектора. Плохо тебе, когда сердце
твое галопом скачет. Плохо тебе, когда тысячи электронных уст-
ройств эфир прослушивают, ловя твой хриплый шепот и срываю-
щееся дыхание. Плохо тебе, брат, всегда. Но бывает хуже. Бывает
совсем плохо. Совсем плохо — это когда появляется твой главный
враг. Много еще против тебя придумают всяких хитростей: проти-
вопехотных мин и электронных датчиков, но главный враг всегда

остается главным. У главного твоего врага, мой друг, уши торчком, желтые клыки с каплями злой слюны, серая шерсть и длинный хвост. Глаза у него карие с желтыми крапинками и рыжая шерсть под ошейником. Главный твой враг быстрее тебя. Он твой запах носом чувствует. У главного твоего врага прыжок гигантский, когда он на твою шею бросается.

Вот он. Вражина. Главный. Наиглавнейший. У, гад, как клычищи-то оскалил. Шерсть дыбом. Хвост поджал. Уши прижал. Это перед прыжком. Сейчас, зараза, прыгнет. Не рычит. Хрипит только. Слюна липкая вокруг пасти. Точно бешеный. В КГБ для таких собак особая графа в персональном деле предусмотрена. Называется "злостность". И пишут умудренные специалисты в этой графе страшные слова: "злостность хорошая", "злостность отличная". У этого пса наверняка в графе о злостности одни восклицательные знаки. Зовут зверюгу Марс, и принадлежит он пограничным войскам КГБ. Не скажу, что огромен пес. Видел я псов и покрупнее. Но опытен Марс. И это все знают.

Сегодня не я против Марса. Сегодня против Марса Женя Быченко работает. Прокричали мы Жене слова напутственные, мол, держись, Женя, мол, насыпь ты ему, мол, продемонстрируй хватку диверсантскую и все, чему тебя в Спецназе учили. Советы в таком деле кричать не положено, не принято. Совет, даже самый расчудесный, в самый последний момент может отвлечь внимание бойца, и вцепится ему свирепое животное прямо в глотку. Оттого советчиков в такой ситуации посылают подальше.

Нож Женя в левой руке держит, а куртку — в правой. Но не обмотал он руку курткой. Просто ее на весу держит на вытянутой вперед руке. Не нравится это псу. Необычно это. И нож в левой руке не нравится. Почему в левой? Не спешит пес. Взгляд свой звериный бросает с ножа на глотку и с глотки на нож. Но и на куртку пес смотрит. Почему ее человек вокруг руки не обернул? Знает серый своим песьим разумением, что у человека только одна рука решающая, вторая только дополняющая, только отвлекающая. И надо ему, псу, не ошибиться. Надо ему на ту руку броситься, которая страшнее, которая решающая. А может, все же за горло? Бросает свой взгляд пес, выбирает. Когда он свое песье решение примет, то остановится его взгляд и бросится он. И человек на арене, и мы, зрители, ждем именно этого момента. Перед прыжком у собаки взгляд останавливается, и у человека будет короткое мгновение для встречного удара. Но опытен Марс. И бросился он внезапно без рыка и хрипа. Бросился он, как другие собаки не бросаются. Бросился Марс, не остановив своего взгляда, не сжавшись перед прыжком. Его длинное тело вдруг повисло в воздухе, его пасть, его страшные глаза вдруг полетели на Женю, и не крикнул никто, не визгнул. Момент прыжка не уловил никто. Мы прыжок ожидали секундой

позже. И оттого в тишине пса на Женькино горло летел. Только Женькина куртка стегнула серого по глазам. Только черный его сапог подковой сверкнул. Только взвыл пс, отлетев в угол. Взревели мы от восторга. У-у-у-у-у-у... Зарычали мы, как кабаны дикие. За-визжали мы от радости.

— Режь его, Женька! Режь серого! Ножичком его, ножичком! Топчи серого, пока не встал!

Но не стал Женька топтать пса скулящего. Не стал резать задыхающегося. Перемахнул Женька через барьер прямо в объятия ликующей диверсантской братии.

У, Женька! Как ты его сапожищем-то! На выдохе поймал! На излете! В полете прямо! Женька!

А на арене в опилках возле издыхающего пса плакал солдатик в ярко-зеленых погонах и зачем-то совал в окровавленную звериную пасть кусочек замусоленного сахара.

6

— Товарищ старший лейтенант, вас вызывает начальник строевого отдела.

— Иду.

Из всех отделов штаба строевой отдел самый маленький. В штабах военных округов отделами обычно командуют полковники, управлениями — генерал-майоры, и только в строевом отделе начальником майор. Но когда офицера в строевой отдел вызывают, он подтягивается весь. Что же, черт побери, ждет меня? Строевой отдел — это небольшой зал, в котором старый седой майор, крыса канцелярская, да трое ефрейторов-писарей. Мурашки по коже бегут у любого, когда в строевой отдел вызывают. Неважно, старший лейтенант ты или генерал-майор. Строевой отдел — это учреждение, в котором воля командующего округом превращается в письменный приказ. А что написано пером... Строевой отдел — это канал, по которому Верховный Главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба доводят свои приказы до подчиненных. Строевой отдел эти приказы доводит до тех, кому они адресованы.

— Товарищ майор! Старший лейтенант Суворов по вашему приказанию прибыл!

— Удостоверение на стол.

Вздыхнул я глубоко, маленькую зеленую книжечку с золотой звездой перед майором положил. Майор спокойно взял “Удостоверение личности офицера”, внимательно осмотрел его, почему-то долго рассматривал страницу, где зарегистрировано мое личное оружие, и страницу, где обозначена моя группа крови. Ни один мускул на его дряблом лице не дрогнет. Делает он свою работу точно,

как машина, и бесстрашно, как палач. Майор ефрейтору передал удостоверение. У ефрейтора на столе уже все готово. Обмакнул ефрейтор длинное золотое перо в черную тушь и что-то аккуратно написал в нем. Я стою вытянувшись, но шею не вытягиваю, чтобы ефрейтору через плечо глянуть. Потерпим. Через минуту объявит майор чье-то решение. Промокнул ефрейтор черную тушь, удостоверение майору возвращает. Глянул майор на меня испытующе, достал из маленького потайного карманчика затейливый ключ на цепочке, открыл огромную дверь сейфа, достал большую печать, долго примерялся и вдруг четко и резко ударил ею по только что испи-санной странице удостоверения.

— Слушай приказ!

Вытянулся я.

— Приказ по личному составу Прикарпатского военного округа № 0257. Секретно. Пункт 17. Старшему лейтенанту Суворову В.А., офицеру 2-го Управления штаба округа, присвоить досрочно воинское звание капитан в соответствии с представлением начальника 2-го Управления полковника Кравцова и начальника штаба округа генерал-лейтенанта Володица. Подпись: генерал-лейтенант танковых войск Обатуров.

— Служу Советскому Союзу!

— Поздравляю вас, капитан.

— Спасибо, товарищ майор. Примите приглашение на вынос тела.

— Спасибо, Витя, за приглашение. Но не могу я его принять. Если бы я каждое предложение принимал, то спился бы давно. Не обижайся. Вот только сегодня 116 человек в списке, 18 из них досрочно. Не обижайся, Витя.

Майор протянул мне удостоверение и руку.

— Еще раз спасибо, товарищ майор.

Лечу я, как на крыльях, по лестницам и коридорам.

— Ты чего счастливый такой?

— Тебя зачем к Барсуку в нору вызывали?

Не отвечаю никому. Нельзя отвечать сейчас. Плохая примета. Первым присвоении командир мой должен узнать, и никто больше.

Ах, скорее в отдел. Уж эти чертовы двери броневые, эти допуски и пропуски.

— Товарищ полковник, разрешите войти.

— Войди, — Кравцов от карты не отрывается.

— Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов. Представляюсь по случаю досрочного присвоения воинского звания капитан.

Осмотрел меня Кравцов. Почему-то под ноги себе глянул.

— Поздравляю, капитан.

— Служу Советскому Союзу!

— В Советской Армии капитан больше всех звездочек имеет,

аж четыре. У тебя, Витя, в этом отношении максимум. Поэтому я не желаю тебе много звездочек, я тебе желаю мало звездочек, но больших.

— Спасибо, товарищ полковник. Разрешите пригласить вас на вынос тела.

— Когда?

— Сегодня. Когда же еще?

— Что ты думаешь, если мы на завтра перенесем? В ночь нам на подготовку учений ехать. Перепьются ребята вечером, не соберешь их. А выйдем в поле, там завтра и справим.

— Отлично.

— На сегодня ты свободен. Помни, что выезжаем в три ночи.

7

Учения обычно из года в год проводят на одних и тех же полях и полигонах. Штабные офицеры хорошо знают местность, на которой развернутся учебные бои. И все же перед большими учениями офицеры, которым предстоит действовать в качестве посредников и проверяющих, должны еще раз выйти на местность и убедиться в том, что все к учениям готово: местность оцеплена, макеты, обозначающие противника, расставлены, опасные зоны обозначены специальными указателями. Каждый проверяющий на своем участке должен прочувствовать предстоящее сражение и подготовить для своих проверяемых и обучаемых вводные вопросы и ситуации, соответствующие именно этой местности, а не какой-либо другой.

Оттого что проверяющие знают районы предстоящих учений неплохо (многие здесь имели свой лейтенантский старт, тут их самих когда-то кто-то проверял), выезд на местность перед учениями превращается в своего рода маленький пикник, небольшой коллективный отдых, некоторую разрядку в нервной штабной суете.

— Всем все ясно?

— Ясно, — дружно взревели штабные.

— Тогда и отобедать пора. Прошу к столу. Сегодня Витя Суворов нас угощает.

Стола, собственно, никакого нет. Просто десяток серых солдатских одеял расстелены на чистой полянке в ельнике у звенящего ручья. Все, что есть, — все на столе: банки рыбных и мясных консервов, розовое сало ломтиками, лук, огурцы, редиска. Солдаты-водители картошки в костре напекли да ухи наварили.

Я полковнику Кравцову рукой на почетное место указываю. Традиция такая. Он отказывается и мне на это место указывает. Это тоже традиция. Я отказаться должен. Дважды. А на третий раз должен приглашение принять и Кравцову место указать справа от

себя. Все остальные сами рассаживаются по старшинству: заместители Кравцова, начальники отделов, их заместители, потом старшие групп, ну, и все остальные.

Буылки на стол расставлять должен самый молодой из присутствующих. Это Толя Бутурлин — лейтенант из “инквизиции”, из группы переводчиков то есть. Добрый парень. Но работу свою серьезно делает. Традиция запрещает ему сейчас улыбаться. Все остальные тоже серьезны. Не положено сейчас ни улыбаться, ни разговаривать. И вопросы не положено задавать, отчего во главе стола старший лейтенант сидит. Ясно всем, почему холодные буылки расставляют, но неприлично о них говорить, и о причине их появления тоже. Сиди да помалкивай степенно.

Буылки Толик из ручья носит. Они там аккуратной горкой в ледяной воде сложены. Играет вода на прозрачном стекле, журчит да пенится.

— Где ж твой сосуд? — так спросить положено.

— Вот он, — подаю Кравцову большой граненый стакан.

Наливает Кравцов стакан по ободок прозрачной влагой. Передо мной ставит. Аккуратно ставит. Ни одна капля пролиться не должна.

Но и стакан полным быть должен. Чем полнее, тем лучше. Молчат все. Вроде бы и не интересуется их происходящее. А Кравцов достает из командирской сумки маленькую серебристую звездочку и осторожно ее в мой стакан опускает. Чуть слышно та звездочка звякнула, заиграла на дне стакана, заблестела.

Беру я стакан, ах, не плеснуть бы, к губам несую. Губы навстречу стакану тянуть не положено, хотя так и подсказывает природа отхлебнуть самую малость, тогда и не прольешь ни капли. Выше и выше свой стакан поднимаю. Вот солнечный луч ворвался в ледяную жидкость и рассыпался искрами многоцветными. А вот теперь от солнца стакан нужно чуть к себе и вниз. Вот он и губ коснулся. Холодный. Потянул я огненный напиток. Донышко стакана выше и выше. Вот звездочка на дне шевельнулась и медленно к губам скользнула. Вот и коснулась губ она. Офицер звездочку свою новую как бы поцелуем встречает. Звездочку чуть-чуть губами придержал, пока огненная влага из стакана в душу мою журчала. Вот и все. Звездочку я осторожно левой рукой беру и вокруг себя смотрю: стакан-то разбить надо. На этот случай на мягкой траве чьей-то заботливой рукой большой камень положен. Хряснул я тот стакан об камень, звонкие осколки посыпались, а звездочку мокрую полковнику Кравцову подаю. Кравцов на моем правом погоне маленькой командирской линейкой место вымеряет. Четвертая звездочка должна быть прямо на красном просвете, а центр ее должен отстоять на 25 миллиметров выше предыдущей. Вот она, мокрая, и встала на свое место. Теперь мое время закусить, запить, огурчиком водочку осадить.

— Где ж твой стакан? — так спросить положено.

Два плеча. Два погона. Значит, и две звездочки. Значит, и два стакана... в начале церемонии.

Подаю я второй стакан. Снова в нем огненно-ледяная жидкость заиграла. Снова до краев.

Встал я. Стоя пить легче. Встать разрешается. Никто тут не возразит. Можцо было и первый стакан стоя пить. Традиция этому не препятствует. Лишь бы стаканы полными были. Лишь бы не ронял офицер драгоценные бриллиантовые капли.

Сверкнула вторая звездочка-красавица в водочном потоке. Пошла огненная благодать по душе. Зазвенели осколки битые. Вот и на втором погоне мокрая да остроконечная появилась. Теперь Кравцов себе наливает. До краев. И каждый в тишине сам себе льет. Своя рука — владыка. Лей, сколько хочешь. Если Витю Суворова уважаешь, так полный стакан лей. А уж коли не уважаешь, лей, сколько знаешь. Только пить до дна.

— Выпьем... — смиренно предлагает полковник.

Не положено в такую минуту говорить, за что пьем. Выпьем, и все тут. Пьют все медленно да степенно. Все до дна пьют. Только я не пью. Теперь мое право на каждого смотреть. Кто сколько налил себе. Кто полный стакан, а кто на две трети. Но полные у всех были. А теперь вот сухие у всех. Теперь мне и улыбнуться можно. Но широко. Ибо по традиции я все еще старший лейтенант, хотя приказ вчера был, хотя сегодня мне уже и звезды новые на погоны повесили.

Вот и Кравцов допил. Чуть водичкой запил. Теперь фраза должна ритуальная последовать:

— Нашего полку прибыло!

Вот именно с этого момента считается, что офицер повышение получил. Вот только с этого момента я — капитан.

Закричали все, зашумели. Улыбки у всех. Пожелания, поздравления. Теперь все говорят. Теперь смеются все. Теперь церемонии кончились. Теперь традиции побоку. Пьянка офицерская начинается. И если правда в вине, то быть ей сегодня всецело на нашей стороне. Беги, Толик, к ручью. Беги, Толик. Ты моложе всех. Будет, Толик, и твое время. Будет праздник и на твоей улице. Будет обязательно.

Жара. Пыль. Песок на зубах хрустит. Степь от горизонта до горизонта. Солнце белое, жестокое и равнодушное бьет безжалостно в глаза, как лампа следователя на допросе. Редко-редко где уродливое деревце, изломанное степными буранами, нарушает пугающее однообразие.

Добрый человек, плюнь, перекрестись да возвращайся домой. Нечего тебе тут делать. А мы, грешные, пойдем вперед, туда, где выжженная степь вдруг обрывается крутым берегом грязного Ингула, туда, где в дрожащем мареве столпились скелеты караульных вышек, туда, где десятки рядов колючей проволоки безнадежно опутали чахлые рощицы. Деревца тощие. Листья серые под толстым слоем пыли. Может, вышки-то не караульные? Может, геологи? Может, нефть? Какая, к черту, нефть! Вышки с прожекторами и с пулеметами. Много вышек. Много прожекторов. Много пулеметов. Ну, значит, не ошиблись мы. Значит, правильный путь держим. Верной дорогой идете, товарищи! Сюда нам. Желтые Воды. Будет время, и будет это название звучать так же страшно, как Катынь, Освенцим, Суханово, Бабий Яр, Бухенвальд, Кыштым. Но не наступило еще то время. И потому, услышав это страшное название, не вздрагивает обыватель. Не корбит его от этого названия, и мурашки по коже не бегут. Да и не только у обывателя это название никаких ассоциаций не вызывает, но и у эков, которых бесконечной колонной гонят со станции к вышкам. Рады многие: не Колыма, не Новая Земля, Украина, черт побери, живем, ребята. И не скоро узнают они, а может, и никогда не узнают, что Центральный Комитет имеет прямую связь с директором “глиноземного завода”, на котором им предстоит работать. Не положено им знать, что из Центрального Комитета каждый день звонят большие люди директору завода, производительностью интересуются. Важен завод, важнее Челябинского танкового. И не очень вам, ребята, повезло, что гонят вас сюда. И не радуйтесь пайке жирной и щам с мясом. Того, у кого зубы начнут выпадать да волосы, заберут в другое место. Того, кто догадается, что тут за глинозем, — тоже быстро заберут. А уж если вы все там в лагере взбунтуетесь, то охрана в Желтых Водах надежная, а если нужно, то и мы поможем. Имейте в виду, рядом с вами соседствует самый большой учебный центр Спецназа. С этим не играйте. Лучше уж подышайте понемногу, не рыпаясь, на... “глиноземном заводе”.

9

Мы работаем. Мы работаем дни и ночи. И уже не различаешь дней и ночей. Все несется серым колесом. Прыжки дневные. Прыжки ночные. Прыжки со сверхмалой. Прыжки со средних высот. Прыжки с катапультированием, но это не для всех. Прыжки из стратосферы, это тоже для избранных. Соревнования. Соревнования. Соревнования. И снова прыжки. Горькая пыль на губах. Красные глаза. Злость наружу просится. Иногда апатия полная. И уже укладываем парашюты свои без трепета. Скорей бы сложить да по-

спать минут тридцать. Может, проверить укладку еще раз? Да ну ее на... Учебные бои. Напалм. Собаки. МВД. КГБ. Опять стрельбы, и опять прыжки.

А смерть рядом с нами ходит. Нет, никого она под свои черные крылья не прибрала. Но рядом, старуха. Не дремлет. В 112-м отдельном батальоне новый парашют проверяют, Д-1-8. Плохой парашют. Боятся его спецназы. Не хотят на Д-1-8 прыгать. Что-то не так в нем. На каждые сто прыжков минимум один перехлест приходится. Тут и конструктор парашюта, и испытатели. Объясняют, что уложили мы не так, хранили не так. Ну вас всех на... а гробиться нашему брату. Старшина из 112-го батальона прыгал, перехлестнуло ему стропы через купол, он их стропорезом полоснул. Хорошо приземлился. Мягко. А ему шутки на земле: надо ж было не с маху полосовать стропы, а найти, где они шелковой ниточкой сшиты, да ниточку аккуратно и распустить. А старшина после прыжка такого совсем шуток не понимает. Да матом шутников. И конструктора заодно.

Рядом смерть с нами. Вон за теми заборами. Желтые Воды рядом. Концлагеря. Уран. А значит, и смерть. Не тут ли каждый начальник себе “кукол“ да “гладиаторов“ подбирает? Запретные зоны. Вышки сторожевые. Вышки парашютные. Все рядом. Концлагерь и мы. Зачем это? Чтобы нас пугать? А может, еще какая причина есть держать главный учебный центр Спецназа рядом с урановыми рудниками? Рядом с концлагерями. Рядом со смертью.

10

— Капитан, есть предварительное решение Генерального штаба забросить тебя в тыл противника для выполнения особого задания, — незнакомый генерал измерил меня тяжелым взглядом. — Сколько времени надо на подготовку?

— Три минуты, товарищ генерал.

— Почему не пять? — он впервые улыбнулся.

— Мне только в туалет сбегать, три минуты достаточно, — и понимая, что мою шутку он может не оценить, я добавил: — Всю ночь меня сюда в автобусе везли, там никакой возможности не было.

— Николай Герасимович, — обратился генерал к кому-то, — проводите капитана в туалет.

Через две с половиной минуты я вновь стоял перед генералом.

— Теперь готов?

— Готов, товарищ генерал.

— Куда угодно?

— В огонь и в воду, товарищ генерал.

— И тебя не интересует куда?

— Интересует, товарищ генерал.

— Если бы мы решили тебя готовить к выполнению задачи очень долго. Например, пять лет. Как бы ты отнесся к этому?

— Положительно.

— Почему?

— Это означает, что задание будет действительно серьезным. Это мне подходит.

— Что ты, капитан, знаешь о 10-м Главном управлении Генерального штаба.

— Оно осуществляет поставки вооружения всем, кто борется за свободу, готовит командиров для национально-освободительных движений, направляет военных советников в Азию, Африку, на Кубу...

— Как бы ты отнесся к предложению стать офицером 10-го Главного управления?

— Это была бы высшая честь для меня.

— 10-е Главное управление направляет советников в страны с жарким влажным и с жарким сухим климатом. Что бы ты предпочел?

— Жаркий влажный.

— Почему?

— Это Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Там воюют. А в жарком сухом сейчас прекращение огня...

— Ты ошибаешься, капитан. Воюют всегда и везде. Перемирия никогда нигде нет и не будет. Война идет постоянно. Открытая война иногда прерывается, но тайная никогда. Мы рассматриваем вопрос об отправке тебя на войну. На тайную войну.

— В КГБ.

— Нет.

— Разве бывает тайная война без участия КГБ?

— Бывает.

— И эту войну ведет 10-е Главное управление?

— Нет, ее ведет 2-е Главное управление Генерального штаба — ГРУ. Для прикрытия своего существования ГРУ использует разные организации, в том числе и 10-е Главное управление. Тебя, капитан, мы отправим на экзамены в тайную академию ГРУ, но все будет организовано так, как будто ты становишься военным советником. 10-е Главное управление — это твое прикрытие. Все документы будут оформляться только в 10-е Главное управление. Это управление вызовет тебя в Москву, а там мы тайно заберем тебя к себе сдавать экзамены...

— А если я экзаменов не сдам?

Он брезгливо фыркнул.

— Тогда мы тебя и вправду отдадим в 10-е Главное управление, и ты действительно станешь военным советником. Они тебя возьмут, ты им нравишься. Но ты и нам нравишься. Мы уверены, что ты наши экзамены сдашь, иначе мы бы с тобой сейчас не беседовали.

— Все ясно, товарищ генерал.

— А коль так, необходимо выполнить некоторые формальности.

Он извлек из сейфа хрустящий, как новенький червонец, лист бумаги с гербом и грифом “Совершенно секретно”.

— Прочитай и подпиши.

На листе двенадцать коротких пунктов. Каждый начинается словом “запрещается” и завершается грозным предупреждением: “Карается высшей мерой наказания”. А заключение гласило: “Попытка разглашения данного документа или любой его части карается высшей мерой наказания”.

— Готов?

Вместо ответа я только кивнул. Он придвинул мне ручку. Я подписал, и лист исчез в недрах сейфа.

— До встречи в Москве, капитан.

Глава шестая

1

Мать Россия, ты машешь мне детской рукой с железнодорожной насыпи, ты открываешь передо мной свои необозримые дали. Осинки, березки, елочки, разграбленные церкви, девочки на сенокосе, заводские трубы, и опять дети на насыпи. Они машут мне вслед и улыбаются мне. Мосты, мосты. Десна-река прогрохотала стальными пролетами. Конотоп, Брянск, Калуга. Стучат колеса на стыках. Тук. Тук. Тук. Шумит вагон. В вагоне у нас пьянка. В вагоне все свои. Эшелон воинский. Чужих нет. В вагоне только военные советники. Будущие. И пьют обитатели вагона за свое будущее. За 10-е Главное управление. За генерал-полковника Окунева. Пошла бутылка новая по кругу. Пей, капитан! За звезды! Больших звезд тебе, капитан! Спасибо, майор, и тебе тоже! Глаза горят. Глаза у всех горят. Мы все мальчишки, помешанные на войне. Разве мы шли в училища ради того, чтобы проверять, как у солдат сапоги вычищены? Нет, мы шли в училища как романтики войны. И вот они, счастливы, которым 10-е Главное управление даст такую возможность. За “десятку”, братцы! За “десятку”!

Много нас в вагоне. Артиллерия, летчики, пехота, танкисты. Еще день назад мы не знали друг друга. Но все мы уже друзья. И снова бутылка по кругу. За вас, ребята, за вашу удачу. За ваши звезды. А куда же меня черти несут? В моих документах числится Куба, но это только потому, что в группе нет никого другого на Кубу. Тут очень много в Египет, много в Сирию. Некоторые во Вьетнам. Если бы был кто-то действительно на Кубу, то мне придумали бы что-то другое. Кравцов, конечно, догадывается, предполагает,

что Куба — только маскировка. Но ничего толком не знал и он. Кравцов. Генерал. Я видел его генералом. Но он был в запыленном комбинезоне и в голубом выгоревшем берете, такой же, как все, ничем не отличимый от солдат Спецназа. Я стараюсь представить его в настоящей генеральской форме с золотыми погонами и широкими лампасами. Но это не удастся. Я представляю его всегда только так, как в момент нашей самой первой встречи: в чистенькой гимнастерке, с погонами подполковника, с лицом молоденького капитана. Успехов вам, генерал!

2

Красная Пресня — самый мощный военный железнодорожный узел мира. Эшелоны. Эшелоны. Эшелоны. Тысячи людей. Все за колючей проволокой. Все за высокими заборами. Все под спящим светом прожекторов. Эшелоны с танками в Германию. Эшелоны с новобранцами в Чехословакию. Лязг и грохот. Маневровые тепловозы формируют составы. На Дальний Восток эшелон с пушками. Вот какие-то контейнеры. Охрана вокруг, как вокруг Брежнева. Склады. Склады. Склады. Погрузка и разгрузка. Эшелон демобилизованных солдат из Польши. И тут же тюремные вагоны. Окна узкие и длинные. Окна покрашены белой краской. Окна в решетках. Красная Пресня — это не только военный центр, это пересыльная тюрьма. Солдаты с овчарками. Красные погоны. Тюремный эшелон медленно уходит в зону. Ворота огромные, стальные. Колючая проволока. Голубой спящий свет. Тюремные эшелоны. В Бодайбо. В Череповец. В Северодвинск. В Желтые Воды. Огромные серые блоки военного пересыльного пункта. Группа советников в Южный Йемен! Пройдите в блок Б, комната 217. Советник на Кубу! Я. Капитан Суворов? Да. Следуйте за мной. Молодой стройный майор ведет меня мимо каких-то длинных заборов и штабелей из зеленых ящиков. Сюда, капитан. В небольшом дворике нас ждет санитарная машина с красными крестами. Пожалуйста, капитан. Дверь хлопнулась за мной, и машина тронулась. Пару раз она останавливалась — наверное, проверка при выходе из запретной зоны. И вот меня везут по Москве. Я знаю, что везут не по прямой дороге, а по улицам большого города. Машина часто поворачивает и подолгу стоит у светофоров на перекрестках. Но это только мои предположения. Видеть я ничего не могу — окна в салоне матовые, как в тюремном вагоне.

3

Удельное давление на грунт американского танка М-60? Какие противотанковые ракеты вам больше нравятся, американские или

французские? Почему? Почему винтовые лестницы в замках закручиваются снизу влево вверх, а не снизу вправо вверх? Почему у телеги передние колеса маленькие, а задние большие? Что такое “три линии”? Почему в русской винтовке Мосина нарезки идут слева вверх направо, а в японской винтовке Арисака наоборот? Каковы принципиальные недостатки роторного двигателя Венкеля? Сколько весит ведро ртути? Какой тип женщин вам нравится? Сколько номеров журнала “Огонек” выпускается в год? Кто первым применил “вертикальный охват”? Что означает буква “Л” в названии советского истребителя-бомбардировщика Су-7 БКЛ? Если бы вам приказали модернизировать американский стратегический бомбардировщик Б-58, какие параметры вы улучшили бы в первую очередь? Почему на германских танках “Пантера” была использована шахматная подвеска? В советской мотострелковой дивизии 257 танков, по вашему мнению, это количество нужно уменьшить или увеличить? На сколько? Почему? Как это повлияет на организацию снабжения дивизии? Вопросы сыплются один за другим. Времени на обдумывание никакого. Только задумался — следует новый вопрос. Кто такой Чехов? Это снайпер из 138-й стрелковой дивизии 62-й армии. А Достоевский? Странные вопросы. Кто не знает Достоевского? Николай Герасимович Достоевский — генерал-майор, начальник штаба 3-й ударной армии. Они смеются. Это, капитан, немного не то, чего мы хотим, но твои ответы мы принимаем. Они тебя характеризуют очень ярко. Если мы иногда смеемся, не обращай внимания. Не смущайся. А разве я когда-нибудь смущался?

4

Мне кажется, что мне задали миллион вопросов. Но позже я прикинул, что их было где-то около пяти тысяч: 50 вопросов в час, 17 часов, 6 дней. На некоторые вопросы приходится отвечать 5, а то и 10 минут. На другие уходят секунды. Иногда вопросы повторяются. Иногда один и тот же вопрос быстро повторяется несколько раз. Не надо нервничать. Отвечай быстрее. Не вздумай врать, не вздумай хитрить. Итак, сколько водки вы можете выпить за один раз? Вот фотографии десяти женщин. Какая вам нравится больше всех? 262 умножить на 16. Скорее. В уме. Это не очень трудно. Нужно сначала 262 умножить на десять, потом прибавить половину того, что получилось, потом еще 262. Экзаменатор смотрит в упор. Скорее, капитан. Такая чепуха. Я смотрю в потолок. Я мучительно складываю все вместе. Я смотрю прямо перед собой. Какому-то моему предшественнику задавали именно этот вопрос, и он тоненьким карандашом выписал все вычисления на зеленой бумаге, которой покрыт мой стол. Я хватаю готовый ответ и тут же соображаю, что это просто провокация. Не могло быть у моего предшественника то-

ленького карандашика. Не мог он под сверлящим взглядом тайно делать вычисления на бумаге. Я сжимаю челюсти и бросаю свой собственный ответ: 4192. Я даже не смотрю на зеленую бумагу, покрывающую мой стол. Я знаю, что там заведомо неправильный ответ. А вопросы сыплются, как горох: как бы вы, капитан, реагировали, если мы вам предложим торговать арбузами?

Иногда в зале один экзаменатор. Иногда их трое, иногда пятнадцать. Вот двести фотографий, опознайте тех, кого вы видели в этой комнате за время экзаменов. Время пошло. Теперь выберите тех, кого вы видели в этой комнате только однажды. В этом тексте зачеркните все буквы "О", подчеркните все буквы "А", обведите кругом все буквы "С". На действия этого субъекта внимания не обращайте, как и на передачи радио. Время пошло. Субъект корчит мне рожи, старается вырвать мой карандаш, выбивает стул из-под меня. А радио надрывается: зачеркни "С", подчеркни "О"... Иногда во время экзаменов прямо в комнату приносят роскошный обед, иногда забывают. Иногда отпускают в туалет по первому требованию, иногда приходится просить по три раза. Каждый день они подводят меня к последнему рубежу моих умственных и физических возможностей. И я, и они этот рубеж совершенно отчетливо чувствуем. Далеко за полночь я, не раздеваясь, валюсь на свою кровать и засыпаю мгновенно. Вот этого момента они и ждут: ослепительная лампа в глаза. 262 умножить на 16! Ну, скорее. В уме. Это так просто! Ты же уже на этот вопрос отвечал. Ну что же ты! 4192 — кричу я им. И свет гаснет.

5

Много позже я узнал, что тех, кто ответил правильно больше чем на 90% вопросов, сюда не принимают. Очень умные не нужны. И все же главное в экзаменах — это не установить уровень знаний. Совсем нет. Способность усваивать большое количество информации в короткое время при сильном возбуждении и при наличии помех — вот что главное. А кроме того, устанавливаются наличие или отсутствие юмора, уровень оптимизма, уравновешенность, способность к интенсивной деятельности, устойчивость настроения и многое другое.

— Что ж, парень, ты нам подходишь, — сказал мне на исходе шестого дня седой экзаменатор. — Организация у нас серьезная. Правила тут такие короткие, что понимает их даже тот, кто не хочет их понимать. Закон у нас простой: вход — рубль, выход — два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее — через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других — позорным и страшным, но для всех

нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она — эта труба...

6

Я думал, что лицо полковника будет преследовать меня всю жизнь в ночных кошмарах. Но он не снился мне никогда. А думал о нем я много. И вот что мне непонятно. Объяснили мне, что любил он деньги, любил выпить, женщин любил. За деньги и продался иностранным разведкам. Допустим, что так. Но у него были великолепные возможности бежать на Запад. Но он не бежал. На Западе было бы ему вдосталь и денег, и вина, и женщин. А в Москве он деньги все равно тратить не мог. Да и не разгуляешься особенно.

Бабник сбежал бы к бабам и деньгам, а он не бежал. А он над крематорием балансировал. Отчего, черт подери? Я кручусь на горячей подушке и уснуть не могу. Первая ночь без экзаменов. А может, телекамера за мной по ночам смотрит? Ну и хрен с ней! Я встаю и показываю кукиш во все углы. Если вы за мной и сейчас следите, то завтра в Центральный Комитет меня не повезут. Потом я решаю, что недостаточно показать им только кукиш, и потому показываю телекамере, если она действительно есть, все, что могу показать. Утром посмотрим, выгонят меня или нет. Продемонстрировав все, что могу, я удовлетворенно улегся на кровать и тут же уснул в твердой уверенности, что завтра меня выгонят в Сибирь командовать танковой ротой, а если нет, то тут жить можно и можно обходить контроль.

Я сплю в кровати блаженно и сладко. Я сплю крепко. Я знаю, что если меня в Аквариум примут, то это будет большая ошибка советской разведки. Я знаю, что если выход останется только один и только через трубу, то для меня этот выход не будет почетным. Я знаю, что и в своей постели я не умру. Нет, такие в своей постели не умирают. Ах, советская разведка, лучше бы ты меня сразу через трубу пропустила!

7

Меня вновь куда-то везут в закрытой машине с матовыми окнами. Я не вижу, куда, и меня никто не видит. Куда же это меня, в Центральный Комитет или в Сибирь? Наверное, все же в Центральный Комитет. Если бы в Сибирь, то мой чемодан со мной бы был, а раз нет чемодана, это может означать, что везут меня не совсем, на короткий визит, с возвращением туда, откуда везут.

За окном шумит огромный город, значит, мы где-то в центре. А может быть, это Лубянка? У Лубянки на площади Дзержинского всегда такой шум, как от Ниагарского водопада. Мне почему-то ка-

жется, что мы именно у Лубянки. Но в этом ничего странного: Центральный Комитет тут совсем рядом. Наша машина долго стоит, потом куда-то осторожно въезжает. Сзади лязг металлических ворот. Дверь открывается — выходите.

Мы в узеньком мрачном дворике. С четырех сторон высокие старинные стены. Сзади нас ворота. Сержанты КГБ у ворот. Несколько дверей выходит в мрачный дворик. У одних дверей тоже охрана КГБ. У остальных дверей охраны не видно. Сверху на карнизе воркуют голуби. Сюда, пожалуйста. Седой показывает какие-то бумаги. Сержант КГБ козыряет. Проходите. Седой знает дорогу. Он ведет меня бесконечными коридорами. Красные ковры. Сводчатые потолки. Кожаные двери. У нас вновь проверяют документы. Проходите. Лифт бесшумно поднимает нас на третий этаж. Снова коридоры. Большая приемная. Пожилая женщина за столиком. Подождите, пожалуйста. Ждем. Заходите, пожалуйста. Седой чуть подтолкнул меня сзади и закрыл дверь за мной, сам оставшись в приемной.

Кабинет высокий. Окна под потолок. Вида из окна никакого. В упор смотрит глухая стена, и голуби на карнизе. Стол дубовый. Худой человек в золотых очках за столом. Костюм коричневый, никаких знаков отличия: ни медалей, ни орденов. Хорошо в армии — посмотрел на погоны, да и начинай говорить: товарищ майор, товарищ подполковник... А как тут начинать? Поэтому я никак не начинаю. Я просто представляюсь:

— Капитан Суворов.

— Здравствуйте, капитан.

— Здравия желаю.

— Мы внимательно изучали вас и решили вас принять в Академию, после соответствующей подготовки, конечно.

— Благодарю вас.

— Сегодня 23 августа. Эту дату, капитан, запомните на всю жизнь. С этого дня вы входите в номенклатуру, мы поднимаем вас на очень высокий ее этаж — в номенклатуру Центрального Комитета. Помимо прочих исключительных привилегий, вам предоставляется еще одна: с этого дня вы не под контролем КГБ. С этого дня КГБ не имеет права задавать вам вопросы, требовать ответы на них, предпринимать какие-либо акции против вас. Если вы совершите ошибку — доложите о ней своему руководителю, он доложит нам. Если вы не доложите, мы все равно о вашей ошибке узнаем. Но в любом случае любое расследование ваших действий будет проводиться только руководством ГРУ или отделом административных органов ЦК. О любом контакте с КГБ вы обязаны докладывать своему руководителю. Благополучие ЦК зависит от того, как организации и люди, имеющие ранг номенклатуры ЦК, сумеют сохранить свою независимость от любых других организаций. Благопо-

лучие ЦК — это и ваше личное благополучие, капитан. Гордитесь доверием, которое Центральный Комитет оказывает военной разведке и вам лично. Желаю успехов.

Я четко козырнул и вышел.

8

Широкое озеро в лесу. По берегам камыш. Над обрывом березовая роща. Там, за высоким забором, наша дача. Крошечный пляж. Лодки вверх дном. На другом берегу тоже какие-то дачи бревенчатые. Также за зелеными заборами. Также под охраной. Зона тут особая. Дачи. Но дачи только для ответственных товарищей. И в эту дачную зону совсем не легко попасть. Дубовые рощи. Озера. Густые леса. Кое-где красные крыши. И вновь зеленые заборы. Проехать к нашему озеру только по одной дороге можно. Других путей нет. Как ни крути вокруг, а все время будешь в зеленые заборы упираться. За нашими заборами тоже чьи-то дачи. Кто-то там по волейбольному мячику стучит. Но нам не положено знать, кто там стучит. А ему к нам не положено заглядывать. А слева у нас забор выше, чем справа. Из-за того забора по вечерам музыка доносится. Очень приятная мелодия. Танго.

Дача у нас большая. Тут нас живет 23 человека. Но места хватило бы и на тридцать. У каждого по маленькой комнатке. Бревенчатые сосновые стены. Запах смолы. Маленький пейзажик на стенке. Огромная мягкая кровать. Книжная полка. Внизу холл с большим азиатским ковром. Мы встаем, когда хотим. И делаем, что нравится. Завтрак сытный. Обед скромный. Ужин роскошный. Вечерами мы сидим у камина. Мы пьем. Травим байки. Мы все в прошлом офицеры средних этажей советской военной разведки. В группе один подполковник. Два майора. Один старший лейтенант. Остальные капитаны. Один из нас в прошлом летчик-истребитель. Двое ракетчиков. Один десантник. Один командир ракетного катера. Военный врач. Военный юрист. В общем, очень цветастый букет. Мы пришли от разных начальников. Каждый из нас по каким-то причинам попал в фарватер какого-нибудь военного разведчика дивизионного, армейского или более высокого уровня. Каждого из нас кто-то отбирал в свою персональную группу. И вот именно из этих групп Аквариум выбирает своих кандидатов. Понятно, что, забирая людей у руководителей разведки на низших этажах, Аквариум совсем не старается забрать всех или самых лучших. Нет. Если у Кравцова Аквариум сегодня заберет всех его лучших ребят, завтра Кравцов не будет выбирать свою свиту так кропотливо. Поэтому Аквариум отбирает людей у нижестоящих начальников очень осторожно, чтобы не отбить им охоту на будущее уделять выбору людей столь огромное внимание.

Я много сплю. Я давно не спал так крепко и так сладко. Утром я встаю поздно и иду на озеро. Погода пасмурная. Но вода теплая. И я плаваю очень долго. Я знаю, что этот сон и эта свобода ненадолго. Просто нам дают возможность расслабиться после экзаменов перед началом учебного года. И я расслабляюсь.

9

Меня давно вопрос занимал: как можно организовать тайную школу шпионов в центре огромного города, да так, чтобы никто не дознался? Чтоб никто нас не заснял ни по одному, ни стайкой.

А делается все просто. Центральная глыба Военно-дипломатической академии высится на улице Народного Ополчения. Понятно, что никаких названий вы тут не увидите. Только оград узор чугунный, буйные заросли сирени, да колонны, да окна в решетках, да плотные шторы, и часовые по углам. Но это — не главное. Тут учат только тех, кто будет работать в большой зоне, в соцлагере.

А нас, расконвоированных, тех, кто из лагеря выход иметь будет, готовят не тут. Слушатели основных факультетов разбросаны по всей Москве по небольшим учебным точкам. А где моя точка, я и сам не знаю...

Каждое утро в 8.30 я у Научно-исследовательского института электромагнитных излучений. Знаете, около Тимирязевского парка. Официально институт принадлежит Министерству радиопромышленности. Но кому он на самом деле принадлежит и чем он занимается, мало кому известно. В сталинские времена был институтик маленьким совсем. Человек двести, не больше. И как память того времени — четырехэтажный дворец позднего сталинизма: фальшивые колонны да балкончики. Но рос быстро институт, и огромные шестиэтажные серые блоки тому свидетели. Это хрущевская экономия. Силикатный кирпич. Хрущобы. А еще дальше стеклянные глыбы брежневского военно-бюрократического размаха. Все это перегороджено множеством стен на зоны и секторы. Проволока колючая, ролики белые. Предъявляйте пропуск в развернутом виде!

Много народу. Утренняя смена. Проходная в двенадцать потоков. На территории объекта не курить. Будьте бдительны! Болтун — находка для врага! Перевыполним план первого квартала! Не стой под грузом! Дробит проходная мощный поток трудовой интеллигенции на реки и ручьи. Течет серая масса по своим отделам да секторам. Скрипит тормозами маневровый тепловоз. Огромный ангар поглощает шестидесятитонные вагоны. Спешит научная братия. Молча толпа валит. Все секретные. Все совершенно секретные. Вход воспрещен! Предъявляйте пропуск в развернутом виде! Заборы бетонные. Заборы кирпичные. Трубы разноцветные. Зона 12-Б.

Над какими проблемами тут работают? Лучше не спрашивать.

Еще раз пропуск предъявим. На пропуске множество шифрованных значков. Каждый сверчок знай свой шесток. Каждый владелец пропуска только в своей строго для него установленной зоне обитает. Без особых значков на пропуске не выпустят тебя за зону твоего обитания. Наберем номер на диске — вот мы в ангаре. Тут вся наша группа собирается. Тут стоит огромный “МАЗ” с оранжевым контейнером. Наше место внутри. А там, как в хорошем самолете: ковры да кресла удобные. Только окон нет. В 8.40, когда контейнер уже закрыт изнутри, появляется в ангаре водитель и гонит свой “МАЗ” по Москве. Водителя мы не видели никогда. Он даже не догадывается, что людей возит. У него работа такая: в 8.40 войти в ангар, сесть в машину и вести контейнер с неким очень опасным грузом через несколько кварталов в сосновый лес. Тут еще некий секретный объект, тоже ангар. Он загоняет контейнер туда, а сам выходит в комнату ожидания. По вечерам он делает еще один рейс. А в остальное время он другие оранжевые контейнеры по Москве гоняет. Может, со взрывателями к атомным бомбам, может, со смертоносными вирусами, которые способны сожрать человечество, может, с аппаратурой генетической войны. Откуда ему знать, что в контейнерах. Все они одинаковы. Все оранжевые. А зашибает он, видимо, здорово. На таких исследовательских центрах все здорово зашибают.

10

Из нашего оранжевого контейнера мы на землю прыг, прыг. В ангаре высоко под потолком воробей чирикает. Ему одному только секреты все видны: кто водитель у нас, кто по ночам ангар убирает, кто в таком же вот контейнере сюда к нам пищу возит и в столовой накрывает. Пока мы в зоне, никого тут нет из персонала. Столовая, и та, как система клапанов устроена: если в ней открыта дверь в ангар и кто-то накрывает нам стол к завтраку, то мы не можем проникнуть ни в столовую, ни в ангар. Потом звонок нам, как павловским псам, — готово. Тут уж мы в столовую входим, зато никому другому двери не откроются — автоматика. Кормят хорошо. Меня никогда так не кормили, даже в Чехословакии. И все же зона — она и есть зона, а наш контейнер мы зовем оранжевым вороном. В принципе нас, как эков, возят, только с комфортом.

В особой книге я “спасибо” пишу за хороший завтрак и заказ на завтра. И скорее на занятия.

Все готовы? Все.

Пять минут подышать.

Дворик у нас аккуратный. Кусты сирени серые бетонные стены почти полностью закрывают — уют. Над сиренью проволока колючая. Что за той проволокой, увидеть нельзя. Только ясно, что там

такие же полукруглые ангарные крыши, как у нашего бассейна и теннисного корта. Может, там другая учебная точка — такая же, как и у нас. А может, там польские или венгерские наши коллеги обучаются, а может быть, кубинские, итальянские, ливийские. Откуда нам знать. А может, там и не учебная точка, а секретная лаборатория или склад, а может, там тюрьма просто. По движению нашего оранжевого ворона я все пытаюсь направление по утрам угадать. Чудится, что возят нас совсем недалеко. И по направлению угадывается мне, что мы обучаемся где-то совсем рядом от Краснопресненской тюрьмы. Но точно установить, конечно, невозможно. А сосновых пролесков по Москве хоть пруд пруди, в том же Серебряном бору.

— Подышали? И будет.

Все в зал. Тут сейфы. В моем сейфе четыре тетради. В каждой по 96 страниц. Это на три года. Пиши конспекты убористо, больше запоминай. Хватай информацию с лету. Бумагу приучись экономить.

Тетрадь по разведке — в руку. Сейф — на ключ. И — в зал.

Преподаватель от нас кисейной занавеской отгорожен. Потому он нас четко разглядеть не может, но и мы его четко не видим, хотя разговариваем без помех.

Все преподаватели и командиры — “слоны”. Некоторые из них допущены к персональной работе с нами. Но большинство может видеть нас только через полупрозрачный экран и называть только по номерам.

Каждый из них — волк разведки. Каждый провел много лет за пределами большой зоны. Но каждый из них был в провале и оттого превратился в слона. Тот, кто в провале не был, продолжает работу в добывании или, по крайней мере, в обработке.

Провалившийся волк разведки включает системы защиты, от чего стены нашего спецсооружения плавно задрожали, и начинает:

— Вот так выглядит шпион, — он показывает большой плакат с человеком в плаще, в черных очках, воротник поднят, руки в карманах. — Так шпиона представляют авторы книг, кинорежиссеры, а за ними и вся просвещенная публика. Вы — не шпионы, вы — доблестные советские разведчики. И вам не пристало на шпионов походить. А посему вам категорически запрещается:

- а) носить темные очки даже в жаркий день при ярком солнце;
- б) надвигать шляпу на глаза;
- в) держать руки в карманах;
- г) поднимать воротник пальто или плаща.

Ваша походка, взгляд, дыхание будут подвергнуты долгим тренировкам, но с самого первого дня вы должны запомнить, что в них не должно быть напряжения. Вороватый взгляд, оглядка через плечо — враг разведчика, и за это в ходе тренировок мы будем вас

серьезно наказывать, не менее чем за принципиальные ошибки. Вы меньше всего должны напоминать шпионов. И не только внешним видом, но и методами работы. Писатели детективных романов изображают разведчика великолепным стрелком и мастером ломания рук своим противникам. Большинство из вас пришли из нижних этажей разведки и сами это видели. Но тут, наверху, в стратегической агентурной разведке, мы не будем вас обучать стрельбе и способам ломания рук. Наоборот, мы требуем от вас забыть ваши навыки, полученные в Спецназе. Некоторые разведки мира обучают своих ребят стрельбе и прочим штучкам. Это идет от недостатка опыта. Помните, ребята, что вы можете надеяться только на свою голову, но не на пистолет. Если вы сделаете одну ошибку, то против каждого из вас контрразведка противника бросит пять вертолетов, десять собак, сто машин и триста профессиональных полицейских. Пистолетиком тогда вы уже себе не поможете. И руки всем не переломаете. Пистолет — это ненужная иллюзия. Пистолетик греет ваш бок и создает мираж безопасности. Но вам не нужны иллюзии и миражи. Вы должны постоянно иметь чувство безопасности и превосходства над контрразведкой противника.

Но это чувство вам дает не пистолетик, а трезвый расчет без всяких иллюзий. Знаете, это примерно как среди монтажников-высотников. Одни из них, малоопытные, пользуются страховочным поясом. Другие никогда не пользуются. Первые падают и разбиваются, вторые — никогда. Происходит это потому, что тот, кто поясом пользуется, создает себе иллюзию безопасности. Однако он забыл застегнуться, и вот уж его кости собирают в ящик. Тот, кто поясом не пользуется, иллюзий не имеет. Он постоянно контролирует каждый свой шаг и никогда на высоте не расслабляется. Советская стратегическая разведка своим ребятам не дает страховочных поясов. Знайте, что у вас нет пистолета в кармане, забудьте удары ребром ладони по кирпичу. Надейтесь только на свою голову. Ваш спорт — благородный теннис...

Глава седьмая

1

Февраль 1971 года. Незабываемое время. Начальнику ГРУ генерал-полковнику Петру Ивановичу Ивашутину присвоили звание генерала армии. Ликует Аквариум. Ликует весь Генеральный штаб. Военная разведка впереди! Председатель КГБ Юрий Андропов остается только генерал-полковником. Какая пощечина!

Мы знаем, что Центральный Комитет раздувает огонь борьбы, и драки КГБ — ГРУ не миновать. Баланс между КГБ и армией был

нарушен, и вот Центральный Комитет оплошность исправляет. Февраль 1971 года. Идет чистка в среднем слое КГБ. Идет массовое смещение полковников и генерал-майоров КГБ. Идет возвышение офицеров и генералов ГРУ, всего Генерального штаба, всей Советской Армии. Вот командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант танковых войск Литовцев стал генерал-полковником. А помните, товарищ генерал, ваш тяжелый старт на этом посту? А ведь вам кто-то тогда помог, рискуя головой. Я за эту помощь досрочно стал капитаном. А ведь вы, товарищ генерал, кому-то тайно помогали и помогаете, иначе никто бы вас поддерживать не стал. И не носить бы вам сейчас три генеральские звезды. Успехов вам, генерал.

Февраль 1971 года. КГБ и ГРУ вцепились в глотки друг другу. Но кто это может видеть со стороны? Все знают генерал-полковника Ю.Андропова. А кто знает генерала армии Ивашутина? Но ему реклама и не нужна. Ивашутин в отличие от Андропова руководит тайной организацией, которая действует во мраке и не нуждается в рекламе.

2

Войну планирует Генеральный штаб. Генеральный штаб — мозг армии. Любое вмешательство КГБ в процесс планирования неизбежно приводит все государство на грань катастрофы. Поэтому, для того чтобы выжить, государство вынуждено ограничить влияние КГБ на Генеральный штаб. Для того чтобы победить в войне, Генеральный штаб должен собирать информацию о противнике усилиями своих собственных офицеров, которые понимают проблемы боевого планирования, которые сами могут решить, что важно для Генерального штаба, а что нет. Генеральный штаб не имеет времени просить об информации — он п р и к а з ы в а е т своей собственной разведывательной службе, ч т о нужно добыть в первую очередь. Для успешной работы Генеральный штаб должен иметь право поощрять своих лучших разведывательных офицеров и жестоко карать нерадивых. И он имеет такие права. И он имеет свою собственную разведывательную службу. И он видит мир не через призму КГБ, а своими собственными глазами. Генеральный штаб собирает информацию не усилиями полицейских, а усилиями офицеров Генерального штаба, нашими усилиями.

Мы должны стать офицерами разведки и офицерами Генерального штаба одновременно. На это нам отводится очень короткий срок — пять лет. А если так, то программа нашей подготовки насыщена выше всяких возможностей.

По ночам мне снятся только грандиозные наступательные операции. Глубокие танковые клинья. Воздушные десанты. Бригады

Спецназ в тылу противника. Нелегальные резидентуры и поток информации в Генеральный штаб. Мне снится грохот сражений и огонь. Я открываю глаза. Я слышу отвратительный звон будильника, и холодный свет режет глаза. Я долго сижу на кровати и трущу ладонями. Наверное, я не выдержу.

3

Время летит. Зимняя сессия. Восемь экзаменов. Летняя сессия. Восемь экзаменов. Зимний отпуск пятнадцать суток. Летний отпуск тридцать суток. Я в отпуск не поеду. Я сдал сессию, но мне нужно сделать очень многое. Снова зимний отпуск, и я снова не поеду. Почти никто из наших ребят не едет. Надо работать. Надо работать больше. Кто хочет остаться наверху, должен работать много. До зеленых кругов в глазах, до черных пятен. Нам не препятствуют. Можно ночами сидеть. Можно спать по три часа в сутки.

Наша группа тает. Подполковник — моральное разложение, сексуальная распущенность. Изгнан на космодром в Плесецк. Это тоже ГРУ, но только ссылка для провинившихся. Майор артиллерийской разведки — пьянство. Возвращен в Спецназ в Забайкалье. Тает группа. Нас было двадцать три. Теперь только семнадцать. Изгоняют тех, у кого от усиленной работы мозга начинаются обмороки. Изгоняют тех, кто не может выявлять слежку, кто ошибается или горячится при приеме решений. Изгоняют тех, кто не может изучить два иностранных языка, усвоить историю дипломатии и разведки, всю структуру, тактику, стратегию, вооружение и перспективы нашей армии и армий наших противников.

Они исчезают внезапно. Они никогда больше не поднимутся вверх. Для них находят такие места, где им некому рассказать о том, где они были. Им находят места, где работают только такие же неудачники из ГРУ. Где недоверие и провокация процветают. А вообще-то — где они не процветают?

4

Волка ноги кормят. Мы чувствуем себя волками. Любой свободный момент мы отдаем поиску мест. Мы рыщем. Разведчику нужны сотни мест, таких мест, где он мог бы совершенно гарантированно оставаться один, таких мест, где он с полной уверенностью может сказать, что за ним никто не крадется по пятам, таких мест, где он смог бы спрятать секретный материал и быть уверенным, что ни уличные мальчишки, ни случайные прохожие не найдут его, что тут не будет строительства, что ни крысы, ни белки, ни снег, ни вода этот материал не повредят. Разведчик должен иметь множество таких мест про запас и не имеет права использовать одно и то же

место дважды. Наши места должны быть в стороне от тюрем, вокзалов, важных военных заводов, в стороне от правительственных и дипломатических кварталов: во всех этих местах активность полиции повышена, и до провала — только шаг. А где найти в Москве места, где нет тюрем и важных правительственных или военных учреждений?

Мы рыщем все наше свободное время. Мы рыщем в подмосковных рощах, в парках, на заброшенных пустырях и брошенных стройках. Мы рыщем в снегу и в грязи. Нам нужно множество удобных мест. И тот, кто научится их находить в Москве, тот сможет делать это в Хартуме, в Мельбурне, в Хельсинки.

Мы учимся запоминать лица людей. Эта активность мозга должна быть не аналитической, а рефлекторной. И потому передо мной мелькают на экране тысячи лиц, тысячи силуэтов людей. Мой палец на кнопке, как на спусковом крючке. Увидев одно и то же лицо дважды на экране, я должен мгновенно нажать на кнопку. Если я ошибаюсь, меня пронизывает легкий, но неприятный электрический шок. Нажал неправильно кнопку — и легкий удар. Не нажал кнопку, когда надо, — опять удар. Тренировки проводятся регулярно, и скорость показа лиц все увеличивается. Каждый раз показывают все больше и больше изображений. Тех же людей показывают в париках, в гриме, в другой одежде, в других позах. А ошибки карают легким, но неприятным шоком.

Разведчик должен быть внимательным к номерам машин. Один номер попался дважды, значит, возможна слежка. Значит, на операцию идти нельзя. Мне показывают тысячи номерных знаков. Они несутся по экрану, как французский электропоезд. Их не нужно запоминать. Но их нужно узнавать. Аналитический ум тут не поможет. Нужен автоматический рефлекс. И его вырабатывают, как у собаки, по методу профессора Павлова. Ошибка — и шок. Ошибка — и шок.

Но номера машин могут быстро менять, поэтому нужно узнавать машины не только по номерам, а просто по их виду. А в современном городе миллионы машин, и наш мозг не способен запомнить даже сотни машин, тем более что столько их одинаковых. И тут вновь разведчика выручает рефлекс. Наш мозг способен фиксировать миллионы деталей, но мы просто не можем пользоваться этой колоссальной информацией. Не беспокойтесь, Аквариум вас научит. Через пять лет у вас будут соответствующие рефлексы!

Мы офицеры Генерального штаба. Нас возят на Гоголевский бульвар. Нас учат принимать решения в ходе грандиозных операций. На огромных картах и на бескрайних полях Широколановского полигона мы сначала робко и неуверенно, сначала только на бумаге, а потом и на практике пробуем управлять огромными массами войск в современной войне. Возможно, это нам не придется ни-

когда делать, но, однажды передвинув даже на карте 5-ю и 7-ю гвардейскую танковые армии из Белоруссии в Польшу, вдруг понимаешь, какое количество какой именно информации нужно Генеральному штабу, чтобы сделать это в реальной войне.

Мы рыщем по городу. Мы учимся безошибочно выявлять слежку. Перед операцией офицер разведки должен совершенно четко ответить самому себе: есть слежка или ее нет, да или нет. В настоящей тайной войне, к которой он готовится, ему никто не может помочь, и никто не будет делить ответственность за допущенную ошибку.

Да или нет? По заранее подготовленному маршруту я петлял по Москве четыре часа. Я менял такси, автобусы, трамваи. Из огромной толпы уходил в безлюдные места и снова бросался в толпу, как в океан. КГБ тоже учится. Для КГБ очень важно знать свои собственные ошибки в слежке. Тут интересы ГРУ и КГБ совпадают. Тут осуществляется кооперация между двумя враждебными организациями. Слон знает, что сегодня я тренируюсь в городе. Что моя тренировка начинается ровно в 15.00 от отеля “Метрополь”, который сейчас является как бы советским посольством во враждебной стране. Я выхожу из “посольства”, а дальше дело Слона — позвонить в КГБ или нет. И так, да или нет. Раз в неделю каждого из нас Слон гоняет по разным маршрутам, который каждый готовит для себя. Прошлый раз слежка была точно. В прошлый раз я был в этом совершенно уверен. А сегодня? Да или нет? Я не знаю. Я не уверен. Если так, то нужно возвратиться в “посольство” и доложить Слону, что я не уверен. И тогда он вновь пошлет меня кружить по Москве, и завтра утром я буду обязан дать окончательный ответ. И так, да или нет?

5

Язык — оружие разведчика. Глаза — оружие разведчика. Аквариум делает все возможное, чтобы заставить своих офицеров владеть иностранными языками. За знание одного западного языка платят на 10% больше. За каждый восточный язык — 20%. Выучи пять восточных языков и будешь получать вдвое больше. Но не проценты меня гонят: не выучишь два языка — выгонят на космодром Плесецк. Мне на космодром совсем не хочется. Поэтому я учу. Иностранный язык для меня проблема — нет во мне музыкальности. Чувствительность слухового аппарата танковыми пушками понижена. Я стараюсь. Я тянусь. Но по языкам я самый худший в группе. Были хуже меня, но их уже выгнали. Я на очереди следующий. Сдохну, черт побери. Пусть произношение дубовое, я в других областях наверстаю.

— У меня та же проблема была, — ободряет Слон. — Учи це-

лые страницы наизусть. Тогда беглость появится. Тогда у тебя для устной речи и для написания будут всегда в запасе стандартные обороты, фразы, целые куски.

Я учу страницами. Я их зубрю наизусть. А затем пишу их. Пишу и переписываю. Я переписываю эти страницы по памяти по тридцать раз, добиваясь, чтобы не было ошибок.

С глазами у меня хуже, чем с языком. У меня есть опыт из Спецназа смотреть в глаза собакам. Но тут этого недостаточно. Нас тренируют с зеркалом: смотри в глаза, не моргай. Не отводи взгляд. Если хочешь завербовать человека, ты должен прежде всего выдержать его взгляд. Дружба начинается с улыбки, вербовка — со взгляда. Если ты не выдержал первый тяжелый взгляд своего собеседника, то и не пытайся потом его вербовать: психически он сильнее. Он не поддастся.

Я выхожу на станции метро “Краснопресненская“ и иду в зоопарк. Если у вас та же проблема, то приходите к закрытию — вам никто не помешает. Я смотрю в глаза тиграм, леопардам. Я направляю свою волю, я сжимаю челюсти. Неподвижные желтые глаза изящного хищника расплываются передо мной. Я сильнее сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно-медленно широко раскрывать, так можно не моргать. Глаза режет, наворачиваются слезы. Еще мгновение — и я моргну. Огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду: слаб ты, Суворов, со мной состязаться.

Ничего, кошка. Я настойчивый. Я приду сюда в следующее воскресенье. И в следующее. И потом еще. Я настойчивый.

И опять летит серое колесо дней и ночей. Наша программа вполне могла бы быть десятилетней. Но ее спрессовали в пять лет, и потому не все выдерживают. А может, это тоже испытание? Может, в этом и заключается главный смысл нашей подготовки: освободиться от слабых тут, на своей территории, чтобы не делать этого позже?

6

В разведке есть простое совсем правило: о т р ы в з а п р е щ е н ! Если увидел, что за тобой следят, во-первых, не покажи виду, что ты их заметил, не нервничай и не мечись, ты дипломат, черт побери. Поболтайся по городу, покружи. На операцию сегодня идти не следует. Они могут прикинуться, что бросили тебя, а на самом деле они рядом, только больше их стало, только сменили они своих людей. В тот день, когда выявил слежку, — операция запрещена. Тут закон нерушимый. А каждая операция во многих вариантах готовится. Слежка сегодня, значит, завтра повторим опера-

цию или через неделю, или через месяц. Но не вздумай оторваться от них! Оторвавшись даже под очень хорошим предлогом, ты показываешь им, что ты — шпион, а не простой дипломат, что ты можешь видеть тайную слежку, что тебе надо от нее зачем-то убежать. Если ты им это покажешь, то от тебя не отстанут. Ты покажешь им, что ты — шпион, и этого достаточно. Тогда слежка будет преследовать тебя каждый день, тогда не дадут тебе работать. Один раз от них, конечно, оторвешься, но они тебя зачислят в разряд опасных, и больше ты никогда от них не оторвешься, за тобой их будет по тридцать человек по пятам ходить каждый день. Так что отрыв запрещен. Но не сегодня...

Сегодня у нас разрешение на отрыв. “Хрен с вашими дипломатическими карьерами, — сказал Слон, — есть ситуации, когда Аквариум приказывает проводить операцию любой ценой. Отрывайтесь!”

Двое нас, Генка да я. Отрывайтесь, твою мать. Поди оторвись. Темно уже в Москве. Холодно. Пуста Москва. Через три дня запьет, загуляет Москва. Праздники, парады да оркестры. А сейчас, перед взрывом пьяного восторга, затаилась Москва. Двое нас с Генкой, да тени черные за нами. Наши тени да еще чьи-то. Мечутся тени, не прячутся. Если бы мы по одному работали, то давно бы оторвались. Отрыв запрещен, но обучены мы его делать.

Первый раз мы сделали рывок в Петровском пассаже. Хорошее место. Много людей было. Мы через толпу, через очереди, расталкивая, и по лесенкам крутым, и снова в толпу, черными ходами да в метро! Но тени мечутся за нами и не отстают. На Ленинских горах в метро мы вторую попытку сделали. Тоже место хорошее. Уходит поезд, двери щелк! Так вот за секунду до этого щелчка надо и рвануть из вагона. Но и тени хитры.

Пуста Москва. Холодно и темно. Но Генка еще какое-то место знает. На площади Марины Расковой. Уйдем, Генка? Уйдем! Уйдем...

Сколько их, Генка, за нами сегодня? Много. Много, черт побери. Жаль, разойтись нам нельзя. Операция на двоих. Может, разойдемся, Генка? Превышение полномочий, нельзя. А если операцию провалим, разве это лучше? Ведет меня Генка по пустым переулкам. Тут место у него давно подготовленное. Сейчас рванем мы переулками. Но нет, черт подери. Три больших парня за нами вплотную идут. Не прячутся. Это демонстративная слежка. Это слежка на психику. Их еще много тайно нас преследуют. Закоулками, переулками. А трое теперь открыто за нами топают. Смеются прямо в затылок. “А если побегут?” — зычный голос спрашивает. “Догоним”, — успокаивает его другой. Хохот нам в затылок. Генка меня в бок толкает — приготовься. Я-то готов, да только мелкий снежок в воздухе кружит. Первый самый снежок. Тут бы гулять по

улице да воздух хрустальный пить. Но не до воздуха нам. Отрываться пора.

Рванул меня Генка за руку, и в какую-то дверь мы влетели, а тут лестницы грязные вниз да вверх, да коридоры темные во все стороны. Ах, ноги не переломать бы. Вниз, вниз по лестнице. Ведра тут какие-то, смрад. Опять дверь. Опять лестницы да коридоры. Ху-ху-ху — Генка задыхается. Задыхается, но хорошо бежит. Большой он. Тяжело ему. Но зато в темноте он, как кот, все видит. Еще двери какие-то, тряпки, щебень да стекло битое. Вылетели мы на улицу. Я уж и не знаю, где. Всю Москву исходил, а таких мест не видывал раньше. Три переулка перед нами. Генка в левый меня тянет. Хороший ты, Генка, парень. Ушли бы мы, хорошее место ты нашел. Сколько месяцев ты, Генка, по Москве топал, чтобы такое место найти? Такое место только в рамочку золотую да молодым шпионам показывать: любуйтесь, какое место великолепное. Это — образец. Будете работать в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио — каждый такое место для себя должен иметь! Чтобы в любой момент гарантированно от полиции оторваться. Но не выгорит нам сегодня. И место не поможет нам. Легкий снежок над Москвой. Первый самый. Липнет он к подошвам, и следы наши с Генкой, как следы первых астронавтов на Луне. Это законом подлости называется. Согласно этому нерушимому закону кусок хлеба с маслом всегда маслом вниз падает. Не уйдем, Генка! Уйдем! Тащит меня Генка за руку. Пустая Москва. Попрятались честные граждане в свои норы. Во всей Москве Генка да я... и большие мальчики из КГБ. Ху-ху-ху, Генка дышит, не побоишься, Витька, с поезда прыгнуть? Нет, Генка, не побоюсь. Ну тогда, Витька, поднажмем. Есть у меня шанс. Ты на операцию пойдешь, я тебя прикрою. Бежим мы переулками. Бежим дворами. Если выйти на большую улицу, там следов наших не будет, да зато там все их машины. От машины не уйдешь.

Перемахнули мы через заборчик, и станция, и электричка тор- мозами скрипит. Ху-ху-ху — Генка дышит. А за нами трое больших тоже дышат: ху-ху-ху. Тоже через заборчик перемахнули, как кони бешеные. Генка меня к электричке тянет. Ху-ху-ху. В последнюю дверь ввалились мы и бегом по проходу. Ах, если бы дверь за нами захлопнулась! Но не захлопнулась она. И топот за нами конский. Ввалились и те трое в вагон. И по проходу за нами. Пролетели мы один тамбур, другой. Толкнул меня Генка вперед, а сам назад. Пошел он, как истребитель, в лобовую атаку. А я к двери. Теперь не закрылись бы двери! Массой своей бросился я на одну половину двери, а другая уж за моей спиной щелкает, и плавно поезд пошел.

Прыгать из поезда нужно задом и назад. Но это я уж потом вспомнил. А вылетел я из двери передом и вперед. Зубы нужно

сжать было, но и об этом я забыл, и оттого лягнули они, как капкан, чуть не отрубив язык. Скорости было немного совсем, когда вылетел я, и высота была минимальная: платформа была вровень с вагоном. Да только подвернул ногу, падая, да руку разодрал. Ну хрен с ней, вскочил, а последний вагон мимо меня простучал. Провистел мимо. Быстро московские электрички скорость набирают. А тормоза уж скрипят. Это большие ребята стоп-кран сорвали. У меня учеба, но и у них учеба.

Я действую, как в настоящей обстановке действовать буду, но и они учатся. У них тоже экзамены, им тоже оценки ставят. Им меня сейчас любой ценой взять надо. Ну это уж вам хрен, ребята! Рванул я к забору, да через верх. Да ходу. Ху-ху-ху. Да ходу. Спасибо, Генка!

7

Уж за полночь. И электрички в метро пустые совсем. Рвал я переходами подземными да переулками темными. Теперь в метро нырнул. Тем хорошо, что машина за мной идти не может. В метро ребята из КГБ должны быть рядом со мной. Но пуст вагон. Поздно уже, да и оторвался я чисто. Теперь главное — обойти телекамеры. На каждой станции метро вон их сколько понатыкано. И если меня потеряло КГБ в Москве, то центральному командному пункту давно уж мое описание передали. Давно уж все телекамеры подземную Москву обшаривают.

Но и я опытен уже. Я буду выходить на станции “Измайловский парк”. Тут я только четыре телекамеры выявил и их расположение четко знаю. Если находиться в последнем вагоне, то можно быстро мимо нее прошмыгнуть, а там забор бетонный с узким проходом для пешеходов да десяток тропинок в густой лес. Ищи-свищи!

Снег под ногами первый поскрипывает. Но тут на тропинках его уж утоптали. Вечером тут пенсионеры толпами гуляют, а там дальше в сосняке всегда сопляки подвыпившие. Но сейчас никого нет. Я делаю огромную петлю в лесу. Останавливаюсь и долго слушаю. Нет, не скрипит снег за моей спиной. Тут я, и не стеснясь уже, во все стороны смотрю. Обычно в романах это описывают термином “воровато оглядываясь”. Да. Именно так. Стесняться мне больше некого. Оторвался я чисто. Слежки за мной нет. И место тайника известно только мне. Вот оно. В глухом углу к бетонной стене прилепились десятка два гаражей. А между ними и стенкой чуть заметная щель. Мочой кругом пахнет. Это хорошо. Это означает, что в щель эту загаженную не найдется любителей лазить. Они свое дело тут возле нее делают и дальше спешат. Ну а у меня работа такая. Оглянулся еще раз для верности и втиснулся в щель. Тут сухо и чисто. Только тесно. Мне три метра пыхтеть нужно до стыка

первых двух гаражей. Там, если просунуть вперед пальцы, можно нащупать оставленный кем-то пакет. Но нелегко эти метры даются. Генка ни за что в такую щель не пролез бы. Выдохнул я и еще чуть-чуть протиснулся. Чуть отдышался. Снова глубоко выдохнул и еще вперед. Ах, я дурак! Надо ж было пальто снять, перед тем как лезть. Щель эту я очень давно нашел. И тогда втиснулся в нее без особого труда. Да только это дело летом было. Еще выдохнул, и еще вперед. Теперь правую руку вперед. Еще чуть вперед. Ладонь за угол. Теперь пальцы растопырить. Вверх, вниз. О-о-о! Чья-то железная кисть стиснула мою руку, и свет ослепительный в глаза. Голосов тихих вокруг меня десятков, а рука, как в капкане. Больно, черт побери. Ухватили меня за ноги чьи-то сильные руки и дернули. Выдернули меня без труда. Да за ноги и тянут. Да носом я по снегу сегодняшнему, да по моче вчерашней. Тут и машина легковая, откуда ни возьмись, тормозами визгнула, хотя и нет им доступа вроде бы в Измайловский парк. Руки мне заломили назад до хруста. Только ойкнул я. Наручники холодные щелкнули.

— Позовите консула! — так мне орать положено в подобной ситуации.

Задняя дверь машины распахнулась. Тут мне протестовать полагается: мол, не сяду в машину! Но по ногам мне здорово кто-то дал и выбил землю из-под ног, как табуретку под виселицей. Ах, сильные ребята! До чего сильные! Щелкнули зубы мои, и уж сижу я на заднем сиденье промеж двух Геркулесов.

— Позовите консула!

— Ты что здесь, мерзавец, делаешь?

— Позовите консула!

— Все твои действия на пленку засняты!

— Наглая провокация! Я на пленку могу заснять, как вы половое сношение с Брижит Бардо совершаете! Консула позовите!

— В твоей руке были секретные документы!

— Вы силой мне их впихнули! Не мои документы!

— Ты пробирался в тайник!

— Нахальная выдумка! Вы поймали меня в центре города и силой засунули в эту вонючую щель! Позовите консула!

Машина, дико скрипя на поворотах, мчит меня куда-то в темноту.

— Позовите консула! — ору я.

Им это надоедать стало.

— Эй, парень, потренировался, и будет. Кончай орать.

А эти штучки я знаю. Если вы меня бы отпустили сейчас, значит, тренировка кончилась. А если вы меня не отпускаете, значит, она продолжается. И набрав полные легкие воздуха, я завопил диким голосом:

— Консула, гады, позовите! Я невинный дипломат! Консула!!!

— Позовите консула!

Света они не жалеют. Два прожектора в лицо. Глазам больно до слез. Они меня усадили, и большой такой угрюмый человек сзади встал. Нет, тут я сидеть не буду. Позовите консула. Я встаю. Но большой человек огромными ладонями вдавливают мои плечи в глубокое деревянное кресло. Подождав, пока давление на плечи ослабнет, я вновь делаю попытку встать с кресла. Тогда большой вновь вдавливают меня в кресло и помогает своим огромным руками тяжелым ботинком. Он легко подсекает мне ногу, как в борьбе, так что я падаю в кресло. Легкий удар его ботинка пришелся мне прямо по косточке. Больно. Откуда-то из-за прожекторов ко мне приплывает голос:

— Вы — шпион!

— Позовите консула. Я дипломат Союза Советских Социалистических Республик!

— Все ваши действия у тайника сняты на пленку!

— Подделка! Подлая провокация! Позовите консула!

Я делаю попытку встать. Но большой легким движением огромного ботинка слегка подсекает мне левую ногу, и я теряю равновесие. И снова мне больно. Он бьет легко, но по косточке, по той, что прямо над пяткой. Вот не думал никогда, что это может быть так больно.

— Что вы делали ночью в парке?

— Позовите консула!

Я снова встаю. И он снова бьет легко и точно. Ведь и синяков не останется, и не докажешь никому, что он меня, гад, мучил. Я снова встаю, и снова он сажает меня легким ударом. Эй, ты, большой, мы же учимся. Это учения. Зачем же так больно бить? Я снова встаю, и он снова сажает меня. Я глянул через плечо — что у него за морда? Но не разглядел ничего. Круги в глазах от прожектора, ни черта не видно. Комната вся темная, и два прожектора. Даже не поймешь, большая комната или маленькая. Наверное, большая, потому что от прожекторов нестерпимая жара, но иногда вроде чуть ветерок тянет прохладный. В маленькой комнате так не бывает.

— Вы нарушили закон...

— Расскажите это моему консулу.

Мне больно, и мне совсем не хочется вновь получить легкий удар по косточке. Поэтому я решаю повторить попытку встать еще три раза. А после буду сидеть, не вставая. Ой, как не хочется вставать с деревянного кресла. Ну, Витя, начали. Я опираюсь ногами о кирпичный пол, осторожно переношу тяжесть тела на мышцы ног и, глубоко вздохнув, толкаюсь вверх. Его удар совпадает с моим толчком. Моя левая ступня чуть подлетает вверх, и я с легким стоном вновь падаю в кресло. Жаль, что кресло не мягкое, удобнее было бы.

— От кого вы получили материалы через тайник?

— Позовите консула!

Я знаю, что тот, который бьет по ногам, сейчас учится. В будущем у него будет такая работа: стоять позади кресла и удерживать допрашиваемого в этом глубоком деревянном кресле. Это сложная наука. Но он старательный ученик. Настойчивый. Энтузиаст. Последний его удар был сильнее предыдущих. А может быть, мне это так показалось, ведь все по одному месту. В принципе, зачем я пытаюсь встать? Мне ведь можно просто сидеть и требовать консула. А пока консула не позовут, не дать им втянуть себя в разговор. Итак, я прекращаю вставать. Попытаюсь еще три раза, и все.

Следующий удар был выполнен мастерски и с большой любовью к профессии. Поэтому следующий вопрос я не понял. Знаю, что был вопрос, но не знаю, какой. Несколько секунд думал, что же мне отвечать, а потом нашелся:

— Позовите консула!

Такой допрос мне начал надоедать и им тоже. И тогда большие руки вновь вдавили мои плечи в сиденье, и кто-то вставил карандаши между моих пальцев. Эти штучки я знаю. Это очень просто и очень эффективно и вдобавок не оставляет никаких следов. Пока не сжали ладонь, я вспоминаю всю науку: первое — не закричать, второе — наслаждаться своей собственной болью и желать для себя еще большей боли. Это единственное спасение. Чья-то потная рука ошупала мою ладонь, поправила карандаши между моими пальцами и вдруг сжала, сжала ладонь, как тисками. Два прожектора дрогнули, задрожали и бешено закружились. Я поплыл куда-то из большой темной комнаты с кирпичным полом. Я желал только большей боли себе и смеялся над кем-то.

8

Над Москвой серое холодное утро. Ноябрь. Еще все спят. Прогрела почтовая машина. Полусонный дворник метет улицу. Я лежу на мягком сиденье, откинутаю далеко назад. Москва летит мимо меня. Боковое стекло чуть приоткрыто, и морозный ветер уносит обрывки каких-то кошмаров. Я чувствую, что щеки мои небриты, а волосы на голове слиплись. Лицо почему-то мокрое. Но мне хорошо. Меня кто-то куда-то везет на большой черной машине. Я поворачиваю голову к водителю. Это Слон. Это он меня везет.

— Товарищ полковник, я им ничего не сказал.

— Я знаю, Витя.

— Куда мы едем?

— Домой.

— Они отпустили меня?

— Да.

Я долго молчу. И вдруг мне стало страшно. Мне показалось, что я рассказал им все, когда смеялся.

— Товарищ полковник, я... раскололся?

— Нет.

— Вы уверены?

— Уверен. Я все время рядом с тобой был, даже во время ареста.

— В чем моя ошибка?

— Ошибки не было. Ты оторвался и вышел к тайнику чистым. Но место слишком хорошее. Его московское КГБ знает. Ты использовал место, которое используют настоящие иностранные шпионы. Место очень хорошее, и потому оно под постоянным контролем. Они тебя взяли как настоящего шпиона, не зная, кто ты. Но мы вмешались тут же. Арест был настоящим, а допрос учебным.

— А Генка как?

— Генка хорошо. Его слегка помуржили, но он тоже не раскололся. В таком деле мобилизоваться надо. Нельзя жалеть себя и нельзя мечтать о мести, тогда выдержишь что угодно. Спи. Я тебя на настоящую работу рекомендовать буду.

— А Генку?

— И Генку.

9

— Ты когда-нибудь был в Мытищах?

— Нет.

— Тем лучше, — Слон вдруг стал очень серьезным. — Слушай учебно-боевую задачу. Объект: Мытищинский ракетный завод. Задача: найти подходящего человека и завербовать его. Цель первая: получить практику настоящей вербовки. Цель вторая: выявить возможные пути, которые вражеская разведка может использовать для вербовки наших людей на объектах особой важности. Ограничения. Первое — во времени: можно использовать для вербовки только свое личное время, выходные дни и отпуска, никакого особого времени на проведение вербовки не отпускается; второе — финансовое: можно расходовать только свои личные деньги, сколько угодно, хоть все, ни копейки государственных денег не выделяется. Вопросы?

— Что знает об этом КГБ?

— КГБ знает, что с разрешения отдела административных органов Центрального Комитета мы такие операции проводим постоянно и по всей Москве. Если КГБ тебя арестует — мы тебя спасем... но за рубеж не пошлем.

— Что я могу сказать вербуемому человеку о себе и своей организации?

— Все что угодно. Кроме правды. Ты его вербуешь не от имени

Советского государства (это и дурак сумеет сделать), а от своего собственного имени и за свои деньги.

— Значит, если я его завербую, он будет по-настоящему считаться шпионом?

— Именно так. С той разницей, что переданная им информация не уйдет за рубеж.

— Но это никак не смягчает его вины.

— Никак.

— Что же его ждет?

— 64-я статья Уголовного кодекса. Разве ты этого не знаешь?

— Знаю, товарищ полковник.

— Тогда желаю тебе успеха. И помни, ты делаешь большое государственное дело. Ты не только учишься, но и помогаешь нашему государству избавляться от потенциальных предателей. Вся группа получает подобную задачу — только на других объектах. И вся академия делает то же самое. И каждый год. И последнее — распишись вот тут в получении задачи. Это вполне серьезная задача.

Теория вербовки говорит, что вначале нужно найти заданный объект. Это нетрудно. Мытищи — городок небольшой, а в нем огромный завод. Проволока колючая на роликах. Ночью завод залит морем слепящего света. Псы караульные твякают за забором. Тут сомнений быть не может. А еще у завода соответствующее имя должно быть. Если на воротах написано, что это завод тракторной электроаппаратуры, то это может означать, что, кроме военной продукции, завод выпускает что-то и для тракторов, но если название ничего не выражает: “Уралмаш“, “Ленинская кузница“, “Серп и молот“, то тут сомнения отбрасывайте в сторону — военный завод без всяких посторонних примесей.

Второе правило вербовки говорит, что через забор лезть не надо. Люди из завода сами выходят. Они идут в библиотеки, в спортзалы, в рестораны, в пивные. Вокруг крупного завода должен быть район, где живут многие рабочие, где есть школы для их детей и детские сады. Где-то есть поликлиника, туристическая база, зона отдыха и т.п. Все это надо найти.

Третий закон вербовки гласит, что не нужно вербовать директора или главного инженера — их секретарши вербуются легче, а знают совсем не меньше, чем их начальники. Но вот беда, условия учебно-боевой вербовки запрещают нам вербовать женщин. За рубежом, пожалуйста, во время тренировок — нет. Нужно найти чертежника, оператора электронной машины, хранителя секретных документов, копировальщика и пр.

Каждый из нас получил подобное задание, и каждый готовит свой план, как перед генеральным сражением. Учебная вербовка для нас ничуть не проще боевой. Если тебя арестуют за подобным

занятием в любой стране Запада, то расплата только одна — выгнать в Советский Союз. Если совершишь ошибку на тренировке и арестует КГБ, то плата более высокая — никогда не выпустят на Запад. На боевой работе тебе принадлежит все твоё время, и финансы ничем не ограничены, а тут экзамены подходят по стратегии, по тактике, по вооруженным силам Соединенных Штатов, по двум иностранным языкам. Крутись, как хочешь. Хочешь — к экзаменам готовься, хочешь — вербуй.

10

Фильмы про шпионов показывают офицера разведки в блеске остроумия и красноречия. Доводы шпиона неотразимы, и жертва соглашается на его предложения. Это и есть брехня. В жизни все наоборот. Четвертый закон вербовки говорит, что у каждого человека в голове есть блестящие идеи, и каждый человек страдает в жизни больше всего оттого, что его никто не слушает. Самая большая проблема в жизни для каждого человека — найти себе слушателя. Но это невозможно сделать, так как все остальные люди заняты тем же самым — поиском слушателей для себя, и потому у них просто нет времени слушать чужие бредовые идеи. Главное в искусстве вербовать — это умение внимательно слушать собеседника. Научиться слушать, не перебивая, — это гарантия успеха. Это очень тяжелая наука. Но только тот становится нашим лучшим другом, кто слушает нас, не перебивая. Я нашел себе друга. Он перечитал все книги про Цандера, Циолковского, Королева. Говоря о них, он говорил и о тех, о ком еще нельзя было писать книг: о Янгеле, Челамее, Бабакине, Стечкине. Я слушал.

В библиотеке нельзя говорить громко, да и вообще разговаривать не принято. Поэтому я слушал его на заснеженной полянке в лесу, где мы катались на лыжах. В кинотеатре, в который мы ходили смотреть “Укрощение огня”, в маленьком кафе, где мы пили пиво.

Пятый закон вербовки — это закон клубники. Я люблю клубнику. Я люблю ловить рыбу. Но если рыбу я буду кормить клубникой, то не поймаю ни одной. Рыбу надо кормить тем, что она любит, — червяками. Если ты хочешь стать другом кому-то, не говори о клубнике, которую ты любишь. Говори о червяках, которых любит он.

Мой друг был помешан на системах подачи топлива от емкостей к двигателям ракеты. Подавать топливо можно, используя турбонасосы или вытеснительные системы. Я слушал его и соглашался. На первых германских ракетах использовались турбонасосы. Почему же сейчас забыт этот простой и дешевый путь? А действительно, почему? Этот способ хотя и требует создания очень проч-

ных и точных турбин, гарантирует нас от большой неприятности — от взрыва емкостей с топливом при повышении давления вытеснительной смеси. С этим я был полностью согласен.

На следующей встрече я имел в кармане магнитофон, выполненный в форме портсигара. Провод от магнитофона шел через рукав моего пиджака к часам, в которых был микрофон. Мы сидели в ресторане и болтали о перспективах использования четырехоксида азота в качестве окислителя и жидкого кислорода в сочетании с керосином в качестве основного топлива. Это сочетание ему казалось хотя и старым, но вполне проверенным и надежным на два десятка лет вперед.

На следующее утро я прокрутил пленку Слоны. Я допустил довольно крупную техническую ошибку: микрофон нельзя иметь в часах, когда беседа идет в ресторане. Звон вилки, которая постоянно у самого микрофона, был просто оглушительным, а наши голоса звучали где-то вдаль. И это страшно развеселило Слона. Насмеявшись, он серьезно спросил:

— Когда у тебя следующая встреча?

— В четверг.

— Перед встречей я организую тебе консультацию в 9-м Управлении информации ГРУ. С тобой будет говорить настоящий офицер, который анализирует американские ракетные двигатели. Он, конечно, знает многое и о наших двигателях. Информатор поставит тебе настоящую задачу, такую, которая его бы интересовала, если бы ты познакомился с американским ракетным инженером. Если ты из очкарика вырвешь достаточно вразумительный ответ, то считай, что тебе повезло... а ему нет.

11

Информация ГРУ желала знать, что мой знакомый знает о бороводородном топливе.

Мы сидим в грязной пивной, и я говорю своему другу о том, что бороводородное топливо никогда применяться не будет. Не знаю, почему, но он думает, что я работаю в 4-м цехе завода. Я ему этого никогда не говорил, да и не мог говорить, ибо не знаю, что такое 4-й цех. Он долго испытующе смотрит на меня:

— Это у вас там, в четвертом, так думают. Знаю я вас, перестраховщиков. Токсичность и взрывоопасность... Это так. Но какие энергетические возможности! Вы там об этом подумали? Токсичность можно снизить, у нас этим 2-й цех занимается. Поверь мне, будет успех, и тогда перед нами необъятные горизонты...

За соседним столиком я узнаю чью-то знакомую спину. Неужели Слон? Точно. Рядом с ним еще какие-то очень внушительные личности...

Следующим утром Слон поздравил меня с первой вербовкой.

— Это учебная. Но ничего. Котенок, если хочет стать настоящим котом, должен начинать с птенчиков, а не с настоящих воробьев. А про бороводородное топливо забудь. Это не твоего ума дело.

— Есть забыть.

— И про очкастого забудь. Его дело с твоими отчетами и магнитофонными лентами мы передадим кому следует. Чтобы держать ГБ в узде, Центральному Комитету нужен конкретный материал о плохой работе КГБ. Где взять этот материал? Вот этот материал! — Слон распахивает сейф с отчетами моих товарищей о первых учебно-боевых вербовках.

Но с вытеснительными системами и бороводородным топливом мне еще раз пришлось встретиться. Перед самым выпуском из академии нам дали возможность поговорить с конструкторами вооружения — для того чтобы мы хоть в общих чертах представляли проблемы советской военной промышленности. Нам показывали танки и артиллерию в Солнечногорске, новейшие самолеты в Монине, ракеты в Мытищах. Мы проводили по несколько суток с ведущими инженерами и конструкторами, конечно, не зная их имен. Они тоже не совсем понимали, кто мы такие (какие-то хлопцы молодые из Центрального Комитета).

И вот в Мытищах меня провезли через три проходных пункта, через массу контролеров и охранников. В высоком светлом ангаре нам показали зеленую тушу. После долгих объяснений я спросил, а почему бы не вернуться к старым испытанным турбонасосам вместо вытеснительных систем.

— Вы ракетчик? — любопытствовал инженер.

— В некотором роде...

Глава восьмая

I

Я — шпион.

Я окончил Военно-дипломатическую академию и полгода работал в 9-м Управлении службы информации ГРУ. Потом из обработки информации меня перевели в добывание. Нет, добывание это не только за рубежом.

Советский Союз посещают миллионы иностранцев, и часть из них знает такие вещи, которые интересны нам. Этих иностранцев надо выделять среди всех остальных и вербовать их, и вырывать из них секреты силой, хитростью или за деньги.

Работа в добывании — это свирепая борьба тысяч офицеров

КГБ и ГРУ за интересных иностранцев. Работа в добывании — это поистине собачья работа. Не зря нас зовут борзыми. Работа в добывании — это бездушный генерал-майор ГРУ Борис Александров, который руководит добыванием на территории Москвы, для которого любые невыполнимые нормы кажутся недостаточными, который, не задумываясь, ломает судьбы молодым разведчикам за невыполнение плана и за малейшее упущение. В управлении генерала Александрова я работал год. Это был самый тяжелый год моей жизни. Но это был год моей первой вербовки, год первого добытого самостоятельно секретного документа. Только тот, кто сумеет сделать это в Москве, где неизвестных нам секретов не так уж много, может попасть за рубеж. Кто умеет работать в Москве, тот сумеет делать это где угодно. Поэтому я сейчас сижу в маленькой венской пивной, сжимая в руке холодную, чуть запотевшую кружку ароматного почти черного пива.

2

Лес сосновый. Просека. Холмы. Тихо. Толстый ленивый шмель своей тушей сел на лесной колокольчик. Эй ты, жирный, цветок поломаешь! Шмель мне что-то обидное прогудел, но спорить не стал, а колокольчик благодарно головкой закивал.

Один я в лесу. Машина у меня старая, побитая вся, на прокат кем-то для меня взятая. Время медленно тянется. Двадцать семь минут до встречи.

По паспорту я югославский гражданин, не то турист, не то безработный. Турист из безработного социализма. Жду. Друг, или, по нашему, особый источник, ровно в 13.00 должен появиться с деталями ракет. Меня он по двум признакам опознает: японский транзистор в левой руке и маленький значок с изображением футбольного мяча. А я его узнаю по времени появления: 13 ровно. Он время спросит, при этом должен встать чуть правее меня.

Хитрый друг оказался. Вознаграждения принимает не в долларах, не в марках и даже не в швейцарских франках. Он золотыми монетами берет. Если припрут: прабабушкино наследство.

Коробку с монетами я вон там в елках спрятал. Это на случай всяких неожиданностей. Если во время встречи обложат, как полиция объяснить, откуда у меня, бедного туриста, золотые дукаты?..

Откуда наш друг может брать детали противотанковых ракет? Кто он, генерал? Или конструктор ракет? По-другому ты кусок ракеты не утащишь. Будь ты инженер на заводе, заведующий складом или боевой офицер. Каждая деталь получает номер сразу в момент ее производства. Как ты ее украдешь? Только сам конструктор... Только генерал... Нет, черт побери, и конструктору, и генералу совсем нелегко красть ракетные детали. Кто-то, кто выше конструкторо-

ра и генерала? Но если и просто генерал, или просто генеральный конструктор, как же Младший лидер ухитрился его встретить и вербануть?

Противно роль нищего туриста играть: свитер рваный, ботинки стоптаны. Как же в таком виде я встречу американского генерала? Что он подумает о ГРУ, увидев мой мятый “фиат”?

Время. Нет его. Эх, генерал, где ж твоя дисциплина? Из-за поворота огромный грязный трактор с прицепом тащится. Старый немец-фермер, весь навозом пропах. Старый черт, тебя только тут не хватало. Я два часа в лесу просидел, ни одной души не было. И еще пять дней пройдет, ни одной живой души тут не появится. А тебя, старого, черти несут в самый момент встречи. Ну рули, рули скорее. А он как назло трактор передо мной останавливает. Чего тебе, старый дурак? Время? На тебе время! Я сую ему свои часы прямо в нос. Проезжай, старый пес. Но не собирается он уходить. Он возле меня стоит, чуть правее. Чего тебе надо? Чего, старый, злишься? Я тебе жить мешаю? Вали отсюда! Он мне на прицеп показывает. Ах, нехорошо получилось. Наверное, у него прицеп поломался. Помогать придется... а то ведь генерал сейчас подъедет. Тут меня озарило... С чего я взял, что особым источником должен быть генерал? Я вскакиваю на прицеп, срываю рваный промасленный брезент. О чудо! Под брезентом исковерканные обломки ракет “Тоу”. Помните эту хищную серебристую мордочку? Я таскаю обломки стабилизаторов, грязные печатные схемы, спутанные порванные провода, разбитый перепачканный грязью блок наведения в свою машину. Я руку ему трясусь. Danke schön. И бегом за руль. А он палкой грозно по моей машине стучит. Ну что тебе, дьявол, нужно? Он жестом показывает, что ему деньги нужны. А я и забыл. Бегом в ельник. Вырыл коробку. Бери. Вот теперь он заулыбался. А ты, старый хрыч, на зуб попробуй! Куда тебе, старому, столько золота? В гроб все равно с собой не возьмешь. А он улыбается. Вспомнил я инструкцию: “особых источников“ уважать надо, по крайней мере демонстрировать уважение. И я ему улыбаюсь.

Он в одну сторону, я — в другую. Я быстро гоню машину от места встречи. Мне теперь понятна простая механика всей операции.

1-я американская бронетанковая дивизия уже получила ракеты “Тоу“ и уже стреляет ими на полигоне. Конечно, без боеголовок. Поэтому маленькая ракета на конечном участке траектории просто разбивается о мягкий грунт.

У нас, когда стреляют “Фалангами“ и “Шмелями“, огромные пространства застилают брезентом, а потом батальон бросают на поиск мельчайших осколков. Американская армия этого не делает. И потому не надо вербовать генерала да главного конструктора. Достаточно вербануть пастуха, лесника, сторожа, фермера. Он вам обломков наберет хоть сто килограммов, хоть двести. Сколько в ба-

гажник поместится! Старый фермер, пропахший навозом, может стать источником особой важности и за тридцать сребреников продаст вам все что желаете. Боеголовок нет? Тем лучше. Без боеголовок весь блок наведения почти целым остается. А головки у нас не хуже американских. Нам блок наведения нужен. Схемы печатные нужны. Кому надо, тот их отмоет да отчистит. Если чего не хватает, в следующий раз привезем. И состав металла нужен. И композитные материалы нужны. И механизм раскрытия стабилизаторов, и остатки топлива чрезвычайно интересны, и даже нагар на поворотных турбинках. И все это в моем багажнике. И всем этим лично товарищ Косыгин интересуется.

Я гоню свою машину по прямым, как стрелы, автобанам Германии. Гитлер строил. Хорошо строил. Я жму на педаль сильнее и чуть улыбаюсь сам себе. Когда я вернусь, я буду просить прощения у Навигатора и у Младшего лидера. Я не знаю почему. Но я подойду и тихо скажу: “Товарищ генерал, простите меня“, “Товарищ полковник, простите, если можете“.

Они разведчики высшего класса. И только так надо действовать. Быстро, не привлекая внимания. Я готов рисковать и своей карьерой, и своей жизнью ради успеха ваших простых, но ослепительных в своей простоте операций. Если можете, простите меня.

3

Я вытянул свои уставшие ноги под столом. Мне хорошо. Тут так тихо и уютно. Как бы не уснуть. Я устал. Тихая мелодия. Седой пианист. Он, несомненно, великий музыкант. Он устал, как и я. Он закрыл глаза, а его длинные гибкие пальцы виртуоза привычно танцуют по клавишам огромного рояля. Несомненно, его место в лучшем оркестре Вены. Но он почему-то играет в венском кафе “Шварценберг“. Вы бывали в “Шварценберге“? Настоятельно советую. Если у вас тяжелая, изматывающая работа, если у вас красные глаза и уставшие ноги, если нервы взвинчены — приходите в “Шварценберг“, закажите чашку кофе и садитесь в уголок. Можно, конечно, сидеть и на свежем воздухе, за маленьким беленьким столиком. Но это не для меня. Я всегда захожу внутрь, поворачиваю вправо и сажусь в углу у огромного окна, закрытого полупрозрачными белыми шторами. Когда в Вене жарко, все сидят, конечно, на свежем воздухе. Там хорошо, но тогда кто-то может наблюдать за мной издалека. Я не люблю, чтобы меня кто-то мог видеть издалека. Поэтому я всегда внутри. Из своего уголка я вижу любого, кто входит в зал. Из-за прозрачной занавески я иногда посматриваю и наружу, на Шварценберг-плац. Кажется, что за мной сейчас никто не смотрит. И мне хорошо быть одному в этом уюте. Зеркала. Абстрактные шедевры. Роскошные ковры. Темно-коричневые стены —

полированный дуб. Тихая мелодия. Пьянящий аромат кофе: одновременно возбуждающий и успокаивающий. Если бы у меня был свой замок, я непременно заказал бы себе такие стены, на них бы развесил эти декадентские зеркала и картины, в углу поставил бы огромный рояль, пригласил бы этого старика пианиста, а перед собой поставил бы чашку кофе и сидел, вытянув ноги и подперев щеку кулаком. Мне кажется, что эту мелодию я уже когда-то давно слышал. Мне кажется, что я видел где-то эти картины на дубовых стенах и эти маленькие столики. Конечно, все это я видел раньше. Конечно, я помню и этот нежный аромат, и эту чарующую мелодию. Да. Все это я уже видел раньше. Это было давно. Несколько лет назад. Был огромный прекрасный город. Была тихая площадь с трамвайными рельсами. Огромные окна кафе. Был этот незабываемый запах и эта спокойная мелодия. Только тогда на площади у кафе у белых столиков стояли три грязных уставших танка с широкими белыми полосами. Они стояли тихо и не мешали чудесной мелодии. Было жаркое лето. Огромные окна кафе были открыты, и прекрасная музыка тихо и спокойно, как лесной ручей, струилась через окно. Я почему-то совершенно отчетливо представил себе три грязных танка с белыми полосами на Шварценберг-плац. У танка совершенно необычный запах. Его нельзя спутать ни с чем. Вы любите запах танка? Я тоже люблю. Запах танка — это запах металла, это запах сверхмощных двигателей, это запах полевых дорог. Танк приходит в город из лесов и полей, и он хранит запах листьев и свежей травы. Запах танка — это запах простора и мощи. Этот запах пьянит, как запах вина и крови. Я чувствую этот запах в тихом венском кафе. Я совершенно отчетливо могу себе представить тысячи грязных танков на улицах Вены. Город бурлит. Город охвачен страхом и негодованием, а по его улицам гремят бесконечные колонны танков. Из узких улочек из-за поворота появляются все новые и новые бронированные динозавры. Водители переключают передачи, и в этот момент двигатель извергает из себя черный густой дым вперемешку с брызгами несгоревшего топлива и хлопьями сажи. Скрежет и гром. Искры из-под гусениц. Черные от копоти и пыли лица солдат. Танки на мостах. Танки у вокзала. Танки у роскошных дворцов. Танки на широких бульварах и в узких улочках. Танки везде. Старик с лохматой белой бородой что-то кричит и машет кулаком. Но кто его услышит? Разве можно заглушить рев танковых дизелей? Поздно, старик. Слишком поздно ты начал кричать. Нужно было раньше кричать. Когда по тротуарам загремели кованые сапоги, когда вокруг стоит рев и скрежет бесчисленных танков — кричать поздно. Нужно или стрелять, или молчать. Город бурлит. Город в дыму. Где-то стреляют. Где-то кричат. Запах горелой резины. Запах кофе. Запах крови. Запах танков.

Наверное, я схожу с ума. Есть другая возможность: все давно сошли с ума, а я один — исключение. Есть и третья возможность: все давно сошли с ума. Все без исключения. Те, которые появляются на грязных танках в прекрасных мирных городах, — вне всякого сомнения, шизофреники. Те, которые живут в прекрасных городах, знают, что однажды, рано или поздно, эти танки появятся на Шварценберг-плац, и ничего не делают, чтобы это предотвратить, — тоже шизофреники. Черт побери, а мое место где? Я уже был в числе освободителей. Это не так приятно, как может показаться со стороны. Я больше не хочу оказаться в этой роли. Что же мне делать? Убежать? Прекрасная идея. Я буду жить в этом удивительном мире наивных и беззаботных людей. Я буду сидеть в кафе, вытянув ноги и подперев щеку кулаком. Я буду слушать эту чарующую мелодию. Когда придут грязные танки с белыми полосами, я буду стоять в толпе, кричать и махать кулаком. Плохо быть гражданином страны, по дорогам которой со скрежетом и лязгом идут броневые колонны освободителей. А разве лучше быть в числе освободителей?

4

Считается, что молодой шпион, который выдает себя за дипломата, журналиста, коммерсанта, не может быть активным в первые месяцы своей работы. Ему нужно вжиться в роль: изучить город и страну, в которой он работает, законы, обычаи, порядки. Молодые разведчики многих разведок именно так себя и ведут в первые месяцы — они готовятся к ответственным операциям. В это время на них мало внимания обращает местная полиция: у местной полиции проблем хватает и с опытными шпионами.

Но ГРУ — это особая разведка. Она не похожа на другие разведки. Раз в первые месяцы за тобой не следят, так и пользуйся этим!

В первый месяц моей работы я закладывал какой-то пакет в тайник, в течение недели контролировал место, где должен был появиться сигнал от кого-то, ночью в лесу принимал какие-то ящики и доставлял их в посольство, снимал с операции наших офицеров, когда группа радиоконтроля обнаруживала высокую активность полицейских радиостанций в районах наших операций. Все, что я делаю, — это обеспечение чьих-то операций, помощь кому-то, участие в операциях, назначения и цели которых я не знаю. Из сорока добывающих офицеров ГРУ нашей резидентуры больше половины делают ту же работу. Это называется “прикрывать хвост”. Тех, кто делают это, именуют презрительно “борзой”. Борзая — охотничий пес, которого не нужно много кормить, но можно гонять по полям и лесам за лисами да зайчишками. Можно и против крупных зверей

пускать борзую, но не одну, а в своре. Борзая — это длинные ноги и маленькая голова.

В мире все относительно. Я — офицер Генерального штаба. По отношению к миллиону других офицеров Советской Армии я — высшая элита. Внутри Генерального штаба — я офицер ГРУ, то есть высший класс по отношению к десяткам тысяч других офицеров Генерального штаба. Внутри ГРУ — я выездной офицер. Офицер, которого можно выпускать на работу за рубеж. Выездные офицеры это гораздо более высокий класс, чем просто офицеры ГРУ, которых за рубеж не пускают. Среди выездных офицеров ГРУ — я тоже отношусь к высшей касте — я добывающий офицер: это гораздо выше, чем наша охрана, механики, техники, служба радиосвязи и радиоперехвата. Но вот внутри этой самой высшей элиты — я плебей. Добывающие офицеры ГРУ делятся на два класса — борзые и варяги. Борзые — угнетенное бесправное большинство в высшей касте добывающих офицеров. Каждый из нас работает под полным контролем одного из заместителей резидента, почти никогда не встречая самого резидента. Мы охотимся за секретами, вернее, за людьми, которые этими секретами владеют. Это основная работа. Но, кроме этого, нас беспощадно используют для обеспечения секретных операций, об истинном значении которых мы можем только догадываться.

Выше слоя борзых стоят варяги. Варяг на языке древних славян — непрошенный заморский гость. Коварный, свирепый, задиристый, веселый и дерзкий. Варяги работают под личным контролем резидента, уважая его заместителей, но работая в большинстве случаев самостоятельно. Самые успешные из варягов становятся заместителями резидента. Они работают уже не одиночно, а получают в полное распоряжение группу борзых.

Первый заместитель резидента — Младший лидер — контролирует всех. Он сам очень активный и успешный добывающий офицер, но, кроме своей работы по добыванию и руководству собственной группой борзых, он контролирует группу радиоперехвата, он отвечает за охрану резидентуры и ее безопасность, за работу всех офицеров, в том числе технических и оперативно-технических. Ему не подчинены только шифровальщики. Ими командует резидент лично. Резидент, он же командир, он же папа, он же Навигатор, отвечает за все. У него практически неограниченные полномочия. Он, например, своей властью может убить любого из подчиненных ему офицеров, включая и первого заместителя, — в случаях, когда под угрозу будет поставлена безопасность резидентуры, а эвакуация офицера, который эту угрозу создает, невозможна. Право убивать офицеров ГРУ, кроме резидентов, имеет только Верховный суд, да и то, если на то будет воля Центрального Комитета. Так что в некоторых вопросах наш папа сильнее Верховного суда, он не

нуждается ни в чьих советах и консультациях, ему не нужны голо-сование или поддержка прессы. Он принимает решения сам и имеет достаточно власти и сил, чтобы свои решения претворять в жизнь, вернее, в смерть. Наш Навигатор подчинен начальнику 5-го направления 1-го Управления ГРУ. Но по ряду вопросов он подчинен только начальнику ГРУ. Кроме того, в случаях несогласия с руководством ГРУ в экстраординарных обстоятельствах он имеет право связаться с Центральным Комитетом. Необъятная мощь резидента уравнивается только существованием такой же могущественной, независимой и враждебной резидентуры КГБ. Оба резидента не подчинены послу. Посол придуман для того, чтобы только маскировать существование двух ударных групп в составе советской колонии. Конечно, на людях оба резидента демонстрируют послу некоторое уважение, ибо оба резидента — дипломаты высокого ранга, и своим непочтением к послу они выделялись бы на фоне других. Но этим почтением и кончается вся зависимость от посла. Каждая резидентура имеет в посольстве свою территорию, обороняемую от чужих, как неприступная крепость.

Дверь резидентуры — как дверка хорошего сейфа. Какой-то шутник очень давно привез из Союза табличку железную с мачты линии высокого напряжения: “Не влезай! Убьет!” Ну и соответственно над надписью череп с косточками. Эту табличку приварили к нашей зеленой двери, и она вот уже много лет хранит нашу крепость от посторонних.

5

— Обрати внимание на то, что во время войны в нашей авиации существовало две категории летчиков: одни (меньшинство) — с десятками сбитых самолетов на счету, другие (большинство) — почти ни с чем. Первые — вся грудь в орденах, вторые — с одной-двумя медальками. Первые пережили войну в большинстве, вторые — гибли тысячами и десятками тысяч. Статистика войны суровая. Девять часов в воздухе для большинства — после этого смерть. В среднем летчик-истребитель погибал в пятом боевом вылете. А в первой категории наоборот — у них сотни боевых вылетов и тысячи часов в воздухе у каждого... — мой собеседник Герой Советского Союза генерал-майор авиации Кучумов, ас во время войны, один из самых свирепых волков советской военной разведки — после нее. Сейчас по приказу начальника ГРУ он проводит проверку заграничных отделений ГРУ, спрятанных под легальными масками. В одни страны он приезжает как член различных делегаций по разоружению, сокращению, доверию и пр., в других странах он появляется как член совета ветеранов войны. Но он к разряду ветеранов себя никак не относит, он активный боец тайного фронта. Он

инспектирует нас и, голову даю на отсечение, проводит молниеносные и головокружительные тайные операции. Сейчас мы вдвоем с ним в "каюте". Он вызывает нас по одному. Разговаривая с нами, он, конечно же, контролирует нашего командира, а заодно и помогает ему.

— Между двумя категориями летчиков на войне была пропасть. Никакого связующего звена, никакого среднего класса. Ас, герой, генерал или убитый в первом вылете младший лейтенант. Среднего не давалось. Происходило это вот почему. Все летчики получали одинаковую подготовку и приходили в боевые подразделения, имея почти одинаковый уровень. В первом же бою командир разделял их на активных и пассивных. Тот, кто рвался в драку, кто не уходил в облака от противника, кто не боялся идти в лобовую атаку, тех немедленно ставили ведущими, а остальным приказывали активных прикрывать. Часто выделение активных бойцов происходило прямо в первом воздушном бою. Все командиры звеньев, эскадрилий, полков, дивизий, корпусов и воздушных армий бросали все свои силы, чтобы помочь активным в бою, чтобы их охранять, чтобы их беречь в самых жарких схватках. И чем больше активный имел успеха, тем больше его охраняли в бою, тем больше ему помогали. Я видел в бою Покрышкина, когда у него было на счету уже более пятидесяти германских самолетов. По личному приказу Сталина его прикрывали в бою две эскадрильи. Он идет на охоту, у него в хвосте ведомый, а две эскадрильи идут сзади: одна чуть выше, другая чуть ниже. Сейчас у него на груди три золотые звезды и бриллиантовая на шее, он маршал авиации, но не думай, что все это к нему само пришло. Совсем нет. Просто он в первом бою проявил активность, и его стали прикрывать. Он проявлял больше дерзости и умения, и ему все больше помогали, и больше им дорожили. А не случилось бы этого, то в самом начале его отнесли бы к числу пассивных, поставили на неблагодарную работу защищать кому-то хвост в бою. Так бы он в хвосте у кого-то и летал младшим лейтенантом. И, по статистике, на пятом вылете его бы сбили, а то и раньше. Статистика, она кому улыбается, а кому рожи корчит.

— Все это, — продолжает Кучумов, — я говорю к тому, что наша разведывательная работа от воздушных боев почти ничем не отличается. Советская военная разведка готовит тысячи офицеров и бросает их в бой. Жизнь их быстро делит на активных и пассивных. Одни достигают сияющих высот, другие сгорают в первой же зарубежной командировке.

Я ознакомился с твоим делом, и ты мне нравишься. Но ты прикрываешь хвосты другим. Работа в обеспечении — это тяжелая, опасная и неблагодарная работа. Кто-то получает ордена, а ты рискуешь своей карьерой, выполняя самую грязную и тяжелую работу.

Запомни, что от этого тебя никто не освободит. Любой командир нашей организации за рубежом, получая свежее пополнение молодых офицеров, использует их всех в обеспечивающих операциях, и они быстро сгорают. Их арестовывают, выгоняют из страны, и они потом всю жизнь прозябают в службе информации ГРУ или в наших "братских" странах. Но если же ты сам проявишь активность, сам начнешь искать людей и вербовать их, то командир немедленно сократит твою активность в обеспечении, наоборот, кто-то другой будет прикрывать тебе хвост, рисковать собой, защищая твои успехи. Такова наша философия. Несколько лет назад наш командир в Париже приказал пассивному помощнику военного атташе пожертвовать собой ради успеха нескольких других офицеров. Будь уверен, что командир жертвовал своим пассивным офицером. Активному, успешному он никогда такой неблагодарной задачи не поставит, и мы это полностью поддерживаем. Руководство ГРУ стремится как можно больше вырастить активных, дерзких, успешных асов. Не беспокойся, чтобы прикрыть таких людей, у нас всегда найдется множество пассивных, малодушных, инертных. И не думай, что все это я тебе говорю потому, что тебе отдаю предпочтение. Совсем нет. Я всем вам, молодым, это говорю. Работа у меня такая — боевую активность и боевую производительность повышать. Да вот беда, не до всех это доходит. Много у нас ребят хороших, которые так никогда и не выбираются в ведущие, чужие хвосты прикрывают и бесславно горят на песке. Желаю тебе успеха и попутного ветра. Все в твоих руках, старайся, и тебя будут две эскадрильи в бою прикрывать.

6

Советское посольство в Вене очень похоже на Лубянку. Тот же стиль, тот же цвет. Типичная чекистская безвкусица. Фальшивое величие. Лубянский классицизм. Было время, когда всю мою страну заполнило это фальшивое чекистское величие — колонны, фасады, карнизы, шпили, башенки и бутафорские балконы. Внутри посольства тоже "Лубянка" — мрачная и скучная. Фальшивый мрамор, лепные карнизы, колонны, кожаные двери, красные ковры и неистребимый запах дешевых болгарских сигарет.

И все же не все посольство — филиал Лубянки. Есть тут независимый остров — суверенный и независимый филиал Х...и, резидентура ГРУ. У нас свой стиль. У нас свои традиции и законы. Мы презираем стиль Лубянки. Наш стиль простой и строгий. Никаких украшений, ничего лишнего. Но наш стиль скрыт под землей. Его видим только мы. Все как в Москве: огромное здание КГБ в самом центре города на виду у всех. А здание ГРУ — Аквариум — спрятано от посторонних глаз. ГРУ отличается от КГБ тем, что ГРУ —

это секретная организация. Тут, в Вене, тоже стиль Лубянки виден всем. Стиль ГРУ спрятан от всех.

Но есть в советском посольстве еще и третий стиль. Возле, в густом саду, торжественно возвышается большой православный храм. Он стоит гордо и одиноко, и его золотые кресты выше, чем красный флаг. В утренней мгле первый луч солнца падает на самый высокий золотой крест и дробится, рассыпаясь на тысячи искр. Я твердо знаю, что Бога нет. В своей жизни я никогда не был в церкви. Мне никогда не приходилось долго находиться возле какой-нибудь церкви, пусть даже разрушенной. Но тут, в Вене, мне приходится каждый день бывать рядом с ней. Не знаю, почему, но она смущает меня. В ней что-то таинственное и чарующее. Она стоит тут больше ста лет. В ее строгом облике нет ни крупинки фальши. Столько цветов и столько узоров собрано вместе, но каждый узор и каждый оттенок неотделим от других, и вместе они образуют то, что называют словом "гармония". Я прохожу мимо и смотрю себе под ноги. Мне удастся это с трудом, ибо церковь властно притягивает взгляд к себе...

7

"Именем Союза Советских Социалистических Республик министр иностранных дел СССР просит правительства дружественных государств и подчиненную им военную и гражданскую администрацию пропустить беспрепятственно дипломатическую почту СССР, не подвергая ее контролю и таможенному досмотру в соответствии с Венской конвенцией 1815 года. Министр иностранных дел СССР А.Громыко".

Полицейский читает документ, отпечатанный на хрустящей дешевой бумаге с узорами и гербом. Если ему непонятно, то можно прочитать тот же текст на французском или английском языке. Тут же все это и отпечатано. Коротко и ясно: дипломатическая почта СССР. Скрипит полицейский зубами и косится на огромный контейнер. Непривычно это. Через Вену советская дипломатическая почта потоком идет. Водопадом. Ниагарой. Через Вену пролегает ее маршрут. Это означает, что раз в неделю советские вооруженные курьеры останавливаются в Вене, следуя дальше в Берн, Женеву, Рим. Потом они возвращаются тем же маршрутом. По дороге туда они оставляют контейнеры в советских посольствах. Возвращаясь назад, они принимают в посольствах контейнеры и везут их в Москву. Из Москвы они обычно везут пять—десять контейнеров килограммов по 50 каждый. А возвращаясь, они везут по 30—40 контейнеров. Иногда, случается, и по 100 контейнеров. За потерю контейнера курьерам грозит смерть. За каждый контейнер головой отвечает советский посол. Он обязан организовать встречу и

отправку дипломатической почты. И потому мы ее встречаем и провожаем. Гоняют нас на это дело в порядке живой очереди. Пока курьеры со своими контейнерами следуют по стране, рядом с ними всегда советский дипломат находится, чтобы в случае необходимости напомнить о том, что за попытку захвата контейнеров Советский Союз может применить санкции, включая и военные. Ну а с малыми группами желающих ознакомиться с содержанием контейнеров курьеры имеют право расправиться своей властью. Это их привилегия. Защита контейнеров с помощью оружия предусмотрена конвенцией, и потому курьеры сильны, и оружия у них достаточно.

Много везут дипломатические курьеры. Много. Все, что мы соберем, все они и везут в контейнерах: патроны и снаряды, оптику и электронику, куски брони и части от ракет, и документы, документы, документы. Всякие документы: военные планы, технические описания, проекты нового оружия, которое будет когда-нибудь производиться или никогда никем производиться не будет. Везут курьеры то, что Западом принято, и то, что Западом отвергнуто. Мы посмотрим. Мы обмозгуем. Может, мы примем то, что Запад отверг; может быть, мы придумаем противоядие против того, что Запад намерен производить. Идет информация в зеленых ящиках. Скрипит полиция зубами. Много ящиков. Совершенно секретно! Именем Союза Советских Социалистических Республик! В соответствии с Венской конвенцией 1815 года!

Едут курьеры. Везут контейнеры. Скрипит полиция зубами.

Но сегодня скрип особенный. Случай необычный. Сегодня у наших курьеров не 50-килограммовые контейнеры, нет, сегодня совсем большой контейнер — 5 тонн! Именем Союза Советских Социалистических Республик! Собралось все полицейское начальство. Ругаются тихо. На наш контейнер косые взгляды мечут. Контейнер сопровождаю я. Я им уже все документы предъявил. И уж фраза у меня заготовлена: “Задержка дипломатической почты Союза ССР, а равно попытки ее захвата, контроля, досмотра влечет за собой...” — ну и т.д.

Контейнер пригнали в Вену на особой платформе, продемонстрировав на таможене, что он пуст. Но теперь он загружен. Теперь он опечатан огромными красными печатями: “Дипломатическая почта СССР. Отправитель посольство СССР. Вена“. Теперь у контейнера наши курьеры. Теперь у курьеров оружие. Теперь у контейнера советский дипломат. У дипломата не очень высокий дипломатический ранг. Это всегда так делается. И все же он неприкосновенный представитель СССР. Троньте его — попробуйте. Нападение на дипломата — оскорбление государству, которое он представляет. Оскорбление дипломата может быть расценено как нападение на само государство. Скрипят полицейские чины зубами.

— Можно осмотреть правильность крепления контейнера на платформе?

— Это ваше право, — соглашаюсь я.

Но трогать наш контейнер руками они права не имеют. Только попробуйте. У меня прямая связь с генеральным консулом СССР в Вене, а у него прямая связь с Министерством иностранных дел СССР. Осмотрите.

Ходят полицейские чины вокруг контейнера. Ах, как хочется им узнать, что там внутри! Но не выгорит вам, господа. Что с воза упало, то не вырубишь топором.

Когда контейнер из ворот посольства вывозили, все наши соседи из КГБ с завистью матерились: ну, прохвосты, обскакали. Не иначе, ГРУ кусок ядерного реактора сперло. У полиции местной, наверное, то же мнение. Вот один совсем рядом с контейнером трется. Не иначе, радиометр в кармане имеет. Попробовать решил, не везем ли мы атомную бомбу. Остановить того полицейского я не могу. Контейнер он руками не трогает, а просто рядом прохаживается. Ну хрен с тобой. Прохаживайся. Твое право. Но не защелкает твой радиометр — внутри не атомная бомба и не кусок от ядерного реактора. Вот еще один полицейский у контейнера трется. День жаркий. Но он в плаще. Не иначе, под плащом у него аппаратуры электронной напихано. Не иначе, они стараются определить, металл там у нас внутри или нет. Может, мы двигатель секретного танка сперли? Но и тебе, братец, ничего не выгорит. Ни хрена ты своей электроникой не определишь. Вот и собаки рядом. Вроде как для нашей безопасности. Принимаются собаки. Ах, не выгорит вам, серые. И не нюхайте.

Курьеры наши на меня с уважением смотрят. Им-то ясно, что я к этому делу прямое отношение имею. Но что внутри контейнера, не положено курьерам знать. И никогда они этого не узнают. Ясно им, что контейнер не КГБ наполнял, а ГРУ. У дипломатических курьеров на этот счет особый нюх. Годами они эту работу делают. Знают, кто будет багаж принимать, а отсюда ясно, кто его отправляет. В данном случае им следует только переправить контейнер через границу, тут же их в Братиславе советский военный конвой встретит, которому контейнер и следует передать.

Ах, как бы удивились дипломатические курьеры, если бы узнали, что, попав в Братиславу, контейнер будет переправлен на первый советский военный аэродром, и там все его содержимое будет сожжено в печке. А ведь так оно и будет.

Давно Навигатор наш у посла чердак посольства просил. Давно посол нашему Навигатору отказывал. Нет, говорит, и точка. Но у Навигатора нашего растет хозяйство. С каждым годом растет количество серых ящиков с лампочками да антенн разных. Нужен

Навигатору чердак. Просит он посла, умоляет. Пропадает место, а мне электронику подслушивающую устанавливать некуда. Плюнул посол. Хрен с тобой, говорит. Забирай чердак. Но авгиевы конюшни там. Вычистить их надо. Сумеешь — твой чердак. Только, чур, меня не подводить. И грязь с чердака убрать своими силами. Много ли грязи, Навигатор интересуется. Все, что есть, — все твое, посол отвечает. Как ее убрать, я не знаю. Знал бы, давно бы там все очистил. От предшественников наследие там осталось... Ударили они по рукам. Отдал посол Навигатору ключик и еще раз попросил не болтать о том, что там наверху лежит. Вскрыл Навигатор чердак, личную печать посла нарушил, включил фонарь и обомлел. Забит чердак книгами. Красивые книги. Бумага рисовая, обложки глянцевые. Названия у книжек разные, а автор один: Никита Сергеевич Хрущев. Сообразил Навигатор ситуацию. Много лет назад хотела партия, чтобы голос ее весь мир слышал. Оттого речи самого умного в партии человека на лучшей бумаге печатались и по всему свету рассылались. Тут посольства их всем желающим даром раздавали, во все библиотеки рассылали. А партия внимательно следила, какой посол слово партии хорошо распространяет, а какой — не очень. Между послами соревнование: кто больше книг бесплатно распространит. Рапортуют послы: я сто тысяч распространил! Я — двести тысяч! А я — триста!!! Ну, хорошо, в Москве говорят, раз так легко их распространять, раз народы мира так сочинениями нашего дорогого вождя интересуются, вот тебе еще сто тысяч! Распространяй да помни — в Париже посол лучше тебя работает! А в Стокгольме необычайный интерес! А в Канаде люди так и прут валом, чтобы книги те заполучить... Как там в Париже и в Оттаве эти книжки распространяли, не знаю, но в Вене их спустя много лет на чердаке обнаружили. Пошел Навигатор к послу:

— Выкинуть их на свалку, — говорит.

— Что ты, — посол взмолился. — Узнают газеты буржуазные, скажут, что прошлого лидера нашей родной партии мы обманывали, может, и современного лидера так же обманываем. Что будет, если такая статья появится?

— Ну сжечь их! — Навигатор предлагает. Но тут же и осекся. Сам понял, что нельзя такую уйма книг жечь. Всякий знает, что, если в посольстве несколько тонн бумаги сжигают, значит, война. Паника начнется. А кому отвечать? Сжигать их понемногу тоже нельзя — чердак и за год не очистишь.

Поматерился Навигатор, шифровку в Аквариум настроил: получим чердак для электроники, если посла выручим без особого шума. Аквариум согласие дал. Контейнер прислал и документы соответствующие.

Две ночи мы, борзые, книги на себе с чердака в контейнер тас-

кали. Тронешь их — чихаешь потом два часа. Пыль, жара на чердаке. Лестницы крутые. Пробежишься вверх-вниз по ступенькам, сердце прыгает. Пот льет. Ах, как же мы тебя, Никита Сергеевич, матом крыли!

Контейнер к самым дверям подогнать пришлось, и просвет между дверью и контейнером брезентом укутать да караул установить. Смотрят соседи из КГБ на охрану да на огромный контейнер, с завистью посвистывают.

Посмотрели полицейские чины еще раз на контейнер, проверили бумаги еще раз, махнули руками, черт с вами, проезжайте. Ничего не поделаешь. Ясно полиции, что сперла советская военная разведка что-то важное, и непонятно, как сумела эту штуку в посольство протащить. А уж если это удалось, то тут ничего не поделаешь. Проезжай!

Глава девятая

1

В ГРУ новые веяния. В ГРУ новые люди. Фамилии новых начальников 2-го, 7-го и 12-го управлений, 8-го направления, 6-го Управления и 4-го направления 11-го Управления мне не говорят ничего. Генералы да адмиралы. Но фамилия нового начальника 5-го Управления знакома до боли. Кравцов. Генерал-лейтенант. Пять лет назад, когда я уходил в академию, он получил свою первую генеральскую звезду. Теперь их две. Наверное, скоро будет три. Все его предшественники на этом посту были генерал-полковниками. 5-е Управление! Под контролем этого небольшого жилистого человека весь Спецназ Советской Армии. Ему подчинены диверсионные и добывающие агентурные сети шестнадцати военных округов, четырех групп войск, четырех флотов, сорока одной армии и двенадцати флотилий. Ему сейчас сорок четыре года. Успехов вам, товарищ генерал.

А у меня нет успехов. Я знаю, что нужно искать выходы к секретам, но у меня на это не остается времени. Дни и ночи я в агентурном обеспечении без выходных, без праздников. Спидометр моей машины взбесился. Не проходит недели, чтобы на спидометре тысячи километров не прибавилось. Иногда эти тысячи прибавляются катастрофически быстро, и тогда Сережа Нестерович — наш автомеханик, по приказу Младшего лидера подкручивает спидометр, сбрасывая лишние тысячи. У него для этого есть специальный приборчик: коробка и длинный металлический тросик в трубке. Был бы я на его месте, непременно сбежал бы с этим при-

борчиком в Америку. Покупал бы старые машины, прокручивал спидометры и продавал их как новые.

Крутит он спидометр не мне одному. Много нас, борзых, в резидентуре. И каждый носится по Европе интенсивно, как Генри Киссинджер.

Спидометр — лицо разведчика. И не имеем мы права показывать своего истинного лица. Крути, Сережа!

2

Навигатор руки потирает.

— Заходите. Рассаживайтесь. Все?

Младший лидер окидывает нас взглядом. Пересчитывает. Улыбается Навигатору:

— Все, товарищ генерал, за исключением шифровальщиков, группы радиоконтроля и группы радиоперехвата.

Навигатор ходит по залу, смотрит в пол. Вот он поднимает голову и радостно улыбается. Таким счастливым я его никогда не видел.

— Благодаря стараниям Двадцать Девятого наша резидентура сумела добыть сведения о системе обеспечения безопасности на предстоящей в Женеве выставке “Телеком-75”. Подобные материалы сумели добыть дипломатические резидентуры ГРУ в Марселе, в Токио, в Амстердаме и в Дели. Но наша информация наиболее полная и получена раньше других. Поэтому начальник ГРУ — он выжидает мгновение, чтобы придать заключительной фразе больше веса, — поэтому начальник ГРУ доверил нам проведение массовой вербовки на выставке!

Мы взвыли от восторга. Мы жмем руку Двадцать Девятому. Зовут его Коля Бутенко. Он капитан, как и я. В Вену он приехал позже меня, но уже успел совершить две вербовки. Варяг.

— Двадцать Девятый.

— Я, товарищ генерал, — Коля вскочил.

— Благодарю за службу!

— Служу Советскому Союзу!

— А теперь тихо. Восторги будут после выставки. Как делается массовая вербовка, вы знаете. Не дети. На выставку выезжаем всей резидентурой. Все работаем только в добывании. В обеспечении работают дипломатическая резидентура ГРУ в Женеве генерал-майора Звездина и бернская резидентура генерал-майора Ларина. Если потребуется выход на территорию Франции, то марсельская и парижская резидентуры ГРУ готовы к обеспечению. Общее руководство осуществляю я. На время операции мне временно будет подчинен начальник 3-го направления 9-го Управления службы информации ГРУ генерал-майор Фекленко. Он прибывает во главе мощной делегации. Николай Николаевич...

— Я, товарищ генерал... — заместитель по информации вскочил.

— Встреча делегации, размещение, транспорт на твоей совести.

— Да, конечно, товарищ генерал.

— В ходе массовой вербовки применяем обычную тактику. Если кто совершит глупость, то я принесу его в жертву общему успеху, точно так, как парижский лидер ГРУ пожертвовал пешкой — помощником военного атташе в ходе массовой работы на выставке в Ле Бурже. Мой первый заместитель (Младший лидер встает) познакомит каждого из вас с теми членами делегации, с которыми каждый будет работать. Желаю удачи.

3

Московский экспресс прибывает в Вену в 5.58 вечера.

Делегация огромна. Офицеры информации ГРУ, офицеры Военно-промышленного комитета (ВПК) Совета министров СССР, эксперты военной промышленности, конструкторы вооружения. Конечно, ничего этого не вычитаешь в их паспортах. Если верить паспортам, то они из Академии наук, из Министерства внешней торговли, из каких-то несуществующих институтов. Но разве можно верить нашим паспортам? Разве в моем дипломатическом паспорте указано, что я офицер добывания ГРУ? Здравствуйтесь! Здравствуйтесь.

На нашей маленькой смешной планете происходят удивительные вещи. Но они почему-то удивляют только меня и никого более. Никому дела никакого нет до огромной советской делегации. Никто вопросов не задает. А неясных вещей множество. Почему, к примеру, советская делегация прямо в Женеву не едет, зачем она на три дня в Вене останавливается? Отчего делегация в Вену прибыла единым монолитным строем, как батальон, а в Вене вдруг раздробилась, распалась, рассыпалась? Отчего делегаты направляются в Женеву разными путями, разными маршрутами, кто поездом, кто автобусом, а кто самолетом летит? Что за чудеса, до Вены поездом не спеша, а дальше самолетом? Отчего на выставке в Женеве советских дипломатов сопровождают советские служащие ООН в Вене, а не советские служащие ООН в Женеве? Вопросов много. Но никого они не интересуют. И никто на эти вопросы ответов не ищет. Что ж, тем лучше для нас.

4

Выставка — это поле битвы для ГРУ. Выставка — это поле, с которого ГРУ собирает обильные урожаи. За последние полвека на нашей крошечной планете не было выставки, которую не посетили бы ГРУ.

Выставка — это место, где собираются специалисты. Выстав-

ка — это клуб фанатиков. А фанатику нужен слушатель. Фанатику нужен кто-то, кто бы кивал головой и слушал его бред. Для того они и устраивают выставки. Тот, кто слушает фанатика, кто поддакивает ему, тот — друг. Тому фанатик верит. Верь мне, фанатик. У меня работа такая, чтобы мне кто-то поверил. Я, как ласковый паучок. Поверь мне, не выпутаешься.

Для ГРУ любая выставка интересна. Выставка цветов, военной электроники, танков, котлов, сельскохозяйственной техники. Одна из самых успешных вербовок ГРУ была сделана на выставке китайских золотых рыбок. Кто на такую выставку ходит? У кого денег много. Кто связан с миром финансов, большой политики, большого бизнеса. На такую выставку ходят графы и маркизы, министры и их секретарши. Всякие, конечно, люди на выставки ходят, но ведь выбирать надо.

Выставка — это место, где очень легко завязывать контакты, где можно заговорить, с кем хочешь, невзирая на ранги.

Но ГРУ никогда не работает в первый день работы выставки. Первый день — открытие, речи, тосты, суэта, официальные лица, излишне нервная полиция. Любая выставка принадлежит нам, начиная со второго дня.

День, когда выставка открывается, важен для каждого из нас, как для командира последний день перед наступлением. В этот день командир вновь и вновь томительными часами прошупывает поле битвы своим биноклем: овраг обойти, вон там ребят дымовой завесой прикрыть, черт, в болотце бы не утонуть, неприметное на вид, а вон там заградительный огонь поставить десятью батареями, оттуда контратака будет.

Огромные силы агентурного добывания, обработки и агентурного обеспечения стянуты сейчас в этот милый город. Но мы пока не на выставке. Первый день — не наш. Мы разбрелись по бульварам и набережным, по узким улицам и широким проспектам. Каждый еще и еще раз готовит свое поле битвы: не обошли бы с фланга, не ударили бы в тыл.

Не знаю, почему, но завтрашняя массовая вербовка меня пока не волнует. Не стучит и не сжимается сердце. Нет. Не оттого, что я великий разведчик, бесстрашно идущий на рискованную операцию. Наверное, просто оттого, что я занят другим. Меня занимает не предстоящая вербовка, а великий город Женева. Просто добрый волшебник бросил меня в царство прошлого, где на одной улице смешались все эпохи. Улица эта — *güe de Lausanne* — улица ГРУ.

Тут на рю де Лозанн до войны в большом старом доме в незаметной квартире на третьем этаже находился центр нелегальной резидентуры ГРУ, которой руководил Шандор Радо. Дипломатический резидент ГРУ и не подозревал, что прямо в двух кварталах от него работает сверхмощная тайная резидентура “Дора“, опутавшая

правительства Европы своими цепкими щупальцами. Тут же на этой улице находился узел связи нелегальной резидентуры ГРУ “Роланд“, которой управлял генерал Мрачковский. Резидентура “Роланд“ раскинула свои сети от Шанхая до Чикаго. Но Навигатор “Роланда“ не подозревал о существовании “Доры“. А Навигатор “Доры“ не знал о Мрачковском и его чудовищной организации “Роланд“. А дипломатический резидент не знал об обоих.

Яркий осенний день. Жарко. Но листья уже шуршат под ногами. Иностранцы рабочие, испанцы или итальянцы, одетые в оранжевые комбинезоны, спешат убрать первое золото осени с дорожек парка.

Эй, не делайте этого. Неужели вам не нравится ходить по багровым и червонным коврам? Неужели шуршание осени вас не волнует? Неужели серый асфальт лучше? Нет у вас, братцы, поэзии ни на грош. И оттого ваш маленький прожорливый трактор так быстро и жадно заглатывает красу природы. А были бы вы чуть более поэтичны, то бросили бы работу да наслаждались. Сколько красок! Какое великолепие. Какая роскошь. Человек никогда не сможет сделать лучше того, что делает природа. Вот напротив входа в парк Мон-Репо — школа. Красивая, как замок. И часы на башне. Заглядывание. Но ведь серая она. Нет бы пятнами ее изукрасить золотыми да багровыми, да оранжевыми.

Под часами на башне школы дата “1907“. Это значит, что и Ленин на эту школу любовался. А может быть, буржуазный стиль ему не нравился? Во всяком случае, он тут жил. На рю де Лозанн, где потом разместились резидентуры ГРУ, где сейчас огромные дома для дипломатов громоздятся. Голову на отрез, нелегальные резидентуры ГРУ и сейчас тут работают, не снижая производительности. Хорошее место. Понимал Владимир Ильич, где жить. Понимал, в каких парках гулять. Рабочих он любил, а буржуазию ненавидел. Поэтому он не жил в рабочих кварталах Манчестера или Ливерпуля. Он жил в стане врагов, в буржуазных кварталах Женевы. Наверное, хотел глубже понять психологию и нравы буржуазии, чтобы бить ее наверняка, чтобы всех сделать свободными и счастливыми.

В те дни тут по парку Мон-Репо и по рю де Лозанн гуляли террористы, мечтавшие убить русского царя, — Гоц, Бриллиант, Минор. Наверное, встречая Ленина, они раскланивались, приподнимая черные котелки, прижимая ладонь к накрахмаленной манишке. А может быть, они принципиально не замечали друг друга и не раскланивались. Во всяком случае, когда Ленин взял власть, он всех террористов, попавших в его руки, перестрелял, а заодно и царя, которого террористы так и не сумели убить.

Мне нужно спешить. У меня только один день. Последний день перед боем, перед моей первой зарубежной вербовкой. Я должен

знать поле битвы, как свою ладонь, как командир батальона знает изрытое воронками поле, по которому завтра пойдут в наступление его ребята. Но я не спешу. Меня очаровал старый парк, который видел так много. Тут в октябре 1941 года на какой-то скамеечке состоялось совещание нелегальных резидентов ГРУ в Европе. Пока Советский Союз не принимал участия в европейской войне, гестапо не трогало его агентуры, хотя и имело некоторые сведения о ней. Но в первый день войны начались провалы. Начались массовые аресты. Операции по локализации провалов результатов не давали. Провалы множились. Провалы групповые. Провалы по цепочке. Провалы, как круги на воде от брошенного камня. Провалы на линиях связи. Связь потеряна. Явки ненадежны. Под подозрением все. Каждый резидент подозревает каждого своего офицера и агента, а каждый из них подозревает всех остальных. Каждый резидент уже чувствует дыхание гестапо на своей шее и запах теплой крови в камерах пыток. Каждый бессилен.

В этой обстановке они собрались в Женеве. В парке Мон-Репо. Им запрещено было это делать. Ни один из них не имеет права знать ничего о деятельности таких же резидентур ГРУ. Такая встреча — преступление. За такую встречу, если в Москве узнают, — расстрел. Но они встретились.

По своей инициативе. Как они нашли друг друга? Не знаю. Наверное, по “почерку”. Точно как проститутка в огромной толпе среди тысяч женщин безошибочно может найти незнакомую подружку по профессии.

Как вор видит вора. Как сидевший в тюрьме без труда по каким-то неуловимым признакам узнает того, кто когда-то тоже был в тюрьме.

Они встретились. Они сидели угрюмые, может быть, под этим каштаном. Волки разведки. Высшая элита агентурного добывания — нелегальные резиденты. Навигаторы. Лукавые. Командиры. Они сидели тут и, наверное, больше молчали, чем говорили. Может быть, для них это молчание было и прощание с жизнью, и моральная подготовка к пыткам, и взаимная братская поддержка.

Вряд ли кто, глядя со стороны, мог подумать, что тут собран цвет руководства сверхмощной организации, которая не единожды сжимала глотку Европы невидимой, но железной хваткой. Вряд ли, глядя на этих людей, кто-то мог подумать, что каждый из них повелевает безраздельно тайной организацией, способной проникать в высшие сферы власти и шатать устои государственности, смещая министров и целые правительства, потрясая столицы топотом миллионов демонстраций. Кто мог подумать, что эти люди в парке Мон-Репо обладают почти неограниченными богатствами? Они сидели в поношенных пальто, в истертых пиджаках, в стоптанных бо-

тинках. Настоящий разведчик не должен привлекать к себе взглядов. Он незаметен, как асфальт. Он сер. Внешне.

Это были загнанные волки. Зажатые в угол. Им не было выхода. То, что они делали, карается в Советском Союзе высшей мерой наказания и именуется страшным термином: горизонтальные связи в агентурном добывании. В ухо им дышало гестапо.

Они сидели долго. Они о чем-то спорили. Они приняли решение. Они изменили тактику. Они изменили системы связи, способы локализации провалов, проверок и вербовок. Каждый делал это якобы по собственной инициативе, не докладывая в ГРУ о тайном сговоре. Да связи тогда и не было.

Они все пережили войну. Каждый из них добился блестящих результатов. Они все вместе доложили руководству ГРУ о незаконном совещании 41-го в 1956 году. Они все стали героями. Победителей не судят.

5

Я завербовал ценного агента, который будет десятилетиями поставлять нам самую современную электронную технику для самолетов, для артиллерии, для боевых вертолетов, для систем наведения ракет. То, что он завербован — в этом ни у меня, ни у Младшего лидера сомнений нет.

Правда, что о новом секретном агенте ГРУ мы знаем только то, что на его визитной карточке указано. О его аппаратуре известно больше: у нас две небольшие вырезки из газет об аппарате RS-77. Но это не беда. Это совсем не главное. Главное то, что его аппарат нужен нам, и он будет нашим. А о секретном агенте мы скоро узнаем больше. Главное, что он согласен тайно работать с нами.

За неполных семь минут вербовки я сообщил ему множество важных вещей. Я сказал самые обыкновенные фразы, из которых следовало, что:

- мы официальные представители Советского Союза;
- нас интересует самая современная военная электроника, в частности его аппараты;
- мы готовы хорошо платить за них, и он теперь знает нашу точную цену;
- мы работаем скрытно, умело, осторожно, не давим и не настаиваем;
- нам не нужно много экземпляров прибора, а лишь один для копирования.

Из всего этого он уже сам может заключить, что:

- мы не являемся конкурентами его фирмы;
- если подобное производство будет налажено в СССР, то он от этого не теряет, а выигрывает: возрастет спрос и на его аппара-

туру, а может быть, западные армии закажут нечто еще более дорогое и современное;

— продав нам только один экземпляр аппарата, он может это легко скрыть от властей и от полиции, один — это не сто и не тысяча;

— наконец, ему совершенно ясны наши предложения, он знает, чего мы хотим, и поэтому не боится нас, он понимает, что продажа аппарата может быть квалифицирована как промышленный шпионаж, за который на Западе почему-то меньше наказывают.

Ему ясны все аспекты сделки. В одном предложении я сообщил ему наши интересы, условия и цены. Поэтому, когда он кивнул головой, согласившись встретиться, он совершенно отчетливо сказал “да” советской военной разведке. Он понимает, что мы занимаемся запрещенной деятельностью, и соглашается иметь с нами контакты. Значит...

Мой короткий вербовочный разговор — это примерно то же самое, что молоденькой красивой студентке объяснить, что я богатый развратник и за половые сношения с хорошенькой девочкой готов щедро платить. Да деньги показать и сказать, сколько именно. И тут же ей предложить встретиться и наедине послушать музыку. Если она согласна, что же еще обсуждать? О чем еще говорить?

Именно так осуществляются мгновенные массовые вербовки на выставках: это нам интересно, готовы платить, где встретимся?

С другой стороны, если бы весь мой разговор с ним записали на пленку, то в нем не было решительно ничего криминального. Мы посмотрели на прибор, сказали, что хотели бы его купить, но это не разрешено. А потом я вернулся и предложил вечером выпить вина.

6

Я молод и неопытен. Мне пока прощают семь минут на вербовку. Вообще-то мгновенная вербовка и должна делаться мгновенно. Десятью словами. Одним предложением. Одной доброй улыбкой.

Вербовка должна быть немедленно и надежно закрыта: я должен обойти сотни стендов, говоря примерно то же самое, улыбаясь примерно так же. Но не вербуя. Если за мной следят, то как определить одного из сотни, который сказал “да” советской военной разведке? Нас много на выставке. Много вербующих, много обеспечивающих. Каждый закрывает свою вербовку сотней других встреч. На выставке тысячи людей. Поток. Водоворот. Шанхай. Поди уследи, попробуй.

Нового человека нужно немедленно уводить далеко. Уже сегодня ночью мои более опытные товарищи проведут встречи с вновь завербованными агентами на территории Франции, Италии, Западной Германии. Я встречаюсь в Монтре. Кто-то проводит тайные встречи в Базеле, Цюрихе, Люцерне. Дальше от Женевы! Еще

дальше! Это только первые встречи. Вторые встречи будут проводиться и в Австрии, в Финляндии, в США. Дальше от Швейцарии! Еще дальше!

Я долго путаю следы. Меня хорошо обеспечивают. Если за мной следили, то меня давно потеряли. Я испарился. Меня нет. Я растворился в огромных магазинах. Я потерян в бескрайних подземных гаражах. Я ускользнул в переполненном лифте.

В багажнике с дипломатическим номером меня вывозят из Женевы в Лозанну. Это первое обеспечение. Это варяги из дипломатической резидентуры ГРУ в Женеве. Они не видели меня и не знают обо мне. Они поставили свою машину в подземном гараже в точно определенное время, ушли, оставив багажник незапертым. Такова инструкция. Они, наверное, догадываются, что их обеспечение как-то связано с выставкой. Но как? Они не имеют права смотреть в багажник своей машины. Они стремительно несутся по автостраде. Они не менее четырех часов проверяли, нет ли слежки за ними. Они проверяют это и сейчас. Подземный гараж в Лозанне. Темное место со множеством этажей, лестниц и выходов. Если следят за ними, следят ли за машиной? Наверное, нет. У них тысяча дел. Они ходят по городу, совершая совершенно непонятные маневры. Они возвращаются к машине и едут дальше. Снова стоянки. Снова подземные гаражи. Они сами не знают, есть ли что в багажнике или уже нет. Там, конечно, ничего нет. Я давно еду в поезде. В вагоне без желтой полосы над окнами. Второй класс. Серый вагон. Серый билет. Серый пассажир. Я еду далеко. Я внезапно схожу. Я меняю поезд. Я снова еду. Я исчезаю в подземных переходах, в толчее, в подвалах пивных, в темных переулках. Это новая страна для меня. Но я знаю ее наизусть. Кто-то тщательно подготовил для меня все проходы. Кто-то месяцами выискивал и описывал их. Кто-то беспросветно работал в борзых, обеспечивая мою вербовку.

Существуют только четыре возможности, которые могут привести к провалу:

- если за мной следят;
- если под контроль взяты все люди, с которыми я встретился сегодня;
- если мой новый друг — провокатор полиции или, испугавшись, доложил в полицию и теперь стал провокатором;
- если на месте встречи нас совершенно нечаянно узнает кто-то, кто доложит в полицию.

Из четырех возможностей я отбрасываю три. Во-первых, за мной не следят. Во-вторых, я встретил сегодня около сотни людей. Установить контроль за каждым невозможно. В-третьих, место про-

ведения встречи подобрано женевскими борзыми ГРУ совсем неплохо. Вероятность столкнуться со знакомыми почти исключена. Остается только мой новый друг. Но и его проверить нетрудно. Сегодня ночью эксперты ГРУ проверят доставленный им аппарат. Если он действует, значит, друг с полицией не связан. Вряд ли полиция будет так дорого платить секретами, не получая ничего взамен.

Место встречи подобрано для меня совсем неплохо. Это тоже некий безвестный борзой искал. Описывал. Доказывал преимущества. Если мне место не понравится, я могу пожаловаться Младшему лидеру завтра, еще через день об этом узнает начальник ГРУ и спустит Тузика на женевского Навигатора. Но я жаловаться не буду. Место нравится мне. Отель должен быть большим. Там никто ни на кого не обращает внимания. Отель должен быть хорошим, но не лучшим. Все именно так и подобрано. Но самое главное, я должен иметь защищенный наблюдательный пункт и следить за всем происходящим по крайней мере в течение часа до начала встречи. Есть такой пункт. Если друг доложил о встрече, если полиция готова следить, то вокруг места встречи возможно какое-то подозрительное движение.

Я жду час. Но ничего подозрительного не происходит. В 20.54 появляется он. Он один в желтом “ауди-100“. Номер машины я запоминаю. Это важная деталь. Никто не подъехал вслед за ним. Он заходит в ресторан, оглянувшись по сторонам. Это очень хороший признак. Если он под полицейской защитой, то не озирался бы. Смотреть по сторонам — это очень непрофессионально, но я ему этого не скажу. Будут другие встречи. Его всегда будут контролировать. Пусть озирается. Нам от этого спокойнее. Значит, он в дружбе с полицией не состоит.

В 21.03 я покидаю свой наблюдательный пост и захожу в ресторан.

Мы улыбаемся друг другу. Самое главное сейчас — успокоить его, открыть перед ним все карты или сделать вид, что все карты раскрыты. Человек боится только неизвестности. Когда ситуация ясна, человек ничего не боится. А если не боится, то и глупостей не делает.

— Я не собираюсь вас вовлекать ни в какие аферы, — в этой ситуации я говорю “я“, а не “мы“. Я говорю от своего имени, а не от имени организации. Не знаю почему, но это действует на завербованных агентов гораздо лучше. Видимо, “мы“, “организация“ пугают человека. Ему хочется верить, что о его предательстве знают во всем мире он и еще только один человек. Только один. Этого не может быть. За моей спиной — сверхмощная структура. Но мне запрещено говорить “мы“. За это меня карали в Военно-дипломатической академии.

— Я готов платить за ваш прибор. Он нужен мне. Но я не настаиваю.

— Отчего вы решили, что я пришел работать на вас?

— Мне так кажется. Отчего же нет. Полная безопасность. Хорошие цены.

— Вы действительно готовы платить 120 000 долларов?

— Да. 60 000 немедленно. За то, что вы меня не боитесь. Еще 60 000, как только я проверю, что прибор действительно действует.

— Когда вы сможете в этом убедиться?

— Через два дня.

— Где гарантия, что вы вернете и вторую половину денег?

— Вы очень ценный человек для меня. Я думаю получить от вас не только этот прибор. Зачем мне вас обманывать на первой же встрече?

Он смотрит на меня, слегка улыбаясь. Он понимает, что я прав. А я смотрю на него, на своего первого агента, завербованного за рубежом. Безопасность своей прекрасной страны он продает за тридцать сребреников. Это мне совсем не нравится. Я работаю в добычании оттого, что нет у меня другого выхода. Такова судьба. Если не здесь, то в другом месте система нашла бы для меня жестокую работу. И если я откажусь, меня система сожрет. Я подневольный человек. Но ты, сука, добровольно рвешься нам помогать. Если бы ты встретился мне, когда я был в Спецназе, я бы тебе, гад, зубы напильником спилил. Я вдруг вспоминаю, что агентам положено улыбаться. И я улыбаюсь ему.

— Вы не европеец?

— Нет.

— Я думаю, что нам не надо встречаться в вашей стране, но не нужно и в Швейцарии. Что вы думаете по поводу Австрии?

— Отличная идея.

— Через два дня я встречу вас в Австрии. Вот тут, — я протягиваю ему карточку с адресом и рисунком отеля. — Все ваши расходы я оплачу. В том числе и на ночной клуб.

Он улыбается. Но я не уверен в значении улыбки: доволен, недоволен? Я знаю, как читать значение сотен всяких улыбок. Но тут, в полумраке, я не уверен.

— Прибор с вами?

— Да, в багажнике машины.

— Вы поедете в рошу вслед за мной, и там я заберу ваш прибор.

— Не хотите ли вы меня убить?

— Будьте благоразумны. Мне прибор нужен. На хрена мне ваша жизнь? “Ты мне живой нужен, — добавляю я уже про себя. — Я на первом приборе останавливаться не намерен. Зачем же тебя убивать? Я миллион тебе готов платить. Давай только товар”.

— Если вы готовы платить так много, значит, ваша военная промышленность на этом экономит. Так?

— Совершенно правильно.

— За первый прибор вы платите 120 000, а экономите себе миллионы.

— Правильно.

— В будущем вы мне заплатите миллион, а себе сэкономите сто миллионов. Двести. Триста.

— Именно так.

— Это эксплуатация! Я так работать не желаю. Я не продам вам свой прибор за 120 000.

— Тогда продайте его на Западе за 5 500. Если у вас его купят. Если вы найдете покупателя, который вам заплатит больше, чем я, — дело ваше. Я не настаиваю. А я тем временем куплю почти такой же прибор в Бельгии или в США.

Это уже блеф. На крупную фирму не пролезешь. Ребра поломают. Нет у меня другого выхода к приемникам отраженного лазерного луча. Но я спокойно улыбаюсь. Не хочешь, не надо. Но ты не монополист. Я в другом месте куплю.

— Счет, пожалуйста!

Он смотрит мне в глаза. Долго смотрит. Потом улыбается. Сейчас свет падает на его лицо, и поэтому я уверен, что улыбка не таит в себе ничего плохого. И я вновь улыбаюсь ему.

Он достает сверток из багажника и передает мне.

— Нет, нет, — машу я руками. — Мне лучше его не касаться. Несите его в мою машину. (В случае чего, можно будет сказать, что ты нечаянно сверток забыл в моей машине. Никакого шпионажа. Просто забывчивость.)

Он садится в мою машину (это, конечно, не моя, а взятая для меня напрокат теми, кто меня обеспечивает).

Двери изнутри запереть. Такова инструкция. Аппарат — под сиденье. Я расстегиваю жилет. Это специальный жилет. Для транспортировки денег. В его руки я вкладываю шесть тугих пачек.

— Проверяйте. Если через два дня вы привезете техническую документацию, я заплачу остающиеся 60 000 и еще 120 000 за документацию.

Он кивает головой.

Я жму ему руку.

Он идет к своей машине. Я, рванув с места, исчезаю в темноте.

Я смотрю в зеркало, а на меня смотрит серое лицо, поросшее щетиной. Глаза красные у этого человека в зеркале, ввалились. Он сильно устал.

— Спускайся вниз, попарь косточки. Побрейся. И к командиру на львиную шкуру.

— Зачем?

— Не бойся, не на расправу.

В сауне трое моих друзей: 4-й, 2-й, 32-й.

— Здорово, братцы.

— Здравствуй, варяг!

Парятся они уже, видно, давно. Раскраснелись.

— Садись, Витя! — и ржут все. Знают, что я сидеть не могу после двух суток за рулем. Они сами не сидят. Лежат на животах. — Хочешь, Витя, пивка?

— Еще бы...

Спину мне Колька березовым веником исхлестал и задницу тоже.

— Восстанавливается кровообращение?

— О-о-о... да.

— Вить, а Вить, да не спи ты, опасно это. Вить, лучше пивка попей.

В большом зале накрыт праздничный стол. Стульев нет. Кто сейчас сидеть будет? Все молчат. Улыбаются. Появляется Навигатор, за ним, как верный оруженосец, — первый шифровальщик.

— Деталей прошедшей операции я оглашать не буду. Не имею права. Но успеха добились все. Некоторые имеют по три вербовки. Несколько человек — по две вербовки, — Навигатор поворачивается к первому шифровальщику: — Александр Иванович, зачитай личному составу шифровки, в части их касающейся.

Александр Иванович открывает зеленую папку и торжественным голосом читает:

— “Командиру дипломатической резидентуры 173-В генерал-майору Голицыну. Восемь контейнеров дипломатической почты, направленной вами из Женевы, Берна и Парижа, получил. Первый анализ, проведенный 9-м Управлением службы информации, — позитивный. Это позволяет сделать предварительное заключение о надежности всех лиц, привлеченных к сотрудничеству. Начальник 1-го Управления ГРУ вице-адмирал Ефремов. Начальник 5-го направления 1-го Управления ГРУ генерал-майор артиллерии Ляшко“.

Мы улыбаемся.

— Читай дальше, — командир сам сияет.

— “Проведенная вами операция — одна из наиболее успешных массовых вербовок последних месяцев. Поздравляю вас и весь личный состав резидентуры со значительными достижениями. Заместитель начальника Генерального штаба, начальник 2-го Главного управления генерал армии Ивашутин“.

— Шампанское!

Пробки ударили залпом. Заиграл золотистый напиток, заискрился. Бутылки запотевшие. Ведерочки со льдом — серебряные. Как я устал! Как я хочу пить! Как я хочу спать.

По одному, по одному — к командиру.

И я подхожу.

— Товарищ генерал, поздравляю вас. Многое имеет Япония, многое имеет Америка, а мы с сегодняшнего дня имеем все.

Он улыбается.

— Не все, но выходы ко всему. Ты почему второго вербовать не стал?

— Не знаю, товарищ генерал, боялся испортить.

— Правильно сделал. Самое страшное в нашей работе: мнительность и излишнее увлечение. Одна вербовка это тоже очень много. Поздравляю.

— Спасибо, товарищ генерал.

— Александр Иванович...

— Я!

— Читай последнюю.

Первый шифровальщик вновь открывает свою папку:

“Генерал-майору Голицыну. Благодарю за службу. Начальник Генерального штаба генерал армии Куликов“.

— Ура! — заорали мы.

Командир вновь серьезен. Он торжественно поднимает бокал...

8

Еще через восемь дней я получил очередное воинское звание — майор Генерального штаба.

Мне почему-то грустно. Первый раз в такой день мне нерадостно. Когда командир прочитал мне шифровку, я рывкнул: “Служу Советскому Союзу!”. А сам подумал: со мной они, как с моим агентом обращаются. Он получает сотни тысяч, а там наверху экономят миллионы. Я добываю эти миллионы, а мне за это алюминиевую звездочку в награду. Да и ее я носить не имею права, спрятав свой мундир в шкаф с нафталином.

Мне грустно. Меня не радуют чины и ордена. Меня что-то мучает. Я не знаю, что. Главное — скрыть свою тоску от чужого взгляда. Если в моих глазах потухнет оптимизм, то это заметят и примут меры. Не знаю какие, но примут. Мне это совсем ни к чему.

Я смотрю в генеральские глаза и улыбаюсь радостно и счастливо.

Глава десятая

1

Когда я сплю, я укрываюсь с головой, я укутываюсь в одеяло, как в шубу. Это старая армейская привычка. Это бессознательный рефлекс. Это попытка сохранить тепло до самого утра. Я уже не сплю в холодных палатках, в мокрых землянках, в продрогшем осеннем лесу. Но привычка кутаться — на всю жизнь.

Последнее время одеяло меня стало пугать. Внезапно проснувшись ночью в кромешной темноте от жуткого страха, я спрашиваю себя: не в гробу ли проснулся? Я осторожно носом касаюсь мягкого теплого одеяла. На гроб не похоже. А может, я в полотнище закутан, а доски гроба чуть выше? Медленно я трогаю воздух. Нет, я пока не в гробу.

Наверное, так люди начинают сходить с ума. Так к людям подкрадывается безумие. Но может быть, я давно шизофреник, только окружающие меня пока не раскусили? Это вполне допустимо. Быть сумасшедшим совсем не так плохо, как это может показаться со стороны. Если меня завтра замотают в белые простыни и повезут в дурдом, я не буду сопротивляться и удивляться. Там мое место. Я, конечно, ненормальный. Но кто вокруг меня нормальный?

Вокруг меня сплошной сумасшедший дом. Беспросветное безумие. Отчего Запад пускает нас к себе сотнями и тысячами? Мы же шпионы. Разве непонятно, что я направлен сюда для того, чтобы причинить максимальный вред Западу? Отчего меня не арестуют, не выгонят? Почему эти странные, непонятные западные люди никогда не протестуют? Откуда у них такая рабская покорность? Может, они с ума все походили? А может быть, мы все безумны? Уж я-то точно. И крышка гроба не зря мне мерещится. Ох, не зря. Началось это полтора года назад после встречи с Киrom.

Кира все знают. Кир — большой человек. Кир Лемзенко в Риме сидел, но работал, конечно, не только в Италии. У Кира везде успехи были. Особенно во Франции. Римский дипломатический резидент ГРУ генерал-майор Кир Гаврилович Лемзенко власть имел непомерную. За то его Папой Римским величали. Теперь он генерал-полковник. Теперь он в административном отделе Центрального Комитета партии. Теперь он от имени партии контролирует и ГРУ, и КГБ.

Полтора года назад, когда я прошел выездную комиссию ГРУ, вызвал меня Кир. Пять минут беседа. Он всех принимает: и ГРУ, и КГБ офицеров. Всех, кто в добывание уходит. Кир всех утверждает. Или не утверждает. Кир велик. Кто Кира знает? Все знают. Судьба любого офицера в ГРУ и в КГБ в его руках.

Старая площадь. Памятник гренадерам. Милиция кругом. Пю-

ди в штатском. Группами. Серые плащи. Тяжелые взгляды. Подъезд № 6. Предъявите партийный билет. “Суворов”, — читает прапорщик в синей форме. “Виктор Андреевич”, — отзывается второй, найдя мою фамилию в коротком списке. “Да, — отзывается первый. — Проходите”. Третий прапорщик провожает меня по коридору. Сюда, пожалуйста, Виктор Андреевич. Ему, охраннику, не дано знать, кто такой Виктор Андреевич Суворов.

Он только знает, что этот Суворов приглашен в Центральный Комитет на беседу. С ним будут говорить на седьмом этаже. В комнате 788. Охранник вежлив. Пожалуйста, сюда.

Вот они коридоры власти. Сводчатые потолки, под которыми ходили Сталин, Хрущев. Под которыми ходит Брежнев. Центральный Комитет — это город. Центральный Комитет — это государство в центре Москвы. Как Ватикан в центре Рима.

Центральный Комитет строится всегда. Десятки зданий соединены между собой, и все свободные дворики, переходы застраиваются все новыми белыми стеклянными небоскребами. Странно, но со Старой площади этих белоснежных зданий почти невидны. Вернее, они видны, но не бросаются в глаза. На Старую площадь смотрят огромные окна серых дореволюционных зданий, соединенных в одну непрерывную цепь. Внутри же квартал Центрального Комитета не так суров и мрачен. Тут смешались все архитектурные стили.

Пожалуйста, сюда. Чистота ослепительная. Ковры красные. Ручки дверей — полированная бронза. За такую ручку и взяться рукой страшно, не испачкать бы. Лифты бесшумные.

Подождите тут. Передо мной огромное окно. Там, за окном, узкие переулки Замоскворечья, там белый корпус гостиницы “Россия”, золотые маковки церквей, разрушенных и вновь воссозданных для иностранных туристов. Там, за окном, громада Военно-инженерной академии. Там, за окном, яркое солнце и голуби на карнизах. А меня ждет Кир.

— Заходите, пожалуйста.

Кабинет его широк. Одна стена — стекло. Смотрит на скопленные зеленых железных крыш квартала ЦК. Остальные стены светло-серые.

Пол ковровый — серая, мягкая шерсть. Стол большой, без всяких бумаг. Большой сейф. Больше ничего.

— Доброе утро, Виктор Андреевич, — ласков.

— Доброе утро, Кир Гаврилович.

Не любит он, чтобы его генералом называли. А может быть, любит, но не показывает этого. Во всяком случае, приказано отвечать “Кир Гаврилович”, а не “товарищ генерал”. Что за имя? По фамилии украинец, а по имени — ассирийский завоеватель. Как с таким именем человека в Центральном Комитете держать можно? А может, имя его и не антисоветское, а, наоборот, советское? После

революции правоверные марксисты каких только имен своим детям не придумывали: Владлен — Владимир Ленин, Сталина, Искра, Ким — Коммунистический Интернационал Молодежи. Ах, черт. И Кир в этом же ряду. Кир — Коммунистический Интернационал.

— Садитесь, Виктор Андреевич. Как поживаете?

— Спасибо, Кир Гаврилович. Хорошо.

Он совсем небольшой человек. Седина чуть-чуть только проступает. В лице решительно ничего выдающегося. Встретишь на улице — даже не обернешься, даже дыхание не сорвется, даже сердце не застучит. Костюм на нем самый обыкновенный, серый в полосочку. Сшит, конечно, с душой. Но это и все. Очень похож на обычного человека. Но это же Кир!

Я жду от него напыщенных фраз: “Руководство ГРУ и Центральный Комитет оказали вам огромное доверие...” Но нет таких фраз о передовых рубежах борьбы с капитализмом, о долге советского разведчика, о всепобеждающих идеях. Он просто рассматривает мое лицо. Словно доктор, молча и внимательно.

— Вы знаете, Виктор Андреевич, в ГРУ и КГБ очень редко находятя люди, бегущие на Запад.

Я киваю.

— Все они несчастны. Это не пропаганда. Шестьдесят пять процентов невозвращенцев из ГРУ и КГБ возвращаются с повинной. Мы их расстреливаем. Они знают это — и все равно возвращаются. Те, которые не возвращаются в Советский Союз по своей собственной воле, кончают жизнь самоубийством, спиваются, опускаются на дно. Почему?

— Они предали свою социалистическую родину. Их мучает совесть. Они потеряли своих друзей, родных, свой язык...

— Это не главное, Виктор Андреевич. Есть более серьезные причины. Тут, в Советском Союзе, каждый из нас — член высшего сословия. Каждый, даже самый незначительный офицер ГРУ — сверхчеловек по отношению ко всем остальным. Пока вы в нашей системе, вы обладаете колоссальными привилегиями в сравнении с остальным населением страны. Когда имеешь молодость, здоровье, власть, привилегии — об этом забываешь. Но вспоминаешь об этом, когда уже ничего нельзя вернуть. Некоторые из нас бегут на Запад в надежде иметь великолепную машину, особняк с бассейном, деньги. И Запад платит им действительно много. Но получив “мерседес” и собственный бассейн, предатель вдруг замечает, что все вокруг него имеют хорошие машины и бассейны. Он вдруг ощущает себя муравьем в толпе столь же богатых муравьев. Он вдруг теряет чувство превосходства над окружающими. Он становится обычным, таким, как все. Даже если вражеская разведка возьмет этого предателя на службу, все равно он не находит утраченного чувства превосходства над окружающими, ибо на Западе служить в разведке

не считается высшей честью и почетом. Правительственный чиновник, козявка, и ничего более.

— Я никогда об этом не думал...

— Думай об этом. Всегда думай. Богатство относительно. Если ты по Москве едешь на “Ладе“, на тебя смотрят очень красивые девочки. Если ты по Парижу едешь на длинном “ситроене“, на тебя никто не смотрит. Все относительно. Лейтенант на Дальнем Востоке — царь и бог, повелитель жизней, властелин. Полковник в Москве — пешка, потому что тысячи других полковников рядом. Предашь — потеряешь все. И вспомнишь, что когда-то ты принадлежал к могущественной организации, был совершенно необычным человеком, поднятым над миллионами других. Предашь — почувствуешь себя серым, незаметным ничтожеством, таким, как и все окружающие. Капитализм дает деньги, но не дает власти и почестей. Среди нас находятся особо хитрые, которые не уходят на Запад, но остаются, тайно продавая наши секреты. Они имеют деньги капитализма и пользуются положением сверхчеловека, которое дает социализм. Но мы таких быстро находим и уничтожаем...

— Я знаю. Пеньковский...

— Не только. Пеньковский всемирно известен. Многие неизвестны. Владимир Константинов, например. Он вернулся в Москву в отпуск, а попал прямо на следствие. Улики неопровержимы. Смертный приговор.

— Его сожгли?

— Нет. Он просил его не убивать.

— И его не убили?

— Нет, не убили. Но однажды он сладко уснул в своей камере, а проснулся в гробу. Глубоко под землей. Он просил не убивать, и его не убили. Но гроб закопать обязаны. Такова инструкция. Иди, Виктор Андреевич. Успехов тебе. И помни, что в ГРУ уровень предательства гораздо ниже, чем в КГБ. Храни эту добрую традицию.

2

В Вене — товарищ Шелепин. Проездом. Он едет в Женеву на заседание сессии Международной организации труда. Товарищ Шелепин — глава советских профсоюзов. Товарищ Шелепин — член Политбюро. Товарищ Шелепин — звезда первой величины. Но не восходящая звезда, заходящая. Было время, когда товарищ Шелепин был (тайно) заместителем председателя КГБ и одновременно (явно) вице-президентом Международной федерации демократической молодежи. Товарищ Шелепин организовал манифестации за мир и дружбу между народами. На его совести грандиозные манифестации в защиту мира. Миллионы дураков шли за товарищем Шелепиным. Кричали, требовали мира, разоружения и справедли-

ности. За это его возвели в ранг председателя КГБ. Правил он круто и твердо. Правил половиной мира, в том числе и демократической молодежью, требующей мира. Но он сорвался. Теперь товарищ Шелепин правит советскими профсоюзами. Профсоюзы у нас — это тоже КГБ, но не все КГБ, а только филиал. И потому нет в посольстве особого уважения к высокому гостю. Едешь в свою Женеву, ну и вали. Не задерживайся. Всем как-то ясно, что товарищ Шелепин вниз скользит. Был председателем КГБ, а теперь только глава профсоюзов. Если скольжение вниз началось, то его уже ничем не удержишь.

Все посольство знает, что Железный Шурик напивается до полного безумия. Лидер советского пролетариата жутко матерится. Он бьет уборщиц. Он выбросил из окна тяжелую хрустальную пепельницу и испортил крышу лимузина кубинского посла. Он сам знает, что ему пришел конец. Бывший глава КГБ прощается с властью. Буйствует.

Я столкнулся с ним в коридоре. У него оплывшее морщинистое лицо, совсем непохожее на то, которое улыбается нам с портретов. Да и узнал я его только потому, что пьяный (никто так по посольству не осмеливается ходить), да еще по охране. Кого еще пять телохранителей сопровождать будут? У телохранителей лица каменные, как и положено. В телохранители набирают тех, кто смеяться не научился. Идут они важные. Крестьянские парни, вознесенные к вершине власти. Они, конечно, не понимают, что если падение уже началось, то его не остановить.

И только на губах старшего в команде телохранителей играет чуть брезгливая улыбка. Чуть заметно его губы кривятся. Меня эта ухмылка не обманет: он не охраняет товарища Шелепина от врагов народа, он следит за тем, чтобы товарищ Шелепин, вождь самого сознательного революционного класса, не ударился в бег. Если товарищ Шелепин побежит, начальник охраны воспользуется пистолетом. Да в затылок!

Между ушей! Чтоб не убежал товарищ Шелепин очень далеко. И товарищ Шелепин — заходящая звезда первой величины — знает, что начальник охраны не телохранитель, а конвоир. Знает Шелепин, что дана начальнику охраны соответствующая инструкция. И я это знаю.

Ах, если бы мне дали такую инструкцию!

3

— Дзза!

Навигатор суров. Я молчу. Что на такое заявление скажешь? В его руке шифровка. Семьсот Шестой друг начал производить дззу. Если анализировать полученные от него документы, то вскрыть по-

пытку обмануть ГРУ невозможно. Но любой документ, любой аппарат, любой образец вооружения ГРУ покупает в нескольких экземплярах в разных частях мира. Информация о снижении шумов в реакторах атомных подводных лодок типа "Джордж Вашингтон" была получена ГРУ через дипломатического резидента в Уругвае, а полная техническая информация об этих лодках была получена нелегалами ГРУ через Бельгию. Одинаковые кусочки информации сравниваются. Это делается всегда, с любым документом, с любым кусочком информации. Попробуй добавить от себя, попытайся утаить — служба информации это вскроет. Именно это случилось сейчас с моим выставочным другом № 173-В-41-706.

Все было хорошо. Но в последнем полученном от него документе не хватает трех страниц. Страницы важные и убраны так, что невозможно обнаружить, что они когда-то тут были. Только сравнение с таким же документом, полученным, может быть, через Алжир или Ирландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка выполнена мастерски. Выполнена экспертами. Значит, Семьсот Шестой под полным контролем. Сам он пришел в полицию с повинной или попался — роли не играет. Главное — он под контролем.

— Прикажете убрать Семьсот Шестого?

Навигатор с кресла вскочил:

— Очнись, майор! Белены объелся? Бульварной литературы начитался? Если предашь ты — мы тебя убьем, это урок для всех остальных. А если убить добропорядочного буржуя, владельца фирмы, для кого это урок? Кто знает, что он с нами был связан? Я бы его убил, если бы он опасен для нас был. Но он о нас решительно ничего не знает. Он даже не знает, работал он на КГБ или на ГРУ. Мы ему такой информации не давали. Единственный секрет, которым он обладает: Виктор Суворов — шпион. Но это весь мир знает. Велик соблазн убить. Многие разведки так и поступают. Втягиваются в тайную войну и забывают о своей главной задаче: добывать секреты. Нам же нужны секреты. Как здоровому мужчине нужны половые сношения. Запомни, майор, что только слабый, глупый, неуверенный в себе мужчина убивает и насилует женщин. Именно такими слабыми и глупыми нас изображают бульварные газетки и дешевые романчики. Умная, сильная, уверенная в себе разведка не гоняется за агентурой, как за женщиной. Умному мужчине женщины прохода не дают, на шею виснут. Мужчина, у которого сотни женщин, не мстит одной, даже изменившей ему, по той простой причине, что ему некогда этим заниматься. У него множество других девочек. Кстати, у тебя есть что-либо в запасе?

— Вы имеете в виду новых друзей?

— Только это я и имею в виду! — вдруг обозлился он.

Навигатор, конечно, знает, что, кроме Семьсот Шестого, у меня

никаких друзей нет, как нет никаких намеков на интересное знакомство. Вопрос он задал только для того, чтобы ткнуть меня носом в грязь.

— Нет, товарищ генерал, ничего у меня в запасе нет.

— В обеспечение!

— Есть, в обеспечение!

4

С Семьсот Шестым я провел еще одну встречу. Он под контролем, но совсем не обязательно показывать, что ГРУ об этом знает.

Я провожу встречу, как всегда. Я плачú. Я говорю, что пока его материалы нам не нужны. Встретимся через год. Возможно, у нас появится заказ. Через год под любым предлогом его выведут в консервацию. В дремлющую сеть. Жди сигнала. На этом связь с ним и прекратится: жди, когда к тебе на связь выйдет особо важный нелегал! Пусть ждет он и полиция. Не дождетесь. Называется это “отсечение под видом консервации“. От него мы получили очень нужные приборы. На нем мы сэкономили миллионы. Его материал, когда он был первосортным, тоже использовался для проверки какого-то другого. А теперь до свидания. Ждите очередного сигнала. Ждите особо важной встречи.

С Семьсот Шестым никаких проблем. Но что же мне теперь делать? Вновь собачья жизнь начинается. Вновь борзить. Вновь беспросветное агентурное обеспечение. А чего вы, Виктор Андреевич, хотели? Не можете работать самостоятельно, поработайте на других.

5

Западную Европу я уже знаю неплохо. Как хороший охотничий пес знает соседнюю рощу. Я мог бы экскурсоводом работать в Амстердаме или в Гамбурге: посмотрите направо, посмотрите налево. Вену я тоже знаю хорошо, но не так, как, например, Цюрих. Это и понятно: не занимайся любовью там, где живешь. Понятно, что мои коллеги из Рима, Бонна, Парижа, Женева знают Вену лучше меня. Они работают тут, “выезжая на гастроли“. А я гастролирую там. Система для всех одна.

У всех у нас одна тактика: не надо ссориться с местными властями, если можно операцию провести где-то очень далеко.

Сегодня я работаю в Базеле. Я не сам работаю. Обеспечиваю. Базель — это стык Германии, Франции и Швейцарии. Базель — это очень удобное место. Уникальное место. Базель — перекресток. Был в Базеле и исчез. Тут легко исчезнуть. Очень легко.

Я сижу в небольшом ресторанчике, прямо напротив вокзала.

Вообще-то трудно сказать, ресторан это или пивная. Зал надвое разделен. В одной стороне — ресторан. Совсем небольшой. Там на столах красные скатерки. В другой стороне — пивная. Дубовые столы без всяких скатертей. Тут я и сижу. Один. На темном дереве стола вырезан орнамент и дата “1932”. Значит, стол этот тут еще и до Гитлера стоял. Хорошо быть швейцарцем. Граница Германии вот там проходит.

Прямо по улице. А войны никогда не было.

Симпатичная невысокая барышня кружку пива передо мной ставит на аккуратный картонный кружочек. Откуда ей, грудастой, знать, что я уже на боевой тропе. Что секунды стучат в моей голове, что сижу я тут неспроста, и так, чтобы большие часы на здании вокзала видеть. Откуда ей знать, что по этим часам еще кто-то ориентируется, которого я не знаю и никогда не узнаю. Откуда ей знать, что кончики пальцев моих уже намазаны кремом ММП и потому не оставляют отпечатков. Откуда ей знать, что в моем кармане лежит обыкновенная фарфоровая ручка, которые в туалетах на цепочке висят. Дернул — и вода зашумела. Эта ручка сделана в Институте маскировки ГРУ. Внутри — контейнер. Может быть, с описанием тайника или с деньгами, с золотом, черт знает с чем. Я не знаю, что внутри контейнера. Но ровно через семь минут я выйду в туалет и в предпоследней кабине сниму с цепочки ручку, положу ее в карман, а на ее место повешу ту, что у меня в кармане. Кто-то, тот, кто тоже сейчас смотрит на часы вокзала, войдет в эту кабину после меня, снимет ручку с контейнером, а на ее место прицепит обыкновенную. Она сейчас в его кармане хранится. Наверное, он тоже сейчас сжимает ее пальцами, намазанными кремом ММП. Все три ручки — как близнецы. Не различишь. Не зря Институт маскировки работает.

Стрелка больших часов чуть дрогнула. Еще шесть минут. Рядом с вокзалом большое строительство. То ли вокзал расширяют, то ли гостиницу строят. Сооружение вырисовывается из-под лесов изящное — вроде башни. Стены коричневого металла, и окна тоже темные, почти коричневые. Высоко в небе рабочие в оранжевых касках — мартышки стальных джунглей. А на карнизах голуби. Вот один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища. Клювом в затылок бац, бац. Подождет немного. И снова клювом в затылок. Отвратительная птица — голубь. Ни ястребы, ни волки, ни крокодилы не убивают ради забавы. Голуби убивают только ради этого. Убивают своих собратьев просто потехи ради. Убивают очень медленно, растягивая удовольствие.

Эх, был бы у меня в руках автомат Калашникова. Бросил бы я сектор предохранителя вниз на автоматический огонь. Затвор рывком назад, и жутким грохотом залил бы привокзальную площадь полусонного Базеля. Шарахнул бы длинной переливистой автомат-

ной очередью по голубю-убийце. Свинцом бы его раздавил, разметал. Превратил бы в ком перьев да крови. Но нет автомата со мной. Я не в Спецназе, а в агентурном добывании. Жаль. А ведь и вправду убил бы и не вспомнил бы, что, спасая слабого голубя от верной смерти, я спасаю тоже убийцу. Natura у них у всех одна. Голубиная. Придет в себя. Отдышитесь. Найдет кого послабее, да и будет его клювом своим в затылок тюкать. Знает же, гад, в какое место бить. Профессионален, как палач из НКВД. Отвратительная птица — голубь. А ведь находятся люди, которые этого хладнокровного убийцу символом мира считают. Нет бы крокодила таким символом считали или анаконду. Мирная зверюшка анаконда. Убивает только на пропитание. А как покушает, так и спит. В мучительстве наслаждения не находит. И своих собратьев не убивает.

Слабый голубь на карнизе раскинул крылья. Голова его совсем повисла. Сильный голубь весь собрался в комок. Добывает. Удар. Еще удар. Мощные у него удары. Кончик клюва в крови. Ну ты свое дело кончай, а мне пора. В туалет. На совершенно секретную операцию по агентурному обеспечению.

6

Я не теряю времени. Когда я обеспечиваю кого-то в Германии, я думаю о том, как самому проникнуть в германские секреты. Когда я в Италии, я думаю о выходах к итальянским секретам. Но в Италии можно завербовать и американца, и китайца, и австрийца. Мне нужны такие, которые владеют государственными секретами. Сейчас я вернулся из Базеля и докладываю Навигатору результаты операции.

Обычно рапорт слушает Младший лидер, но сегодня слушает Навигатор лично. Видимо, обеспечение было очень важным. Воспользовавшись случаем, я докладываю мои предложения о том, как добыть секретные документы о системе "Флорида". "Флорида" — это система ПВО Швейцарии. Швейцарская "Флорида" — это кирпичик. Но точно из таких кирпичиков сложена система ПВО США. Если познакомиться со швейцарским сержантом, то станет многое ясно с американской системой...

Агентурное обеспечение — это вроде сладкого сиропа для мухи. Вроде и не рискованно, и сладенько, но не выберешься из него. Крылышки тяжелеют. Так в этом сиропе и слохнешь. Только тот настоящим разведчиком становится, кто из него вырваться сумеет. Генка-консул, к примеру. Приехал он в Вену вместе со мной. На изучение города нам по три месяца дали. Чтоб город мы лучше венской полиции знали. Через три месяца нам обоим экзамен: десять секунд на размышление, что находится на Люгерплац? Названия

всех магазинов, отелей, ресторанов, номера автобусов, которые там останавливаются, все называй. Скорее! А может, там ни одного отеля нет? Скорее, скорее! Знать город лучше местной полиции! Назови все улицы, пересекающие Табор-штрассе! Скорее! Что? Что? Как? Как? Как?

Экзамены мы с Генкой со второго раза оба сдали. Не сдашь с трех раз — вернут в Союз. После экзаменов меня сразу в обеспечение бросили. А его нет. Он пока город изучал, успел познакомиться с каким-то проходимцем, который паспортами торгует. Паспорта полуфальшивые или чистые бланки, или просто украденные у туристов. 17-е направление ГРУ паспорта и другие личные документы: дипломы, водительские удостоверения, солдатские книжки — скупает в титанических количествах. Для изучения в качестве образцов при производстве новых документов. Все эти бумаги особо, конечно, не ценятся, и их добывание — совсем не высший класс агентурной работы. Пока Генка с паспортами работал, времени у него достаточно было. И он времени не терял. Он еще с кем-то познакомился. Тут уж меня поставили Генкины операции обеспечивать, хвост ему прикрывать. Я после его встреч какие-то панки получал да в посольство возил. Арестуют у входа в посольство, так меня, а не Геннадия Михайловича. А он чистеньким ходит. А потом у него и более серьезные вещи появились. Он на операцию идет, а его пять — семь борзых прикрывают. На следующий год ему досрочно подполковника присвоили. Майором он только два года ходил. Я не завистливый и не ревнивый. Пусть, Генка, тебе везет. Чистого тебе неба! Я, Генка, тоже из обеспечения скоро вырвусь.

Восемь часов вечера. Я спешу домой. Четыре часа спать, а ночью — в обеспечение.

...Навигатор улыбается мне. Впервые за много месяцев:

— Наконец! Я всегда знал, что ты выйдешь на самостоятельную дорогу. Как ты с ним познакомился?

— Случайно. Я в обеспечении работал в Инсбруке. Возвращаюсь. Решил место для тайника про запас присмотреть. Встал у дороги. Место присмотрел. Хорошее. Решил возвращаться. Задние колеса на грунте. Грунт мокрый. Буксуют. Сзади откос. Сам тронуться не могу. Стою у дороги, прошу помочь. Все мимо несутся. Остановился “фиат 132”. Водитель один в машине. Помог. Чуть подтолкнул мою машину. Я вышел из грязи. Но его всего грязью обрызгал — газанул слишком сильно. Хотел в знак извинения ему бутылку виски дать, передумал. Извините, говорю, простите, давайте в ресторан зайдем. Почиститесь. А вечер мой. Приглашаю.

— Согласился?

— Да.

Навигатор визитную карточку в руках вертит. Налюбоваться не может. Инженер. “Ото Велара“. Каждый ли день генерал ГРУ такую визитную карточку в руках держит? “Ото Велара“! Золотое дно. Может быть, кто-то и недооценивает Италию как родину гениальных мыслителей, да только не ГРУ. ГРУ знает, что у итальянцев головы мыслителей. Головы гениальных изобретателей. Мало кто знает о том, что Италия в предвоенные годы имела небывалый технологический уровень. Воевала Италия без особого блеска, именно это и затмевает итальянские достижения в области военной техники. Но эти достижения, особенно в области авиации, подводных лодок, скоростных катеров, были просто удивительны. Полковник ГРУ Лев Маневич перед войной переправил в Союз тонны технической документации потрясающей важности. Италия! Италия — непризнанный гений военно-морской технологии. Может, кто этому и не верит, а ГРУ верит. “Ото Велара“! Инженер!

— А не подставлен ли он? — Навигатору в такую возможность совсем не хочется верить, но этот вопрос он обязан задать.

— Нет! — с жаром уверяю я. — Проверялся. И радиоконтроль ничего подозрительного не обнаружил.

— Не горячись. В таком деле нельзя горячиться. Если он не подставлен, то тебе крупно повезло. Срочно составь “лист проверки“. До завтра успеешь?

— Я ночью в обеспечении работаю.

Он скривился. Потом поднимает трубку телефона и говорит, не набирая никаких номеров.

— Зайди.

Входит Младший лидер.

— Виктора Андреевича замени завтра кем-нибудь.

— Некем, товарищ генерал.

— Подумай.

— Если только Геннадия Михайловича?

— Консула?

— Да.

— Ставь его в обеспечение. Пусть в обеспечении поработает, а то он себя переоценивать начал. Виктора Андреевича от всякого обеспечения освободить. У него очень интересный вариант наклеивается.

Ответная шифровка пришла через два дня. Навигатору совсем не хочется расставаться с “Ото Велара“, с фирмой, которая строит удивительно быстрые и мощные военные корабли. Навигатору не хочется читать шифровку мне. Он просто повторяет ответ командного пункта ГРУ: “Нет“. Шифровка не разъясняет, почему “нет“.

“Нет” в любом случае означает, что он — личность, известная большому компьютеру ГРУ. Если бы о нем ничего не было известно, то ответ был бы положительным: пробуйте. Жаль. Жаль такого интересного человека терять. А командиру, наверное, жаль меня. Может быть, первый раз жаль. Он видит, что я рвусь в вояжи. И ему совсем не хочется вновь толкать меня в борзые. Он молчит. Но я-то знаю, что в обеспечении дикая нехватка рабочих рук:

— Я, товарищ генерал, завтра в обеспечении работаю. Разрешите идти?

— Иди, — и вдруг улыбается. — Ты знаешь, нет худа без добра.

— У меня, товарищ генерал, всегда худо без добра.

— А вот и нет. Тебе запретили его встречать, это плохо. Но к сокровищам нашего опыта мы добавили еще одну крупницу.

— ?

— Ты попал в беду и через это познакомился с интересным человеком. В нашей работе очень тяжелым является первый момент знакомства. Как подойти к человеку? Как завязать разговор? Как закрепить знакомство? Впрямь, как только найдешь интересного человека, бей его машину своей. Вот тебе и контакт. Пусть он тебе адрес дает. А ты извиняйся. Приглашай выпить. Чем интересуешься? Монеты? Марочки? Есть у меня одна...

— Вы, товарищ генерал, согласны платить за побитые машины? — смеюсь я.

— Согласен, — серьезно отвечает он.

Глава одиннадцатая

1

Были времена! Но — прошли. А ведь были же. Была Красная Армия, а против нее белая армия. А еще была зеленая армия. Командовал ею батько Фома Мокроус. Хорошо зеленые воевали. Да вот беда — поверили красным, соединились с ними в Красно-зеленую армию. Тут им и конец пришел. А армия снова Красной называться стала.

Хорошие были времена. Захотел к красным — пожалуйста. Не захотел — можешь к белым убежать или еще к каким. Много всяких было: григорьевцы, антоновцы, петлюровцы. А лучше: Революционно-повстанческая армия Украины — РПАУ. РПАУ — это и армия, и государство. Философия простая: роль государства — защищать население от внешних врагов. Это и все. Внутри государства — каждый сам себе государь. Делай, что хочешь, только других не обижай. Если враги нападут, государство армию выставляет —

только добровольцы. Не хочешь за свою свободу воевать — будь рабом. Вот такие были порядки в РПАУ.

У нас на хуторе все старики те славные времена помнят. И руководителя той армии помнят — Нестора Ивановича Махно. Говорят старики, что Нестор Иванович совсем не таким был, как его в кино красные показывают. Говорят, он был парнем молодым. Я потом в энциклопедии проверял. Не врут старики: в восемнадцатом году Нестору Ивановичу тридцати лет не было. Волосы у него длинные были, правда. По плечам распущены. Мужики его святым почитали. Крестились, увидев.

Едет Нестор Иванович по Екатеринославу на четверке вороных. Хмур. Дума великая в глазах его. Четверкой вороных Великий Немой правит. Хромает Нестор Иванович, верхами не ездит: в тачанке рядом с пулеметом. А Великий Немой всегда рядом. Он батьке Махно и кучер, и ординарец, и телохранитель, и придворный палач: приговоры Нестора Ивановича совсем короткие.

Едет Нестор Иванович — мужики в пояс кланяются, свой он: крестьянский царь. На тачанке его пулеметной сзади серебряными гвоздиками девиз выбит: “Эх, не догонишь!” Спереди — “Эх, не возьмешь!” А рядом с батькиной тачанкой верхами: батько Максюта, Николай Мельник, Гришка Антихрист, Никодим Пустовойт да Лев Андреевич Задов — начальник разведки. Разведка в РПАУ на уровне высших мировых стандартов стояла. В невыгодных условиях Махно никогда боя не принимал. Уходил. Исчезал. Армия его рассыпалась. Пушки, пулеметы по оврагам да буеракам, кони на лугах пасутся, тачанки пулеметные девок на ярмарку возят. Мужики по дворам сидят. На солнышке. Улыбаются.

Махновская армия от всех других юмором острым отличалась да улыбками. Сам Нестор Иванович — большой шутник был. Дума великая на челе его, а в глазах бесенята озорные. За хорошую шутку жаловал он, как за победу в бою. Лихо Нестор Иванович воевал! В одну ночь собирал он всю свою армию в кулак и бил тем кулаком внезапно по самому уязвимому месту. В армии его семнадцать кавалерийских дивизий было. Трепетали города от грохота копыт его конницы. А если удача против него, свистнет батько — и вновь его армия рассыпалась, затаилась, до первой темной ночи исчезла.

Неуязвим был батька Махно. Но красным поверил. Зря, батько, поверил. Нашел, кому верить. Махновская кавалерия вместе с красными в Крым ворвалась белых резать. А как белых порезали, развернулась внезапно Первая Конная армия против своего союзника. Конная армия! Голая степь. Конец ноября двадцатого года. Конная армия! Лавина. Грохот копыт на десятки верст. Степь уже морозом прихватило. Степь вроде бескрайнего бетонного поля. От горизонта до горизонта. Красные не стреляли и даже “ура” не кри-

чали. Десятки тысяч клинков со свистом вылетели из ножен, засверкали на солнце. И пошла Конная армия! И пошла. Вой и свист. Человек в толпе звереет. И лошадь звереет. Пена клочьями. Кони-звери! Люди-звери! Свист клинков. Блеск нестерпимый. Грохот копыт. Кавалерийские дивизии красных большим крюком махновскую армию обходят, отрезая пути, а вся Конная армия в лоб. Галопом. Внезапно. Против союзника! Руби! Даешь! Отдельная кавалерийская бригада особого назначения пленных тут же клинками рубит и своих тоже. Тех, кто в бою не звереет. Р у б и !!!

Развернул Нестор Иванович триста восемьдесят пулеметных тачанок. Четыреста шестнадцать его пулеметов стегнули Первую Конную армию свинцовым ураганом. Но поздно. Поздно. Кому ты, Нестор Иванович, поверил? Поздно. Никогда ты боя в неравных условиях не принимал. Уходил. А тут куда же уйдешь от союзника? Руби! Захлебнулась 6-я кавалерийская дивизия красных собственной кровью. Трупов — горы. Раненых нет. Раненых кони топчут: Первая Конная армия лавиной идет! Ей не время своих раненых обходить. Руби! Зря ты, Нестор Иванович, им поверил. Зря. Я бы им не поверил. Я им и сейчас не верю.

Знаешь, Нестор Иванович, я бы к красным служить не пошел. Я бы под твои черные знамена. Да нет тебя, и нет других армий, кроме Красной. И никуда не убежишь. Прошли те славные времена. В принципе мало что изменилось. Каждый сам себе банду вербует. Только называется это не банда, а группа. Правда, что группы друг друга шашками не секут, но разве от этого легче? Раньше хоть ясно было, кто белый, кто зеленый. А сейчас каждый себя для удобства к красным причисляет, но каждый красный остальным красным не верит. Другие красные для него союзники, как Первая Конная армия для батьки Махно союзником была.

Плохие времена. Все товарищи. Все братья. А когда человек человеку друг, товарищ и брат, как тут угадаешь, откуда по тебе удар нанесут? Откуда лавина внезапно развернется и затопчет тебя копытами?

2

Трясина агентурного обеспечения все глубже засасывает меня. Не вырвешься.

Если каменщик стенку кладет, то даже ему по закону трое подручных положены: раствор мешать, кирпичи подавать, кирпичи на половинки рубить, если понадобится. В агентурном добывании подручных гораздо больше нужно на каждого работающего. И каждый хочет каменщиком быть. Никому подручным быть не хочется. А мастером можно стать, только доказав, что ты умеешь работать сам на уровне других мастеров или еще лучше. А как это сделать, если

агентурное обеспечение забирает все время? Все ночи. Все праздники. Все выходные.

Николай Викторович Подгорный, советский президент, исчез. Испарился. Пропал. Был. Теперь нет его. Конечно, президент — только пешка. Президент — ничто. Президент — ширма. Вроде как советский посол. Ходит по посольству гордый. С высокими особами разговаривает. Руки жмет. Улыбается. Но решений не принимает. И к большим секретам не допущен. Улыбайся и жми руки. Такая тебе работа. А у нас прямой канал подчинения. Навигатор отчитывается перед начальником ГРУ. А он перед начальником Генерального штаба. А тот перед Центральным Комитетом. А послы и президенты — маскировка. Ширма.

Но, черт побери, если президент, пусть даже липовый, исчезает, если о нем вспоминают только полдня, вспомнит ли кто обо мне, если я вдруг исчезну?

Советский военный атташе в Вене исчез. Пропал. Испарился. Его увезли домой. В Союз. Эвакуировали, как у нас выражаются. Эвакуация офицеров ГРУ и КГБ производится в случаях крупных ошибок, полной бездеятельности, в случае, если кто-то заподозрен в недозволенных контактах или в подготовке к побегу.

За что эвакуировали военного атташе, я не знаю. Этого никогда не объявляют. Исчез, и точка. Пропал. Уехал в отпуск и не вернулся. Советский Союз большой. Затерялся где-то.

Его зеленый “мерседес“ перешел по наследству к новому военному атташе полковнику Цветаеву. Новый военный атташе горд. Начальником себя считает. Наши соседи из КГБ думают, что он Младший лидер. Но у нас, как в любой тайной организации, официально занимаемое положение ничего не значит. У нас своя иерархия. Тайная. Подпольная. Невидимая миру.

Походи, полковник, покрасуйся. Но, смотри, скоро тебя Навигатор в свой кабинет позовет. На львиную шкуру. Он тебе, полковник, очень ласково сообщит, что подчинен ты не Навигатору лично, не Младшему лидеру и даже не обычному заместителю Навигатора, а просто одному из очень успешных волков ГРУ, одному из наших варягов. А им может оказаться любой, например, твой помощник. Официально, на людях, ты будешь улыбаться и жать руки, а помощник военного атташе в звании майора или подполковника сзади твой портфель носить будет. Ты на “мерседесе“, он на “форде“. Но это только официально. А то, что делается официально, на виду у всех, никакой роли не играет. Главарь мафии днем может официантом прикидываться. Но это совсем не значит, что директор ресторана имеет больше влияния. У нас в ГРУ — та же система. Внешние ранги и отличия роли никакой не играют. Бутафория. Наобо-

рот, своих лидеров и наиболее талантливых офицеров мы со сцены в тень убираем, выставляя на сцену чванных вельмож. А за кулисами у нас свои ранги, свои отличия, своя особая шкала ценностей. И тут, за кулисами, варяг правит борзыми. Варяг глотки рвет. Варяг секреты добывает. Его обеспечивать надо. Твой помощник уже выбился в варяги. А ты, полковник, еще только борзой. Шакал. Шестерка. Бобик. Тузик. Ты на своем “мерседесе” своего помощника обеспечивать и прикрывать будешь. За малые ошибки майор тебя публично осмеет в присутствии всей нашей добывающей братии. За большие ошибки — в тюрьму посадит. Он добывает секреты для ГРУ. А ты только обеспечиваешь его. Он на тебя характеристику писать будет. Твоя судьба в его руках. Ошибешься — пропадешь, исчезнешь. Тебя эвакуируют, как твоего предшественника. А пока улыбайся, борзяга, подметка, каштанка. И помни, через три месяца экзамен на знание города. Знать Вену лучше венской полиции! Сто вопросов. Должно быть сто правильных ответов. Ошибка в ответе приведет к ошибке в агентурном обеспечении. А это — провал, скандал, комиссия Центрального Комитета, конвейер, тюрьма. А если сдашь, полковник, экзамен, то ждет тебя обеспечение. Будешь хвосты прикрывать. Без выходных. Без праздников. Без просвета. А пока улыбайся.

3

Медленно струится время: тик, тик, тик. Ночь. А у нас в забое всегда один цвет: голубой. Можно регулировать яркость света. Но от этого не меняется цвет. Все по-прежнему остается голубым. 2 часа 43 минуты. Нужно пройтись, разогнать сон. Обычно в помещениях резидентур нет никаких окон. У нас в Вене в огромном сооружении их только три. Нужно из общего рабочего зала выйти в коридор, подняться по лестнице, мимо фотодешифровочной лаборатории в коридор “С”, и оттуда вверх по лестнице. Сорок восемь ступеней. Вот тут у нас совсем небольшой коридорчик, который ведет к мощной двери антенного центра. В этом-то коридорчике и есть три окна. Место это называется Невский проспект. Наверное, потому, что, насидевшись в глубинах наших казематов, каждый норовит тут, на пяточке, покрутиться у солнышка. Этот пяточок отделен от наших рабочих помещений десятками дверей, бетонными перекрытиями и стенами. Тут не разрешено обсуждать секретные вопросы. Тем не менее три окна защищены так, как должны быть защищены окна помещений ГРУ. Снаружи они ничем не отличаются от других окон. Такие же решетки, как и везде. Но наши окна чуть мутны. Поэтому снаружи очень трудно разглядеть то, что происходит внутри. Стекла на окнах очень толстые. Не проломишь. Выполнены они так еще и потому, что толстое стекло меньше вибрирует и не может

служить мембраной, если навести на него мощный источник электромагнитных излучений. Стекла сделаны как бы не очень аккуратно. В одном месте чуть толще, в другом — чуть тоньше. Но и это хитрость. Неровности стекла рассчитаны электронной машиной. Кто-то за изобретение неровного стекла премию получил. Если даже наши стекла используются в качестве мембраны, то неровное стекло рассеивает отраженный луч хаотично, не позволяя получить удовлетворительное качество приема. Форточек у нас, конечно, нет. Системы вентиляции особые. Они охраняются, и о них я мало что знаю. Ясно, что окна для этой цели никак не используются.

Каждое окно имеет тройное остекление. Рамы металлические. Между металлическими деталями — прокладки. Это чтобы всячески снизить вибрацию. Внутреннее и внешнее остекление выглядят как обычные оконные стекла, но если присмотреться к средней раме, то можно увидеть, что стекла находятся не в одной плоскости. Каждое стекло чуть наклонено и чуть развернуто по фронту. Для каждого стекла свой угол наклона. Каждый угол тоже электронной машиной рассчитан. Это чтобы предотвратить возможность использования окон для подслушивания. Стены защищены, конечно, еще лучше. Особенно там, под землей, в забое.

За окнами еще непроглядная ночь. Я знал это. Я пришел сюда только для того, чтобы походить по лестницам и коридорам. Я — дежурный офицер, и мне спать никак нельзя.

Вся ночная смена работает практически без моего участия и вмешательства. Группа "ТС" постоянно и круглосуточно ведет работу по перехвату и расшифровке военных и правительственных радиogramм. Группа контроля тоже занимается радиоперехватом. Но это совсем другой вид работы. "ТС" работает в интересах службы информации ГРУ, добывая крупинки, из которых командный пункт и большой компьютер постоянно лепят общую картину мира. У радиоконтроля функции другие, хотя и не менее ответственные. Группа радиоконтроля работает в интересах только нашей резидентуры. Эта группа следит за активностью полиции. Эта группа всегда знает, что делает венская полиция, как расставлены ее силы, за кем следят ее переодетые агенты. Радиоконтроль всегда скажет вам, что сегодня у вокзала они следили за подозрительным арабом, а вчера все силы были брошены на поимку группы торговцев наркотиками. Очень часто активность полиции не поддается расшифровке, но и тогда группа радиоконтроля всегда готова предупредить о том, в каком районе города эта непонятная активность.

Кроме групп радиоперехвата, ночами работают радисты и шифровальщики, но и в их работу я не имею права вмешиваться. Зачем же я тогда ночью тут сижу? Так положено. Работают разные группы, не подчиненные друг другу. Значит, над ними кто-то должен быть старшим. Оттого мы и дежури́м ночами.

Я — обыкновенный добывающий офицер, не имеющий особых заслуг, но для всех них — олицетворение власти. Для них неважно, варяг я или борзой. Я отношусь к высшей касте. Я добывающий. Значит, гораздо выше любого из тех, кто не связан прямо с иностранцами. Для любого из них, независимо от их воинских званий, стать добывающим офицером — красивая, но неосуществимая мечта.

— Виктор Андреевич, кофе?

Это Боря, третий шифровальщик. Ему нечего делать. Главный приемник молчит, приемник агентурной радиосигнализации тоже молчит.

— Да, Боря. Пожалуйста.

Я собирался закончить описание подобранных мной площадок десантирования для работы Спецназа 6-й Гвардейской танковой армии. По приказу ГРУ я подобрал три такие площадки. На случай войны. Но если Боря вышел из своего отсека, то завершить эту работу все равно не удастся.

— Сахар?

— Нет, Боря. Я всегда без сахара.

Боря поклоняется Венере. Все шифровальщики ГРУ и КГБ по всему миру поклоняются этой даме. Боря знает, что у меня много работы, и ходит вокруг, обдумывая, как отвлечь мое внимание от будущей войны и переключить его на обсуждение вопросов его религии.

— Виктор Андреевич!

— Чего тебе? — я не отрываюсь от тетради.

— Дипкурьеры стишок новый принесли.

— Сексуальный, конечно?

— У дипкурьеров всегда только такие.

— Хрен с тобой, Боря. Давай свой стишок.

Боря кашляет. Боря прочищает горло. Боря в позе великого поэта:

Я хожу по росе,
Я в ней ноги мочу,
Я такой же, как все:
Я ... хочу!

— Это я, Боря, и до тебя слышал.

Боря огорчается ненадолго:

— У нас в Ленинграде один страдатель был. Знатные стихи выдавал:

О, Ленинград!
О, город мой!
Все люди — б...
А я святой!

От него не отвяжешься. Да и портить отношения с ним опасно. Шифровальщики — более низкая каста, да зато ближе всех к Навигатору стоят, как верные холопы. В его поэзию мне никак углубляться не хочется, но и прерывать его неразумно. Лучше разговор в сторону повернуть:

— Ты в штабе Ленинградского округа служил?

— Нет, в восьмом отделе штаба 7-й армии.

— А потом?

— А потом прямо в Ватутинки.

— Ого!

Ватутинки — это совершенно секретный городок под Москвой. Главный приемный радиоцентр ГРУ. Там секретно все. Даже кладбище. Ватутинки — рай. Но как настоящий рай, он имеет одно неудобство: нет выхода наружу. Тот, кто попал в Ватутинки, может быть уверен, что похоронят его именно на этом кладбище и нигде более. Некоторые из тех, кто попал в это райское место, бывают за рубежом. Но жизнь от этого разнообразнее не становится. Для всех шифровальщиков внутри посольства установлены четко ограниченные зоны. Для каждого своя. Для Бори это только шестнадцать комнат, включая комнату, в которой он живет, общий рабочий зал, кабинеты Навигатора и его заместителей. За пределы этой зоны он перемещаться не может. Это уголовное преступление. А за пределы посольства — тем более. В этой зоне Боря проживет два года, а затем его отвезут в Ватутинки. В зону. Боря не ездит. Его возят. Под конвоем. Боря счастливый.

Многих из тех, кто попал в Ватутинки, вообще никуда не возят. Но и они счастливы в сравнении с теми тысячами шифровальщиков, которые служат в штабах округов, флотов, армий, флотилий. Для каждого из них Ватутинки — красивая, но неосуществимая мечта.

— Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, про проституток. А то мне скоро в Ватутинки. Там ребята засмеют: был в Вене, а никаких рассказов не привез.

— Боря, я ничего не знаю о проститутках, — голову даю на отрез, Боря не по приказу свыше меня провоцирует, ему просто послушать хочется. Любый шифровальщик, вернувшийся в Ватутинки, ценится только умением рассказывать истории на сексуальные темы. Все понимают, что у него была очень ограниченная зона для передвижения внутри посольства, иногда пять комнат. Все понимают, что его истории — выдумки, что ни один добывающий офицер не осмелится рассказать шифровальщику ничего из того, что он видит вокруг себя. И все же умелый рассказчик ценится в Ватутинках, как у народностей, не имеющих письменности, ценится сказочник. Вообще-то у цивилизованных народов то же самое наблюдается. Магазины Вены забиты фантастическими романами о при-

ключениях на вымышленных планетах. Все цивилизованные люди понимают, что это выдумка, но чтут авторов этих вымыслов точно так же, как в Ватутинках чтут рассказчиков сексуальных историй.

— Виктор Андреевич, ну расскажите про проституток. Что, прямо так и стоят на улице? А одеты в чем? Виктор Андреевич, я знаю, что вы к ним близко не подходите, но как они издалека выглядят?

4

...Ощущаю острую нехватку воображения. Без него — труба. Тот, кто сам планирует свои ходы, всеми силами старается уйти в тень, выталкивая обеспечивающих под свет полицейских фонарей. На что уж полиция в Австрии добродушная, но и она иногда злиться начинает. Публично нас, конечно, не выгоняют: мы все-таки не в Великобритании, тем не менее потихоньку и из Австрии иногда выставляют. Без шума, без скандала. А уж если ты в Австрии не сумел работать, можно ли тебя в Голландию отправить, где полиция работает вполне серьезно, или в Канаду, где условия и перспективы теперь совсем не те, что были когда-то.

Каждый варяг в тени. Каждый борзой — всему миру известен. Что ж, обмани ближнего, иначе дальний приблизится и обманет тебя. Варяги правильно делают, что нас под огонь подставляют, прикрываясь нашей нерасторопностью и неумением. Но я тоже стану варягом. Это я решил точно. Ночи спать не буду, а свой выход к секретам найду!

Без выхода к настоящим документам нет вербовки. Без вербовки нет жизни в ГРУ. Заключают. Все, что нам в академии преподавали, — имело не менее 20 лет выдержки и использовалось на практике много раз. Нужны новые пути.

Для развития криминального воображения нас заставляли детективные романы читать. Но это скорее для развития критического отношения к действиям и решениям других. Авторы детективов — профессиональные развлекатели публики, а не профессиональные добыватели секретов. Легко и свободно они главный вопрос обходят: как командир может поставить задачу на добывание нового оружия, если о нем ничего не известно? Вообще ничего. Если мир еще и не подозревает о том, что подобное оружие может существовать. А ведь ГРУ начало охоту за атомной бомбой в США, когда никто в мире не подозревал о возможности создания такого оружия и президент США еще по достоинству его не оценил.

Для развития воровского подхода в добывании возили нас в секретный отдел музея криминалистики на Петровку. Московское УГРО, конечно, не знало, кто мы такие. В том музее множество секретных делегаций и из МВД, и из КГБ, и из народного контроля, и

из комсомола, и еще черт знает откуда. Всем криминальное мышление развивать надо.

Интересный музей, ничего не скажешь. Больше всего мне машина понравилась, которая деньги делала. Ее студенты МВТУ сработали и грузинам за 10 000 рублей продали: нам настоящие деньги нужны, а фальшивую машину мы еще одну сделаем. Показали студенты, куда краску лить, куда бумагу вкладывать, куда спирт заливать. Делала машина великолепные хрустящие десятки, которые ни один эксперт от настоящих отличить не мог. Предупредили студенты грузин: не увлекайтесь — жадность фраера губит. Не перегревайте машину — рисунок расплывчатым станет. Уехали грузины в Грузию. Знай себе по вечерам денежки печатают. Но встала машина. Пришлось в шайку механика вербовать. Вскрыл механик ту машину, присвистнул. Обманули вас, говорит. Не может эта машина денег фальшивых делать. В нее сто настоящих десятков было вставлено. Крутнешь ручку — новенькая десятка и выскочит. Было их только сто. Все выскочили. Больше ничего не выскочит. Грузины в милицию. Студентов поймали — по три года тюрьмы за мошенничество. А грузинам — по десять. За попытку и решимость производить фальшивые деньги. Оно и правильно: студенты только грузин обманули, а грузины хотели рабоче-крестьянское государство обманывать.

Эх, везет же людям с такой роскошной фантазией. А что мне придумать?

Глава двенадцатая

1

— Ты, Витя, на доброте своей сгоришь. Нельзя быть таким добрым. Человек имеет право быть добрым до определенного предела. А дальше: или всех грызи, или ляжь в грязи. Дарвин это правило даже научно обосновал. Выживает сильнейший. Говорят, его теория только для животного мира подходит. Правильно говорят. Да только ведь и мы все животные. Чем мы от них отличаемся? Мало чем. У остальных животных нет венерических болезней, а у людей есть. Что еще? Только улыбка. Человек улыбаться умеет. Но от ваших улыбок мир не становится добрее. Жизнь — выживание. А выживание — это борьба, борьба за место под солнцем. Не расслабляйся, Витя, и не будь добрым — затопчут...

Давно за полночь. С берега Дуная тянет прохладой. Где-то далеко садится самолет. Дождь прошел. Но с каштанов еще падают тяжелые теплые капли. Младший лидер сидит напротив меня, горестно подперев щеку кулаком. Вообще-то он уже не Младший лидер.

Это просто по привычке мы его так называем, да и то не все. Теперь он просто полковник ГРУ Мороз Николай Тарасович. Добывающий офицер, действующий под дипломатическим прикрытием. Это немного. Полковник ГРУ это тоже не очень высоко. Полковники всякие в ГРУ бывают. Важно не звание, а успехи и положение. Добывающий полковник может быть просто борзым, как два военных атташе, которых эвакуировали одного за другим. Он может быть гордым и успешным варягом. Полковник может быть заместителем лидера или Младшим лидером. А в некоторых случаях и лидером небольшой дипломатической или нелегальной резидентуры. Сейчас полковник Николай Тарасович Мороз сведен с предпоследнего этажа на самый низ. Локализация провала завершена. Младшего лидера сместили. Трех борзых, что его всегда обеспечивали, эвакуировали в Москву. И все затихло. Со стороны изменений ведь не увидишь.

Кончилась власть полковника Мороза. На его место пока никого не прислали. Так что Навигатор правит нами лично и через заместителей. Нелегко ему без первого заместителя, но, откровенно говоря, и Навигатор не очень сейчас старается. Все как-то само собой идет.

Падение Младшего лидера каждый по-своему переносит. Каждый по-своему реагирует. Для офицеров “ТС“, радиоконтроля, фотодешифровки, для охраны, для операторов систем защиты, связистов, шифровальщиков и всех остальных, не участвующих в добычании, он так и остался полубогом. Ведь он же по-прежнему добывающий офицер! Но среди нас, добывающих, к нему теперь по-разному относятся. Конечно, капитаны, майоры и подполковники не хамят ему. Он равен нам по положению, но тем не менее полковник.

Но вот среди полковников, особенно малоуспешных, кое-кто и посмеивается. Интересно мы устроены: те, кто больше других к нему в дружбу лез, те больше других сейчас над ним потешаются. Друзья в беде познаются. Николай Тарасович на шутки не обижается. Не огрызается. Пьет Николай Тарасович. Здорово пьет. Навигатор внимания не обращает. Пусть пьет.

Горе у человека. Сдается мне, что и сам Навигатор поддает. Боря, третий шифровальщик, говорит, что Навигатор с зеркалом пьет, закрывшись в кабинете. Без зеркала пить не хочет, считает, что пьянство в одиночку — серьезный вид пьянства. Не знаю, шутит Боря или правду говорит, но только месяца три назад не осмелился бы Боря ни шутить так, ни личные командирские тайны выдавать. Видать, ослабла рука Навигатора, нашего папочки, нашего командира. Ослабла рука Лукавого. Возможно, что Навигатор с бывшим Младшим лидером иногда и вдвоем напиваются. Но Лукавый умудряется это в секрете сохранить, а Николай Тарасович не прячется.

Сегодня вечером под проливным дождем бегу я к своей машине, а он, бедолага, мокрый весь, ключом в дверь своего длинного "ситроена" попасть не может.

— Николай Тарасович, садитесь ко мне, я вас домой отвезу!

— Как же я, Витя, тогда утром в посольство вернусь?

— А я за вами утром заскочу.

Поехали.

— Вить, айда выпьем?

Как не выпить? Отвез я его за Дунай. У меня тут места есть, мало каким разведкам известные. Да и цены умеренные. Пьем.

— Добрый ты, Витя. Нельзя так. Ты человека из беды выручаешь, а он тебя и сожрет. Говорят, что люди — звери. Я с этим, Витя, ну никак согласиться не могу. Люди хуже зверей. Люди жестоки, как голуби.

— Николай Тарасович, все еще на свои места встанет, не расстраивайтесь. Навигатор вас за брата считает, он вас поддержит. Да и в Аквариуме у вас связи могучие, и в нашем управлении, и на КП, и в информации...

— Это все, Витя, правильно... Да только... ш-ш-ш, секрет... Провал у меня... Жестокий... В Центральном Комитете разбирали... Тут связи в Аквариуме не помогут. Ты думаешь, почему я не в Союзе? Потому как странно будет: в одной стране процесс шпионский, а из соседней — дипломаты советские исчезают... Проныры журналисты мигом параллель проведут... А для политики разрядки это вроде как серпом по глотке. Это вроде признания нашей вины и заматания следов. Временно я в Вене. Немного уляжется, забудется, тогда и меня уберут. Эвакуируют.

— А если вы успеете особо важного вербануть?

Он на меня грустным взглядом смотрит. Мне немного за свои слова неудобно. Мы оба знаем, что чудес не бывает. Но что-то в моей речи нравится ему, и он грустно улыбается мне.

— Вот что, Суворов, я сегодня слишком много болтаю, хотя права у меня нет такого. Болтаю я, потому как пьян, а еще потому, что среди многих известных мне людей ты, наверное, меньше всех подлостью заражен. Слушай, Суворов, и запоминай. Сейчас в нашей своре полное расслабление с полудремотой, как после полового сношения. Это потому, что Навигатору по шес дали — еле удержался, да меня сбросили, да транзит нелегалов временно через Австрию прекращен, да поток добытой документации сейчас по другим каналам в Аквариум идет. И многим кажется, что делать ничего не надо. Все разленились, распустились без тяжелой руки папаша. Это ненадолго. Наша свора потеряла ценнейший источник информации, и Центральный Комитет скоро об этом напомнит. Лукавый на дыбы взовьется. С каждого спросит. Лукавый любого в бараний рог скрутить может. Он обязательно себе жертву выберет и на ал-

тарь советской военной разведки положит. Чтоб никому неповадно было расслабляться. Будь, Виктор, начеку. Скоро Лукавому шифровку от Кира принесут. Лукавый страшен во гневе. Многим карьеры переломает. И правильно. Какого черта напоминаний ждете, как бараны в стаде? Виктор, работай сейчас. Завтра, может быть, уже поздно будет. Послушайся моего совета...

— Николай Тарасович, у меня идея есть неплохая, но я уже давно к Навигатору на прием попасть не могу. Может, завтра еще раз попробовать?

— Не советую, Витя. Не советую. Подожди. Скоро он всех по одному на львиную шкуру на великий суд вызывать будет, тогда и скажешь ему свою идею. Только мне ее не говори. Я ведь никто сейчас. Не имеешь права ты мне свои идеи говорить. А еще я ведь и украсть твою идею могу. Мне идеи сейчас позарез нужны. Не боишься?

— Не боюсь.

— Зря, Суворов, не боишься. Я такая же скотина, как и все остальные. А может быть, и хуже. Пойдем по бл... по лебедям?

— Поздно, Николай Тарасович.

— Самое время. Я тебе таких девочек покажу! Не бойся, пошли.

Вообще-то я не против на девочек посмотреть. И не боюсь я его. Он хоть и считает себя зверем, и хотя рука его к убийству вполне привычна, он все же человек. Редкое исключение среди тысяч двуногих зверей, встречавшихся на моем пути. Я — зверь в большей степени, чем он. И инстинкт размножения во мне не слабее инстинкта самосохранения. Но он пьян, и с ним можно нарваться. А за этим следует эвакуация.

— Поздно уже.

Он понимает, что я не прочь на девочек посмотреть и в их обществе немного расслабиться, но сегодня не пойду. И он не возражает.

2

Люди делятся на капиталистов и социалистов. И тем, и другим деньги нужны. Это их объединяет, а разъединяет их метод, которым они деньги добывают. Если капиталисту нужны деньги — он упорно работает. Если социалисту нужны деньги — он бросает работу, да еще и других подстрекает делать то же самое.

У капиталистов и социалистов все ясно и логично. А я отношусь к черт знает какой категории. В нашем обществе все наоборот. Всем тоже деньги нужны. Но о деньгах неприлично говорить и преступно их делать. Не общество, а непонятно что. Если было бы у нас нормальное общество, я всенепременно стал бы социалистом. Я

бы бастовал постоянно и на этом сколотил огромный капитал. Мне хочется сейчас думать о чем угодно: о капиталистах и социалистах, о светлом будущем планеты, когда все станут социалистами, когда все будут помнить только свои права, но не свои обязанности. И вообще мне сейчас хочется думать обо всем, кроме того, что ждет меня через несколько минут за броневой дверью командирского кабинета.

Свиреп Лукавый во гневе. Страшен он, особенно когда от Кира шифровку получит. Шифровку "из инстанции" Александр Иванович, первый шифровальщик, по приказу Лукавого всей своре зачитал. Суровая шифровка.

А после нее потянулись полковники по одному на львиную шкуру. Пред ясные очи. А за полковниками — подполковники. Быстро Лукавый резолюции выносит, точно как батька Махно приговоры. Скоро уже моя очередь... Страшно.

— Докладывай.

— Альпийский туризм.

— Альпийский туризм? — Навигатор медленно встает со своего кресла. — Ты сказал — альпийский туризм? — ему не сидится. Он быстро ходит из угла в угол, чему-то улыбаясь и глядя мимо меня: — Альпийский туризм, — указательный палец его правой руки коснулся его мощного лба и тут же наставлен на меня, как пистолет: — Я всегда знал, что у тебя золотая голова.

Он усаживается удобно в кресло, подперев щеку кулаком. Оранжевый отблеск лампы скользнул по его глазам, и я вдруг ощутил на себе подавляющую тяжесть его могучего интеллекта.

— Расскажи мне об альпийском туризме.

— Товарищ генерал, шестой флот США контролирует Средиземное море. Понятно, что ГРУ смотрит за ним из Италии, из Вашингтона, из Греции, Турции, Сирии, Ливана, Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Испании, Франции, с Мальты, с Кипра, со спутников, с кораблей 5-й эскадры. На 6-й флот мы можем смотреть не со стороны, а изнутри. Наблюдательный пункт — Австрийские Альпы. Конечно, наш опыт будет перенесен в Швейцарию и другие страны, но мы будем первыми. 6-й флот — золотое дно. Атомные авианосцы, новейшие самолеты, ракеты всех классов, подводные лодки, десантные корабли, а на них — танки, артиллерия и любое вооружение сухопутных войск. В 6-м флоте мы найдем все. Там ядерные заряды, атомные реакторы, электроника, электроника, электроника...

Он не перебивает меня.

— ...Служба в 6-м флоте — это возможность посмотреть на Европу: зачем лететь в США, если отпуск можно великолепно провести в Австрии, в Швейцарии, во Франции? После изнурительных

месяцев под палящим солнцем флотский офицер попадает в снежные горы...

Его глаза блестят.

— Если бы ты родился в волчьей семье капиталистов, то тебе предпринимателем быть. Продолжай...

— Я предлагаю сменить тактику. Я предлагаю ловить мышь не в норе, а в момент, когда она из нее выйдет. Я предлагаю не проникать на особо секретные объекты и не охотиться за какой-то определенной мышью, а построить мышеловку. Небольшой отель в горах. Это нам не будет практически ничего стоить. 500 тысяч долларов, не более. Для выполнения плана мне нужно только одно: секретный агент, который долго работал в добывании, но сейчас потерял свои агентурные возможности. Мне нужен один из стариков, который втянут в наши дела совершенно и окончательно, которому вы верите. Я думаю, что у вас должны быть старики на агентурной консервации. Мы найдем небольшой горный отель на грани банкротства. Таких немало. В него мы вдохнем новую жизнь, введя нашего агента с деньгами в качестве компаньона. Этим мы спасем отель и поставим владельца на колени. Собрав предварительно данные об отелях, мы выберем тот, в котором американцы из 6-го флота останавливаются наиболее часто. Отель не место вербовки. А место изучения. Молниеносная вербовка после. В другом месте.

— Отель — пассивный путь. Кто-то заедет. Или нет. Долго ждать...

— Как рыбак, забросив удочки... надо знать, куда забрасывать и с какой наживкой.

— Хорошо. Приказываю тебе собрать материалы о небольших горных отелях, которые по разным причинам продаются... Продаются не от хорошей жизни.

— Товарищ генерал, я уже собрал такие сведения, вот они...

3

Я больше в обеспечении не работаю. Это видят в забое все. Каждый мою судьбу предсказать пытается. Надолго ли мне привилегии такие.

Судьбу предсказывать не очень трудно. Нужно на первого шифровальщика смотреть. Он все знает. Все тайны. Он барометр командирской милости и немилости.

А первый шифровальщик меня по отчеству называть начал: Виктор Андреевич. Вам шифровка, Виктор Андреевич. Доброе утро, Виктор Андреевич. Распишитесь тут, Виктор Андреевич.

Это катаклизм. С первым шифровальщиком такого никогда не случалось. Он не добывающий офицер, но он к персоне Навигатора ближе всех стоит. По званию он подполковник. Он по имени и от-

честву только добывающих полковников называл, а подполковников, майоров, капитанов он никак не называл: вам шифровка! И не более. И вот на тебе: вспомнил имя мое и публично его произнес. Главный рабочий зал затих, когда он это впервые сказал. Лица удивленные в мою сторону повернулись. У Сережи, Двадцать Сельского, аж челюсть отвисла.

В тот самый первый раз, когда это случилось, первый шифровальщик меня к Навигатору вызывал:

— Командир ждет вас, Виктор Андреевич.

Теперь к этому уже привыкли. Каждый гадает, где это я успел отличиться. Краем уха слышу я иногда обрывки разговора обо мне: китайского атташе вербанул! Слухи обо мне разные. Но кроме меня, о моих делах знает только Навигатор, первый шифровальщик и Николай Тарасович Мороз, бывший Младший лидер. Он уже не пьет. Над ним никто больше не шутит. Раньше, когда он был Младшим лидером, он говорил: “Приказываю!” Потом он ничего не говорил. Теперь, оставаясь просто добывающим офицером, он стал говорить: “Именем резидента приказываю!” В его голосе вновь зазвенели железные нотки повелевающей машины. Раз приказывает, значит, есть такие полномочия. Раз заговорил таким тоном, значит, чувствует силу за собой.

Титул Младшего лидера утерян, это важно, конечно, очень. Но более важно другое: Навигатор полковнику по-прежнему верит и опирается на него. Раньше Младший лидер своей властью всю свору в кулаке держал, теперь он делает то же самое, но только от командирского имени.

— Товарищ генерал, мне на завтра три человека в обеспечение нужны, и в ночь с субботы на воскресенье — пятеро.

— Бери.

— Кого?

— Согласуй с Николаем Тарасовичем. Кто не занят, тех и забирай.

— А если там полковники и подполковники?

— И их забирай.

— И командовать ими?

— И командуй. В день проведения операции разрешаю использовать формулу “Именем резидента”.

— Спасибо, товарищ генерал.

С Николаем Тарасовичем мы в паре работаем. Как два аса под прикрытием целой эскадрильи.

Мы мышеловку в горах создаем. Большой бизнес разворачиваем. Я совсем не против того, что его к моей идее подключили, что меня ему полностью подчинили. У него опыт, у него агентура.

С разрешения Аквариума Навигатор снимает с агентурной консервации стариков и стягивает их в Австрию для проведения операции "Альпийский туризм". Отель не один куплен, а три. Это недорого для ГРУ.

Снятые с консервации старые добывающие агенты используются по-разному. Большинство из них вошло в состав агентурной группы с прямым каналом связи. Они прямо в Ватутинки сообщения передавать могут, не подвергая себя и нас риску. Несколько стариков работает под контролем Николая Тарасовича. Один подчинен непосредственно мне.

Раньше его звали 173-В-106-299. Теперь его зовут 173-В-41-299. Завербовали его в 1957 году в Ирландии. Пять лет он в добывании работал. Что он добывал, в его деле не сообщается. В деле только между строк можно прочесть о высокой активности и немалых успехах. После этого идет совершенно темная полоса в его биографии. В деле только говорится, что он в этот период состоял на прямой связи с Аквариумом, не подчиняясь венскому Навигатору ГРУ. Этот период оканчивается присвоением ему ордена Ленина, выдачей мощной премии, выводом в длительную консервацию с переводом под контроль нашей резидентуры.

За годы консервации с ним встреч не проводилось. Таких ребят именуют Миша, Дремлющий, Кот. Теперь он из спячки возвращен к активной работе. Теперь ему контрольные задания поставлены. Он думает, что работает, но это его просто проверяют. Не охладел ли? Не раскололся ли? Не перековался ли?

4

Навигатор меняет курс. Мы все это чувствуем. Он круто переложил руль и гонит наш корабль по бурным волнам. Он рискует. Он клонит корабль. Так можно и зачерпнуть бортом! Но у него крепкая рука.

Что-то меняется. Интенсивность обеспечения нарастает. В обеспечение всех! Операции другого рода пошли. Связаться с рекламными бюро! Собрать материалы на гидов и обслуживающий персонал отелей! Секретно. Ошибешься — тюрьма! Установить прямые контакты с рекламными бюро на средиземноморском побережье. Черт побери, что мы, бизнесом туристским занялись?

Добывающие идут чередой в кабинеты заместителей Навигатора. Добывающие исчезают на несколько дней. Спрятать передатчик в горах! Вложить деньги в тайник. Больше денег! Заместители Навигатора проверяют выполнение заданий. Что, черт побери, происходит? Каждый раз за советом к Навигатору не побежишь. Навигатор занят.

Никого не пускать! Где заместителю правильный ответ искать?

К Николаю Тарасовичу Морозу, что ли, обратиться? Он теперь не Младший лидер, но, черт побери, все по-прежнему знает.

Толпятся заместители в кабинете Николая Тарасовича. Ему кабинет вообще-то не положен. Он сейчас никто. Он просто добывающий. Но пока новый Младший лидер не прибыл...

Николай Тарасович — никто. Но лучше заместителю Навигатора к нему лишний раз забежать проконсультироваться, лучше выслушать его упреки, чем ошибиться. Ошибешься — Сибирь-матушка.

И опять обеспечение всех колесом закрутило. Днями и почками. Без выходных. Без праздников. Без прорывов.

— Николай Тарасович, некого в обеспечение ставить!

— А вы, Александр Александрович, подумайте.

Александр Александрович думает.

— Может, Витю Суворова?

— Нет. Его нельзя.

— Кого ж тогда? — Александр Александрович, заместитель Навигатора, только одного добывающего офицера в резерве имеет, и это Николай Тарасович Мороз. Александр Александрович вопросительно на Николая Тарасовича смотрит. Может, сам догадается в обеспечение попроситься? Некого ведь посылать. Всех разослали. Но Николай Тарасович молчит.

— Что ж, мне самому, что ли, в обеспечение идти? Я все-таки заместитель.

— А почему бы, Александр Александрович, и не сходить разок? Если посылать некого?

Александр Александрович еще думает. Наконец решение находит: я Виталия-Аэрофлота два раза в ночь погоню.

— Ну вот видишь, а говоришь — посылать некого.

Куда ты, Навигатор, гонишь нас? Можно ли так котлы перегревать? Не лопнули бы? Не лопнут! Тренированные. Из Спецназа. В обеспечение! Всех! Александр Александрович, в обеспечение! А твое обеспечение обеспечивает новый военный атташе. На зеленом "мерседесе".

Замотались. Закрутились. Ошибешься — тюрьма. На каждую операцию план написать. О каждой операции — отчет. Это чтобы следователям 9-го направления ГРУ легче виновных потом найти было.

В большом рабочем зале свет не тушат. Старший дежурный по забою сейчас не назначается: все равно полно офицеров добывающих в любое время суток в забое.

Слева от меня за рабочим столом Слава из торгпредства. Молоденький капитан совсем. Отчет пишет. Рукой от меня закрывает. Правильно, никому не положено чужих секретов знать. Откуда ему, Славе, знать, что это я ему операцию придумал. Что все ее детали

мы с Навигатором и с Николаем Тарасовичем неделю назад всю ночь обсуждали. Откуда тебе, Слава, знать, что это ты меня обеспечивал. И когда ты на лесную просеку выходил, я тебя видел. Хорошо видел. А ты меня не видел. И не мог видеть. И не имел права видеть. Ну пиши, пиши.

5

Одиноким американец из маленького итальянского порта Гаета. Что это название сказало вам? Что это название может сказать любому? Что это название скажет офицеру КГБ? Совершенно ничего. Маленькая рыбацья деревушка. В ней почему-то оказался американец. Почему? Да кому это интересно? Любой, кто узнал бы, что в маленьком австрийском горном отеле остановился американец из Гаеты, не обратил бы на это ни малейшего внимания.

Но мы — военные разведчики. Каждый из нас начинал службу в информационной группе или отделе. Каждый из нас учил наизусть тысячи цифр и названий. Для каждого из нас Пирмазенс, Пенмарш, Обен, Холи-Лох, Вудбридж, Пвайбрюккен — звенят райской музыкой. Какое наслаждение слышать название Гаета! В этой деревушке базируется всего один военный корабль. На его борту — огромная цифра “10”. Теперь вспомнили? Нет? Это американский крейсер “Олбани”! Это флагман 6-го флота. Это концентрация всех секретов и всех нитей управления. О моя деревянная голова! Почему идея о горных отелях не пришла в тебя год назад? Совсем недавно в горном отеле отдыхал американец из небольшой итальянской деревушки. Он обязательно был связан с крейсером “Олбани”. Мы не знаем, кто он. Но не может американец в этом забытом селении не знать других американцев с крейсера. Пусть он не капитан, не офицер и даже не матрос крейсера. Пусть он даже не военный. Может, он пастор, может быть, продавец порнографии. Но он имеет контакты с моряками крейсера, и это самое главное. Если бы наша мышеловка была поставлена год назад, то мы обязательно обрушились бы на бедного американца всей мощью нашей своры.

Массовый загон! Десятки шпионов против одной жертвы. Жертва чувствует, что акулы со всех сторон, что путей отхода нет. Иногда, когда осуществляется массовый загон всей сворой, стеной, македонской фалангой, — жертва не выдерживает и кончает самоубийством. Но чаще соглашается работать с нами. Если бы знали о нем, когда он появился в Австрии, на него обрушилась бы вся несокрушимая мощь ГРУ. А если бы Навигатор помощи попросил, то по приказу Аквариума на одну вербовку могли бы быть брошены силы нескольких резидентур. В таких случаях жертва кричит и мечется, всюду нарываясь на варягов и борзых. Он бы звонил в поли-

цию. Что ж, своих ребят мы и в полицейскую форму иногда нарядить можем. Полиция спасла бы его и посоветовала или кончать с собой, или соглашаться на предложение ГРУ. Когда все гонят одного целой ордой, несчастный может звонить во все мыслимые адреса, но везде получит один ответ. В угол его! В тупик! Углы всякие бывают: физические и нравственные, бывают финансовые тупики, пропасти безнадежности. А можно и просто в угол загнать. Голого человека в угол ванны. Голый среди одетых всегда ощущает непреодолимое чувство стыда и бессилия. Мы умеем загонять в угол! Мы умеем унижать и возвеличивать. Мы умеем заставить броситься в пропасть и умеем вовремя протянуть руку помощи.

— Замечтался?

— Замечтался, Николай Тарасович.

— Смотри, что я нашел.

Я читаю запись. Британская чета из небольшого городка Фаслейн — база британских подводных лодок. Если пара живет в Фаслейне, то вероятность того, что она связана с лодками, очень велика. Может быть, он командир лодки, а может быть, простой охранник на базе. Может быть, он мусорщик на военной базе или вблизи нее, поставщик молока, владелец пивной. Может быть, он работает в библиотеке, или в столовой, или в госпитале. Любое из этих положений великолепно: они имеют контакты с экипажами, с ремонтными бригадами, со штабными офицерами.

Если в Фаслейне есть проститутки, то смело можно утверждать, что и они с базой связаны. Да еще как! И через них можно добывать секреты, о которых, может быть, и капитаны лодок не знают.

Фаслейн слишком мал. Поэтому любой его обитатель как-то связан с базой.

Во Франции тоже есть база атомных подводных лодок. Но это Брест. Большой город. Совсем не каждый с лодками связан. Поэтому мы и выискиваем очень маленькие городки, в которых находятся военные объекты чрезвычайной важности. Тот же Фаслейн, например. Дипломатической резидентуре ГРУ в Лондоне очень неудобно своих ребят в Фаслейн посылать. В Великобритании ловят часто и выгоняют безжалостно. Не разгонишься. Да и появление постороннего в маленьком городке настораживает. Вот поэтому мы охотимся тут, в Австрии, на обитателей этих маленьких городков, название каждого из которых так сладко звучит в ушах военного разведчика.

Ночи напролет мы листаем регистрационные книги. Чем черт не шутит, решится кто-нибудь из этих людей второй раз в то же самое место вернуться? А если и нет, мы других найдем.

Регистрационные книги — это прошлое. Жаль, но его не вернуть. Но, листая книги о прошлом, мы ясно видим контуры наших будущих операций.

Командир серьезен. Командир строг.

— Приказом начальника ГШ назначен мой первый заместитель.

Мы все молчим.

— Александр Иванович, зачитай шифровку.

Александр Иванович, первый шифровальщик, осматривает нас ничего не выражающим взглядом и опускает глаза на небольшой ярко-желтый плотный листок:

“Совершенно секретно. Приказываю назначить первым заместителем командира дипломатической резидентуры ГРУ 173-В полковника Мороза Николая Тарасовича. Начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Огарков. Начальник ГРУ генерал армии Ивашутин“.

Командир улыбается. Первый шифровальщик улыбается. Улыбается Николай Тарасович. Он снова Младший лидер. Улыбаюсь я. Улыбаются мои товарищи. Не все.

У нас, в ГРУ, а также во всей Советской Армии, в КГБ, во всем Советском Союзе возвышение после опалы — вещь редкая. Это — вроде как из могилы надо вернуться: немногие возвращаются. Срыв означает падение. А падение — всегда на самое дно, на камушки.

Мы подходим к Младшему лидеру и по очереди поздравляем его. Ему больше не надо использовать формулу “Именем резидента“, он теперь всемогущ и юридически. Он жмет руки всем. Но мне кажется, что он не совсем забыл, кто потешался над ним, когда падение началось. Не забыл. И те, кто потешался, тоже знают, что не забыл он. Вспомнит. Не сейчас, подождет. Все знают, что ожидание мести хуже самой мести. Младший лидер не спешит.

— Поздравляю вас, Николай Тарасович, — это моя очередь подошла. Он жмет мне руку, смотрит в глаза. Он тихо говорит мне “спасибо“.

Кроме нас, только Лидер да первый шифровальщик понимают истинное значение этого “спасибо“. Месяц назад агент 173-В-41-299, ставший теперь совладельцем маленького отеля и подчиненный мне, вызвал меня на экстренную встречу и сообщил о постояльце из маленького бельгийского города, название которого снится любому офицеру ГРУ. На вербовку должен был выходить я — немедленно. Я связался с Навигатором и отказался. Не могу, опыта недостаточно. За эту вербовку я бы получил красную звезду на грудь или серебряную на плечи. И опыта у меня достаточно. Но... я отказался. Навигатор послал Николая Тарасовича. Вот он сегодня и именинник.

— Спасибо, Витя, — это Навигатор мне руку жмет. Все вокруг смотрят на нас. Никто ничего не понимает. Отчего мне вдруг Нави-

гатор руку жмет? За что благодарит? Вроде не я сегодня именинник. А Навигатор мне руку на плечо положил, по спине хлопает — будет и на твоей улице праздник. Не знаю, почему, но я глаза вниз опустил. Не жалко мне той вербовки, ничуть не жалко.

Пусть вам повезет, Николай Тарасович.

7

Болеют только ленивые. Неужели трудно раз в месяц в лес обратиться и положить конец всем болезням? Предотвратить все грядущие недуги? Я такое время всегда нахожу, даже в периоды самого беспросветного обеспечения. А сейчас и подавно.

Я далеко в горах. Я знаю, что тут никого нет. Я умею это проврать. Нет, ни тайники, ни встречи меня не ждут. Муравьи. Большие рыжие лесные муравьи. Вот их царство, город-государство. На солнечной поляне меж сосен. Я раздеваюсь и бросаюсь в муравейник, как в холодную воду. Их тысячи. Толпа. Муравьиный Шанхай. Побежали по рукам и ногам. Вот один больно укусил, и тут же вся муравьиная свора вцепилась в меня. Если посидеть подольше — съедят всего. Но если выдержать только минуту — лечение. Это — как яд змеиный. Много — смерть. Немного — лекарство. Недаром змея символом медицины считается. Но я змеиным ядом не лечусь. Не знаю почему. Просто времени никогда не было. А на муравьев времени много не надо. Нашел огромный муравейник, да и прыгай в него!

Жидкость, выделяемая железами муравья, консервирует и сохраняет все что угодно. Укусит муравей гусеницу и в свое муравьиное хранилище тащит. От одного укуса мертвое тело не сгниет ни за год, ни за два. Так и будет лежать, как в холодильнике.

А с живым телом и подавно чудеса происходят. Ни морщин, ни желтизны на лице никогда не будет. Зубы все целые останутся. Мой дед в девяносто три года умер без морщин и почти со всеми зубами. Потерял только три — красные выбили. Сбежал он от них, а иначе все бы зубы потерял вместе с головой. Всю жизнь прожил, маховское свое прошлое скрыть ухитрился. Иначе меня никто бы в Красную Армию не взял. Да, наверное, мне и родиться не суждено было б.

Секретами муравьиными не один мой дед пользовался. Вся Русь. А до нее Византия. А еще раньше Египет. Муравей в Египте первым доктором почитался. Увидели египтяне много тысяч лет назад, как муравей свою пищу консервирует, и ну в муравейники ноги свои совать да руки. А потом и фараонов мертвых стали муравьиным собраниям на две ночи выставлять. Тысячи лет после этого их тела разрушению не подвержены.

Все знают, что рыжий лесной муравей — чародей. Да ведь ле-

ниво человечество! В аптеках муравьиную кислоту покупают люди. Не настоящую, на фабриках произведенную. Руки, ноги растирают. Глупые. Муравей-то знает, куда кусать. А это важно очень, чтобы кусать именно туда, куда положено. Вроде как в китайской медицине иголочками колоться. Не абы как, а куда положено.

Взревел я, как лось. Галопом скачу. Муравьев с себя стряхиваю. Спасибо, братцы, достаточно на сегодня.

8

У наших соседей, у Друзей Народа, то есть у КГБ, — большой праздник. Несколько лет назад с советского боевого корабля бежал офицер. За ним многие резидентуры КГБ охотились, но повезло венской дипломатической резидентуре. Она провела головокружительную провокацию. Заместитель резидента КГБ связался с американской разведкой и подбрасывал ей вполне правдоподобные секреты. А потом и в США бежать собрался. Но перед побегом попросил гарантий: хочу поговорить с беглым советским офицером, правда ли, что ему хорошо живется. Американская разведка прислала несчастного беглеца на встречу с КГБ. Потому в КГБ и праздник.

Что ж, Друзья Народа, успехов вам. Воровать людей вы здорово научились. Но почему вам не удалось украсть американские атомные секреты, отчего вы никогда не приносили советской промышленности ни чертежей французских противотанковых ракет, ни британских торпед, ни германских танковых двигателей? А?

— Виктор Андреевич, вам сигнал.

Чашку кофейную в сторону. Документы в портфель. Портфель — в сейф. Ключ — в малый сейф. Закрывающая комбинация сегодня сменена. Это помнить надо.

— Пошли!

Четвертый шифровальщик впереди. Я следом. По бетонной лестнице вниз. В “бункер”. Он на кнопку сигнала жмет. Дверь шелкнула — можно открывать. Мы в небольшой бетонной комнате. Стены ее белые, шершавые. Хранят на века отпечатки поверхностей досок, из которых опалубка была выполнена, когда бункер строили. Двери закрыты. Любопытные телекамеры осматривают нас. Четвертый шифровальщик входную дверь плотно задраивает. Изнутри она на герметичный люк подводной лодки похожа. Шифровальщик опускает руку под занавеску и набирает номер. Руку его я видеть не могу и не имею права. И не знаю, что он там своей рукой делает. Говорят, что, если ошибешься в наборе комбинации, — капкан руку прищемит. Не знаю, правда это, или шифровальщики шутят. Добывающему офицеру не положено знать их тайн.

Внутренняя охрана бункера наконец убедилась, что мы — свои. Главная дверь плавно, без всяких щелчков, медленно уплывает в сторону. За дверью Петя, Спецназ: заходите. КГБ свою внутреннюю охрану из офицеров пограничных войск комплектует. А ГРУ — из офицеров диверсионных батальонов и бригад. Одним выстрелом двух зайцев ГРУ убивает. И охрана надежная, и диверсантов иногда по стране на автобусе повозить можно: вот ваши площадки десантирования, тут тайники, тут укрытия, тут полицейские посты.

Дипломатическую резидентуру ГРУ в Вене охраняют диверсанты из 6-й гвардейской танковой армии. Это горная армия с особыми традициями. Она через Большой Хинган прорвалась на пути к Тихому океану. Она 800 километров без остановки прошла по местам, которые любимы теоретиками считались недоступными для танков. Теперь 6-я гвардейская танковая армия готовится к проведению молниеносного броска через Австрию по левому незащищенному берегу Рейна к Северному морю. В сравнении с Хинганом Австрийские Альпы, конечно, просто холмы. Но и их надо умело преодолевать. Вот поэтому в Вене только из этой армии диверсанты постоянно находятся. Им впереди идти. Им дорогу очищать своими острыми ножами.

— Здравствуйте, Виктор Андреевич, — Петя меня приветствует.

— Здравствуй, здравствуй, головорез. Обленился в бункере?

— Не обленился, а озверел, — смеется Петя. — Юбку женскую шесть месяцев уже не видел. Даже издали.

— Крепись. На подводных лодках хуже бывает.

По коридору — вдоль стальных дверей. Коридор десятками тяжелых портьер завешан. Так что не скажешь, длинный он или нет. Может, за следующей занавеской коридор раздваивается или уходит в сторону. Нам этого знать не положено. Дверь комнаты сигнализаторов первая слева.

В комнате с низкими потолками тоже все в занавесках серых. Говорят, это на случай пожара. Может быть, и так. Но опять же, бываю я в этой комнате, а сколько в ней сигнализаторов стоит — понятия не имею.

В ожидании меня одна занавеска сдвинута. За ней серый ящик с аккуратной надписью “Передал 299-й. Принял 41-й“. Шифровальщик вставляет свой ключ в скважину, поворачивает его и выходит из комнаты. Я вставляю свой ключ, поворачиваю его и открываю стальную дверку. За ней ряды маленьких зеленых лампочек. Одна — с номером 28 — горит.

Я нажимаю кнопку сброса. Сигнальная лампочка гаснет. Одновременно гаснет сигнальная лампочка над моим сигнализатором. Она говорит шифровальщику, что какой-то сигнал получен. Но он

не имеет права знать, какой именно сигнал. Это знаю только я. Это сигнал "28". Но если бы шифровальщик и узнал, что я получил сигнал "28" от агента 173-B-41-299, как он может узнать, что означает сигнал "28"?

Сигнал "28" означает, что агент 173-B-41-299 вызывает меня на связь. "28" означает, что безличная встреча состоится в первую субботу после получения сигнала. Время между 4.30 и 4.45 утра. Место — Аттерзее, район Зальцбурга.

299-й имеет целую систему сигналов и может вызывать нас на личную или безличную связь в любой момент. Каждый вариант связи разработан до мельчайших деталей, и каждый вариант имеет свой номер. Под номером "28" кроется целый план с вариантами и запасными комбинациями.

Неуязвимость ГРУ обеспечивается прежде всего тем, что количество встреч с ценной агентурой сводится к минимуму и, если возможно, — к нулю. Я работаю десять месяцев с 299-м агентом, но никогда не видел его и не увижу. Безличные встречи с ним проводятся по два-три раза в месяц, но за двадцать один год работы с ГРУ он имел только шесть личных встреч и видел в лицо только двоих офицеров ГРУ. Это правильная тактика. Отсутствие личных встреч защищает нашу агентуру от наших же ошибок, а наших офицеров от скандальных провалов и сенсационных фотографий на первых полосах.

При безличной встрече офицер ГРУ и его агент могут находиться в десятках километров один от другого. Каждый не знает, где находится его собеседник. Для передачи сообщения или для обмена сообщениями мы не используем радио или телефон. Мы используем водопроводные или канализационные трубы. Иногда два телефонных аппарата могут быть подключены к металлическому забору или к ограде из колючей проволоки. Эти "участки связи" заранее подбираются и проверяются обеспечивающими офицерами.

Но чаще всего для связи с ценными агентами ГРУ использует воду. Пусть полиция прослушивает эфир. Вода — лучший проводник сигналов и гораздо менее контролируемый. Когда полиция начнет контролировать все водоемы, все реки, озера, моря и океаны, тогда мы перейдем на другие способы агентурной связи. Институт связи ГРУ что-нибудь к тому времени придумает.

Капли росы на сапогах. Я бреду по высокой мокрой траве к озеру. Березы да ели вокруг. Клинья еловых вершин сплошным чап-стоколом вокруг воды стоят. Стенкой. Тишина звонящая. На сучок

не наступить. Зачем шум? Шум оскорбляет эту чистую воду, эту хрустальную прозрачность неба и розовые вершины гор. Тут всегда будет тишина. И когда сюда придет Спецназ, грохот солдатского сапога не нарушит тишины: мягкая обувь диверсанта не стучит, как кованый сапог пехотинца. Потом тут пройдет 6-я гвардейская танковая армия. Это будет грохот и рев. Но совсем ненадолго. Вновь воцарится звенящая тишина, и маленький уютный концлагерь на берегу озера ее не нарушит. Может, я буду начальником лагеря, а может быть, обыкновенным эком вместе с местными социалистами и борцами за мир. Так всегда было: кто Красную Армию первым приветствует или с ней о мире договориться желает — первым под ее ударами падает.

Земля зарей объята. Земля восторженно приветствует восход светила. Жизнь ликует. Жизнь торжествует, готовясь встретить брызжащий водопад света, который обрушится из-за вершин гор. Вот сейчас, вот еще немного. Оглушительный щебет загремит гимном, приветствуя свет. А сейчас еще тишина. Еще не засверкали капли бриллиантами, еще не потекло червонное золото по склонам гор, еще не принес легкий ветер аромата диких цветов. Природа утихла в самое последнее мгновение перед взрывом восторга, радости и жизни.

Кто любит этим? Один я. Витя-шпион. А еще мой агент под 299-м номером. Он пробирается к озеру совсем с другой стороны. Интересно, понимает ли он поэзию природы? Может ли он часами вслушиваться в ее шорохи? Понимает ли он, что сейчас мы с ним вдвоем ведем подготовку к строительству маленького концлагеря на отлогом берегу? Понимает ли этот старый дурак, что и я, и он можем стать обитателями этого самого живописного в мире лагерька? Соображает ли он, что те, кто очень близко у жерла мясорубки работает, попадают в нее чаще обычных смертных? Думает ли он своей деревянной головой, что волей случая его лагерный номер может быть очень похож на его агентурный индекс? Ни черта он не думает. Мне деваться некуда, я родился и вырос в этой системе. И от нее не убежишь. А он добровольно нам помогает, собака. Если меня не поставят коммунисты к стенке, не сожгут в крематории и не утопят в переполненной барже, а поставят концлагерем командовать, то таким добровольным помощникам я особый сектор отгороджу и кормить их не буду. Пусть по очереди друг друга пожирают. Как крысы в железной бочке сжирают самую слабую первой, чуть более сильную второй... Пусть каждый день они выясняют, кто из них самый слабый. Пусть каждый заснуть боится, чтобы его сонного не удушили и не съели. Вот, может, тогда поймут они, что нет на земле гармонии и быть не может. Что каждый сам себя защищать обязан. Эх, черт. Поставили бы меня начальником лагеря!

Время.

Я забрасываю удочку в озеро. Моя удочка на обычные очень похожа. Разница только в том, что из ручки можно вытянуть небольшой проводок и присоединить его к часам. Часы в свою очередь соединены кабелем с маленькой серой коробкой. От часов кабель идет по рукаву и опускается во внутренний карман. Циферблат моих слегка необычных часов засветился, а через минуту погас. Это значит, передача принята и записана на тонкую проволоку моего магнитофона. Волны, несущие сообщения, не распространяются в эфире. Наши сигналы распространяются только в пределах озера и за его берег не выходят. Заблаговременно сообщения записываются на магнитофон и передаются на предельной скорости. Перехватить агентурное сообщение очень трудно, даже если знаешь заранее время и место передачи и частоты. Без такого знания — перехватить передачу невозможно.

Я делаю вид, что завожу свои часы. Циферблат чуть засветился и погас: ответное сообщение передано. Пора и удочки сматывать.

Глава тринадцатая

1

Время летит, как стучащий экспресс, оглушая и упругим потоком отбрасывая от насыпи. Снова день и ночь смешались в черно-белом водовороте: транзит из Ливана, прием на связь людей, завербованных в Южной Африке, тайниковая связь с каким-то призрачным “другом”, завербованным неизвестно кем, обеспечение нелегалов, и опять транзит в Ирландию. И Командир, и Младший лидер запрещают меня отвлекать по пустякам. Но слишком часто идет обеспечение особой важности, то есть обеспечение нелегалов или массовое обеспечение, когда в прикрытии работают все, включая и заместителей резидента. И никому нет поблажек. В обеспечении все! Где людей взять? Дважды в ночь пойдешь! Прием транзита из Франции. Прием транзита из Гондураса. Понимать надо!

И вдруг колесо остановилось. Я листаю свою рабочую тетрадь, исписанную вдоль и поперек, и вдруг внезапно открываю совершенно белую страницу. На ней только одна запись: “Работа с 713-м“. И этот белый лист означает сегодняшний день. День, когда я сижу в своем кресле, а в моей голове галопом несутся встречи, тайниковые операции, безличная связь.

Я долго смотрю на короткую фразу, затем поднимаю белую телефонную трубку и, не набирая никаких цифр, спрашиваю:

— Товарищ генерал, вы не могли бы принять меня?

— До завтра подождет?

— Я уже несколько дней пытаюсь попасть к вам на прием, —

это я вру, зная, что сейчас у него нет времени проверять, — но сегодня последний день.

— Как последний?

— Даже не последний, товарищ генерал, а первый.

— Ах ты, черт. Слушай, я сейчас не могу. Через тридцать минут зайдешь ко мне. Если кто-то будет в приемной, пошли на хрен от моего имени. Понял?

— Понял.

Я доложил ему маршрут следования, приемы и уловки, которыми я намеревался сбить полицию со следа. Я доложил все, что мне теперь известно о нем — человеку из Роты.

— Ну что ж, неплохо. Желаю удачи.

Он встал. Улыбнулся мне. И пожал руку. За четыре года третий раз.

2

Дороги забиты туристами. Я тороплюсь. Я рассчитываю поспеть в гостиницу к вечеру, чтобы и этот вечер использовать для выполнения задачи. Пять часов я гоню по большой дороге. Иногда приходится подолгу стоять, когда образуются гигантские пробки на дорогах, но, как только путь освобождается, я снова гоню свою машину, не жалея ни мотора, ни шин, обгоняя всех. Когда солнце стало склоняться к западу, я сошел с большой дороги на узкую и, не снижая скорости, погнал по ней. Из-за поворота — белый “мерседес”. Тормоза надрывно визжат. Над ним облако пыли: его на обочину вынесло. Водитель меня по глазам фарами своими хлещет и зычным ревом сигнала — по ушам моим. Женщина на заднем сиденье “мерседеса” пальцем у виска крутит, внушает мне, что я ненормальный. Зря стараетесь, мадам, я это знаю и без вас. Я чуть педали тормоза коснулся на повороте, отчего тормоза взвыли, протестуя, унося мою машину на встречную полосу, тут же я тормоза отпускаю, а педаль газа в пол жму, до упора, пока нога не упрется. Голову наотрез — моего номера запомнить они не могли и рассмотреть даже времени не имели. Я уж за поворотом. Я руль ухватил и не отпущу его. Если в пропасть лететь — так и тогда не отпущу. А машина моя ревет. Не нравятся машине повадки мои. На первом же перекрестке я ухожу на совсем узкую дорогу в темном лесу. По ней, по этой дороге, я долго вверх карабкаюсь, а потом вниз, вниз, в горную долину. Более широкой дорога стала. По ней и пойду. Картой не пользуюсь. Местность эту я хорошо представляю, да по багровому солнцу ориентируюсь. А оно уж своим раскаленным краем поросшей лесом скалистой гряды коснулось.

В гостиницу я попал, когда уж совсем стемнело. Гостиница та — на берегу лесного озера у отлогого горного ската. Зимой тут, наверное, все пестрит яркими лыжными костюмами. А сейчас, летом, — тишина, покой. С гор прохладой тянет, а над некошениым лугом кто-то раскинул упругую перину белого тумана. А мне некогда на красоты любоваться. Я в номер. На второй этаж. А ключ в дверь не попадает. Я сам себя успокаиваю. Дверь открываю. Чемодан в угол бросаю и — в душ. Грязный я совсем. Целый день за рулем.

Вот уж и чистенький. Полотенцем по коже сильнее, сильнее. Костюм свеженький на себя, глаженный. Платок яркий — на шею. А теперь в зеркало. Нет, так, конечно, не пойдет. Глаза свинцовые, губы сжаты. На лице беззаботное счастье светиться должно. Вот так. Так-то лучше. А теперь вниз. Да не спеша. Смотрят люди на меня, и никто не подумает, что сегодня в моей очень трудной жизни, лишенной выходных и праздников, — один из наиболее утомительных дней. И не думайте, что мой рабочий день уже кончился, нет, он продолжается.

А в зале музыка грохочет. А в зале по темным стенам яркие огни мечутся, по потолку тоже и по лицам счастливых людей, распыляющих уйму энергии в угоду своему наслаждению. В бурном водовороте звуков вдруг яростно доминирует труба, заглушая все своим ревом, и ритм торжествует над толпой, подчиняя себе каждого. И по властному велению ритма звенит хрусталь, вторя пьянящему шуму танцующей толпы.

Моя рука чувствует режущий холод запотевшего хрусталя, я поднимаю перед собой сверкающий, искрящийся сосуд, наполненный обжигающей влагой, и в то же мгновение в нем отражается весь бушующий ураган звука и цвета. Улыбаясь брызжущему огню и закрывая им лицо, я медленно обвожу зал глазами, стараясь не выдать своего напряжения. Вот уголком глаза я увидел того, кто в зеленой блестящей папке числится под номером 713. Я видел его только раз, только на маленькой фотографии. Но я узнаю его. Это он. Я медленно подношу бокал к губам, гашу улыбку, пригубливаю спиртное и так же медленно поворачиваю лицо. Вот он медленно поднимает глаза на меня. Вот наши взгляды встретились. Я изображаю радостное удивление на лице и салютую широким приветственным жестом. Он изумленно оборачивается, но сзади — никого. Он вновь смотрит на меня с неким вопросом: ты это кому? “Тебе! — молча отвечаю я. — Кому же еще?” Расталкивая танцующих, с бокалом в руке, я пробиваюсь к нему.

— Здравствуй! Никогда не думал тебя встретить тут! Ты помнишь тот великолепный вечер в Ванкувере?

— Я никогда не был в Канаде.

— Извините, — смущенно говорю я, всматриваюсь в его лицо. — Тут так мало света, а вы так похожи на моего знакомого... Извините, пожалуйста...

Я вновь пробился к бару. Минут двадцать я наблюдаю за танцующими.

Я стараюсь уловить наиболее характерные движения: в моей жизни никогда не было времени для танцев. Когда приятное тепло разливается по всему телу, я вступаю в круг танцующих, и толпа радушно расступилась, открывая ворота в королевство веселья и счастья.

Танцую я долго и иступленно. Постепенно мои движения приобретают необходимую гибкость и вольность. А может, это только мне кажется. Во всяком случае, на меня никто не обращает внимания. Веселая толпа принимает в свои ряды всех и прощает всем.

Когда он ушел, я не знаю. Я уходил поздней ночью в числе самых последних...

3

Самое главное сейчас — не испугать его. Можно, конечно, быка взять за рога, но у меня есть несколько дней, и потому я использую “плавный контакт”. Многое об этом человеке нам неизвестно. Но даже наблюдение в течение нескольких дней дает очень много полезной информации: он один, на женщин не бросается, деньгами не сорит, но и не жалеет каждый доллар, весел. Последний факт очень важен — хуже всего вербовать угрюмого. Не напивается, но пьет регулярно. Книг читает много. Последние известия смотрит и слушает. Юмор понимает и ценит. Одевается аккуратно, но без роскоши. Никаких ювелирных украшений не носит. Волосы на голове не всегда гладко причесаны — уже этого достаточно для того, чтобы что-то знать о внутреннем мире человека. Часто челюсти сжаты — это верный признак внутренней подтянутости, собранности и воли. Такого трудно вербовать, зато потом легко с таким работать. Очень долго украдкой я наблюдаю за выражением его лица. Особенно мне нужны все детали о его глазах: глаза расположены широко, веки не нависают, небольшие мешки под глазами. Зрачки с одного положения на другое переходят очень медленно и задерживаются в одном положении долго. Веки опускает медленно и так же медленно их поднимает. Взгляд долгий, но не всегда внимательный. Чаше взгляд отсутствующий, чем изучающий. При изучении человека особое внимание уделяется мышцам рта в разных ситуациях: в улыбке, в гневе, в раздражении, в расслаблении. Но и улыбка бывает снисходительной, презрительной, брезгливой, счастливой, иронической, саркастической, бывает улыбка победителя и улыбка проигравшего, улыбка попавшего в неловкое положение или улыбка угрожающая,

близкая к оскалу. И во всех этих ситуациях принимают участие мышцы лица. Работа этих мышц — зеркало души. И детали эти гораздо более важны, чем знание его финансовых и служебных затруднений, хотя и это неплохо знать.

Ночью я бросаю в машину рюкзак, длинные сапоги, удочки и еду на дальнее озеро ловить рыбу. На рассвете из камышей появляется Младший лидер. Он садится рядом со мной и забрасывает удочку в воду. Кругом никого. Вода теплая к рассвету, парит слегка. Розовая от восхода, солнца еще не видно.

Заместитель командира рыбалку терпеть не может. Особенно его раздражает то, что находятся на свете люди, которые добровольно руками берут червяков. Он к ним притронуться боится, если бы приказали — другое дело. Но тут старшим был он. Нужды брать их в руки не было, и потому он забрасывает удочки с пустым крючком. Он очень устал. Глаза у него совсем красные, а лицо серое. Ради короткой встречи со мной он явно всю ночь провел за рулем. А у него множество своих ответственных дел. Он неудержимо зевает, слушая меня. Правда, в конце рассказа он зевать перестал, слегка даже заулыбался.

— Все хорошо, Виктор.

— Вы думаете, можно вербовать?

Третий раз в жизни я удостоился взгляда, который усталый учитель дарит на редкость бестолковому ученику. Учитель трет свои красные от недосыпа глаза.

— Слушай, Суворов, ты чего-то не понимаешь. В таком деле ты просто не имеешь права спрашивать разрешения. Если ты спросишь, я тебе дам отказ. Когда-нибудь ты станешь Младшим лидером и даже Навигатором, но запомни: и тогда ты не должен никого спрашивать. Ты пошлешь запрос в Аквариум, а ответ по техническим причинам обязательно опоздает. Я могу знать очень многое о твоём человеке, но я не могу его чувствовать. Ты разговариваешь с ним, и только твоя собственная интуиция может тут помочь. В этой ситуации ни я, ни Навигатор, ни Аквариум брать на себя ответственность не желаем. Если ты человека не завербуешь, это твоя ошибка, которую тебе не скоро простят. Если ты ошибешься и тебя арестуют на вербовке, тебе и этого не простят. Все зависит только от тебя. Хочешь вербовать — это твой будет орден, это тебя будут хвалить, это твой успех и твоя карьера. Мы тебя все тогда поддержим. Запомни, что Аквариум всегда прав. Запомни, что Аквариум всегда на стороне тех, у кого успех.

Если ты будешь нарушать правила и провалишься — попадешь под трибунал ГРУ. Если будешь действовать точно по правилам, но провалишься — опять ты же и будешь виноват: догматично использовал устав. Но если ты будешь иметь успех, то тебя поддержат все и простят все, включая нарушение самых главных наших правил.

“Творчески и гибко использовал устав, отмечая устаревшие и отжившие правила“. Уверен в успехе — иди и вербуй. Не уверен — откажись сейчас. Я другого пошлю, о такой возможности любой разведчик мечтает. Дело твое.

— Я буду вербовать.

— Это другой разговор. И запомни: ни я, ни Навигатор, ни Аквариум твоих намерений не одобряем. Мы просто их не знаем. Ошибешься — мы скажем, что ты глупый мальчишка, который превысил свои полномочия, за что тебя нужно выгнать на космодром Плесецк.

— Я понимаю.

— Тогда желаю успеха.

Чтобы быть похожим на рыбака, он взял несколько пойманных мной рыбешек и скрылся в камышах.

4

Вечером мы пьем с 713-м. Он и не подозревает о том, что у него давно есть номер, что большой компьютер уделил ему особое внимание, что вокруг горного отеля собраны немалые силы ГРУ, что из Аквариума прибыл один из ведущих психологов ГРУ полковник Стрешнев, который проводил анализ короткого фильма, снятого мной. 713-й не знает, что работу его лицевых мышц анализировали, может быть, самые успешные психиатры тайного мира разведки.

Мы пьем и смеемся. Мы говорим обо всем. Я начинаю говорить о погоде, о деньгах, о женщинах, об успехе, о власти, о сохранении мира и предотвращении мировой ядерной катастрофы. Должна быть какая-то тема, которую он поддержит и начнет говорить. Главное, чтобы он говорил больше меня. Для этого нужен ключик. Для этого нужна тема, которая его интересует. Мы снова пьем и снова смеемся. Ключик найден. Его интересуют акулы. Смотрел ли я фильм “Челюсти“? Нет, еще не смотрел. Ах, какой фильм! Акуля пасть появляется, когда зал, полный зрителей, ее не ждет. Какой эффект! Мы снова смеемся. Он рассказывает мне о повадках акул. Удивительные существа... Мы снова смеемся. Он старается угадать, какой я национальности. Грек? Югослав? Смесь чеха и итальянца? Смесь турка с немцем? Да нет же, я русский. Мы оба хохочем. Что же ты, русский, делаешь? Я — шпион! Ты хочешь меня завербовать? Да! Мы хохочем до упаду.

Потом он вдруг перестает смеяться.

— Ты правда русский?

— Правда.

— Ты шпион?

— Шпион.

— Ты пришел вербовать меня?

— Тебя.

— Ты все обо мне знаешь?

— Не все. Но кое-что.

Он долго молчит.

— Наша встреча заснята на пленку, и ты будешь теперь меня шантажировать?

— Наша встреча заснята на пленку, но шантажировать я не буду. Может быть, это не совпадает со шпионскими романами, но шантаж никогда не давал положительных результатов и потому не используется. По крайней мере моей службой.

— Твоя служба — КГБ?

— Нет. ГРУ.

— Никогда не слышал.

— Тем лучше.

— Слушай, русский. Я давал клятву не передавать никаких секретов иностранным державам.

— Никаких секретов никому передавать не надо.

— Чего же ты от меня хочешь? — он явно никогда не встречал живого шпиона, и ему просто очень интересно со мной поговорить.

— Ты напишешь книгу.

— Про что?

— Про подводные лодки на базе Рота.

— Ты знаешь, что я с этой базы?

— Поэтому я и вербую тебя, а не тех за соседним столом.

Мы снова смеемся.

— Мне кажется, что все как в кино.

— Это всегда так бывает. Я тоже никогда не думал, что попаду в разведку. Ну, спокойной ночи. Эй, девочка, счет.

— Слушай, русский, я напишу книгу, и что дальше?

— Я опубликую эту книгу в Советском Союзе.

— Миллион копий?

— Нет. Только сорок три копии.

— Немного.

— Мы платим семнадцать тысяч долларов за каждую копию. Контракта мы не подписываем. 10% мы платим немедленно. Остальные сразу по получении рукописи, если, конечно, в ней освещены вопросы, интересующие наших читателей. Потом книгу можно опубликовать и по-английски. Если западному читателю что-то может быть неинтересно, это можно в американском издании опустить. Так что никакой передачи секретов нет. Есть только свобода печати, и ничего более. Люди пишут не только про подводные лодки, но и про кое-что пострашней, и их никто за это не судит.

— И всем им вы тоже платите?

— Некоторым.

Я оплатил счет и пошел спать в свой номер.

Глава четырнадцатая

1

Чувство глубокое и неповторимое: возвращаться в родные бетонные казематы после самостоятельной вербовки.

Неделя отсутствия замечена всей нашей ордой, всей сворой. Если добывающий офицер отсутствует три дня — ясно, в обеспечении работал. А если больше недели? Где был? Всем ясно, на вербовке.

И вот иду я по коридору. Вся наша шпионская братия расступается и при моем приближении умолкает. А я губы кусаю, чтобы не улыбнуться. Не положено мне улыбаться до командирского поздравления, неприлично.

А они тоже традиции уважают. Никто вопроса нескромного не задаст. Никто не улыбнется. Никто не поздравит. Не положено никого поздравлять до командирского поздравления. Никто, конечно, не знает, с чем меня поздравлять. Но каждый понимает, что есть такая причина. Каждый каким-то внутренним чувством понимает, что я триумфатор сейчас. И серый мой помятый костюм — это мантия пурпурная. И каждый сейчас на моей голове сияющий венец с бриллиантами видит.

Приятно думать, что нет ни в ком сейчас зависти, но — понимание, уважение, есть радость. И есть гордость и за меня, и за всех нас: вот идешь ты, Витька, по красному ковру прямо к генеральскому кабинету, и рады мы за тебя, и мы вот так же по этому ковру хаживали, а если нет, то обязательно вот так же гордо и сдержанно пойдем по нему.

Смотрит на меня шпионская братия, дорогу уступает. И как-то радостно всем и смешно, что вот вернулся я и не попался, и не скрутили меня, не повязали, не обложили, как медведя в берлоге, не гнали собаками, как раненого волка.

Дверь командирского кабинета передо мной открывается. Сам Навигатор меня на пороге встречает. Просто все. Посторонился, пропуская в дверь: заходи, Виктор Андреевич. Вроде ничего и не случилось, да только такое обращение совсем необычно. И оттого кто-то в глухой тишине так глубоко вздохнул, что командир в двери обернулся и засмеялся.

И за командиром все засмеялись этому простодушному вздоху.

Устав ГРУ категорически запрещает объявлять одним офицерам что-либо о работе других, будь то успехи или провалы. Навигаторы устав свято соблюдают. Понимают, что никто не должен знать больше, чем положено для выполнения своих функций. Но как же тогда поддерживать атмосферу жесткой конкуренции внутри тай-

ной организации? И потому выдумывают командиры: всяческие хитрости, чтобы устав обойти и продемонстрировать всей своре свое персональное расположение к одним и неудовольствие к другим. Находят командиры эти пути.

В моем случае — сразу вслед за мной по коридору продефилировал шестой шифровальщик в белых перчатках с серебряным запотевшим ведерком и бутылкой шампанского в нем.

Ведро со льдом да накрахмаленные салфетки братия дружным гулом одобрения встретила: лихо Батя устав обходит! А Витька Суворов, прохвост, звон на какие высоты взлетел. На форсаже вверх идет. Молодые борзяти о моем взлете с блеском в глазах говорят. Старые мудрые варяги головами качают. Они знают, что в жизни добывающего офицера успех — самое тяжелое время. Успеху предшествует дикое напряжение сил, нечеловеческая концентрация внимания на каждом слове, на каждом шаге, на каждом дыхании. Вербующий разведчик собирает в кулак всю свою волю, свой характер, все знания и наносит удар по своей жертве, и в этот момент величайшего напряжения и концентрации воли против объекта вербовки он еще и обязан следить за всем происходящим вокруг него.

Успех — это расслабление. Внезапная разрядка может кончиться катастрофой, срывом, истерикой, глубочайшей депрессией, преступлением, самоубийством. Мудрые варяги знают это.

И Навигатор знает. И оттого он и радостен, и строг. Навигатор мне на какие-то несуществующие мои промахи указывает: дабы не взорвался я от ликования. А как не ликовать? Он согласен. Он взял деньги. Он взял список вопросов, которые должны быть отражены в книге (в английском издании многие из этих деталей могут быть опущены). Получив 10%, он в наших лапах. 73 тысячи он растратит быстро, и ему захочется получить остальные. Опыт ГРУ говорит, что было множество людей, желавших получить 10% и ничего потом не делать. Но каждый из них, почувствовав вкус денег, за которые не надо много работать и не надо много рисковать, делал работу на совесть и получал остальное. Это правило без исключений.

2

Не знаю почему, но успех не радует меня. Правы, наверное, люди, которые говорят, что счастье можно испытывать, лишь карабкаясь к успеху. А как только успеха достигнешь, то уже не ощущаешь себя счастливым. Среди тех, кто добился успеха, мало счастливых людей. Среди оборванных, грязных, голодных бродяг гораздо больше счастливых, чем среди звезд экрана или министров. И самоубийства среди всемирно признанных писателей и поэтов случаются гораздо чаще, чем среди дворников и мусорщиков.

Мне плохо. Я не знаю, почему. Сейчас я готов на все. Почему, интересно, нас никто не вербует? Вот если бы сейчас подошел ко мне американский дипломат и сказал: "Эй ты, давай завербую!" Не вру, согласился бы. Он бы удивлялся, зная повадки ГРУ. Эх ты, дурак, сказал бы мой американский коллега, ты соображаешь, что тебя ждет в случае провала? Соображаю, радостно ответил бы я. Ну, вербуй меня, проклятый капиталист! Я на тебя без денег работать буду. Все, что американская разведка мне передавать будет, клади в свой карман! Я просто так хочу головой рисковать. Разве не упоительно по краю пропасти походить? Разве не интересно со смертью поиграть? Ведь находятся же идиоты, которые на мустангах скачут диких или перед бычьими рогами танцуют. Не ради денег. Удовольствия ради.

Ну, вербуйте меня, враги, я согласен!

Что же молчите?

Проверки, проверки, снова проверки. Совсем замучили проверки, надоели.

Завербованных нами друзей проверять легко. Всех их постоянно контролирует служба информации, конечно, не зная ни их имен, ни их биографий, ни занимаемых постов. Один и тот же вопрос можно освещать, находясь в тысячах километров от интересующего ГРУ объекта: планы германского генштаба освещались из Женевы, но и из Токио, но и из Никосии. И ни один источник не подозревает о существовании других и их возможностей. Если данные одного источника резко отличаются от других, то, значит, что-то неладно с этим источником. Но может быть и наоборот: что-то неладно со всеми другими источниками — они заглатывают дэзу, и лишь один глаголет истину. Во всяком случае, если с разных концов света поступает один и тот же аппарат, который, вдобавок ко всему, при копировании дает положительные результаты и разрешает проблемы армии, то можно пока не беспокоиться. Пусть даже друг перевербован. Пусть он двойник. Не беда. Давал бы материальчик. Если полиция думает так дорого платить только за то, чтобы поиграть с нами, пусть платит. Мы и такие подарки принимаем. А как только подарки окажутся негодного качества, с гнильцой, информация нам быстро об этом просигнализирует.

Но Аквариум не только друзей проверяет, но и нас. Проверяет часто, утомительно, придирчиво. Против нас другой метод придуман — провокация. За время учебы и работы много я таких штук от Аквариума получал. Все они беспокоят — как я реагировать буду. А я правильно всегда реагирую: немедленно обо всем, что со мной приключится, что с друзьями моими случается, все и точно своему командиру докладываю. Увидел в лесу своего друга — командиру доложи. С другом ничего не случилось, значит, он на опе-

рации в том лесу был, а может, он там просто находился, чтобы командир проверить мог: увижу ли я его, доложу ли вовремя. Меня все время проверить пытаются: кто для меня дороже — Аквариум или друг. Конечно, Аквариум! А попробуй не доложи! А если это только проверка? Вот и конец всему, вот ты уже и на конвейере.

Впрочем, последнее время мне доверять больше стали. Я теперь сам постоянно в проверках участвую. Вот и сейчас, темной ночью, бросив далеко машину, я шлепаю по лужам в темноте. Ногам холодно и мокро. Когда вернусь домой, обязательно в ванну залезу на целый час, попарюсь.

В кармане у меня пакет, в котором Библия. Книжечка маленькая совсём, на тоненькой бумаге отпечатана. Это их всякие религиозные общества так специально выпускают, чтобы их удобнее в Союз провозить можно было. Библию эту я в почтовый ящик брошу. Почтовый же ящик Вовке Фомичеву принадлежит — он капитан, помощник военного атташе — наш то есть парень, из Аквариума, недавно прибыл. Догадывается он или нет, но ему сейчас Аквариум серию гадостей подбрасывает. Вот я и иду к его дому.

Библию он завтра утром из своего почтового ящика достанет — их всякие религиозные общины и организации нам постоянно подбрасывают. Вряд ли он знать будет, что это мы на этот раз в его ящик пакет опускаем. Может, книжечка заинтересует его, может, он ее ради бизнеса сохранить попытается: в Союзе народ с ума походил, за такие книжечки уйму денег платит, не скупится. Завтра — выходной, на работу идти не надо. Вот мы и полюбуемся — прибежит он утром с докладом или до понедельника подождет, а может, и вообще не доложит: сохранит или тайно выбросит, чтоб лишних неприятностей не было. Но любой из этих вариантов, кроме первого, кроме немедленного рапорта, — для него конец означает. Конвейер то есть.

Холодно, мокро. Листья ветер по тротуару гонит. А как попадет листок в лужу, вот и все. Влип. Больше не летает. Его теперь мусорная метла подхватит. Заметет.

Никого на улице. Лишь я — одинокий шпион великой системы. Я своего собрата сейчас проверяю. Впрочем, трудно сказать, кто кого проверяет. Вовка Фомичев — мне друг. Мы с ним уже дважды на операции совместные выходили. Работает он мастерски и уверенно. Но, черт его знает, прибыл он недавно, а может быть, со спецзаданием. Может быть, с его помощью меня сейчас проверяют? То-то он ко мне в друзья мостится. Опыта желает набраться! Может быть, это меня вновь проверяют. Брошу я пакет в его ящик, а сам его по-дружески предупредить попытаюсь, чтоб бегом докладывать бежал. Тут мне и конец. Тут уж меня на конвейер поставят: друг тебе дороже доблестной советской военной разведки.

Дом Вовки Фомичева — большой, нарядный, в нем множество

дипломатов живет всяких наций и стран. Дом, конечно же, под контролем полиции, парадные двери во всяком случае. Может быть, и нет — но лучше предполагать, что да, и на основе такого предположения строить свои планы. Поэтому я не через парадный вход иду. Я темными задними дворами, мимо аккуратных мусорных ящиков — в подземный гараж. Ключи у нас есть от очень многих гаражей и подъездов домов, в которых обычно дипломаты живут. В любой отель Вены я тоже без труда пройду. У нас громадный шкаф с ключами. И где наши собратья из Аквариума ни пройдут, они везде копии ключей снимают. Главное установить точный порядок учета и хранения, чтоб вовремя нужный ключик найти. Сегодня у меня в кармане три ключа. Если надо, я к Вовке и в квартиру залезть могу. Откуда ему знать, что три года назад в этой квартире его неудачливый предшественник жил, который и сделал для ГРУ копии ключей? К сожалению, ни на что более героическое у него сил не хватило, и он был с позором эвакуирован и изгнан из Генерального штаба.

От мусорного ящика коты в разные стороны метнулись с воем душераздирающим. Это хорошая примета: значит, тут поблизости других людей нет.

3

Весь мир имеет выходные дни. Дни, когда никто на работу не ходит. Советские дипломаты по два таких дня в неделю имеют. Субботу и воскресенье.

Но ГРУ не имеет выходных дней. И КГБ тоже. Но вот представим себе картину, что в каждый выходной часть дипломатов в посольство не ходит. А другая, большая часть, — ходит. Всем сразу ясно, кто чистый дипломат, а кто не очень.

Чтобы этого не случилось, много всяких хитростей придумано, чтобы чистого дипломата в выходной день в посольство завлечь, чтобы его широкой дружеской улыбкой загородиться, чтобы активность резидентур скрыть. Посольство в выходной день — муравейник, и неспроста. В выходные, и только в выходные, почту из Союза выдают. Письма да газеты. Всем “Известия” нужны. Там курс валют печатается. Каждый вычислениями занят: сейчас менять валюту на сертификаты или подождать, пока курс валют скачет. Какова позиция советского Госбанка через неделю будет, одному только Богу известно, но никому другому, даже и председателю Госбанка.

А еще по выходным дням в посольствах советских по всему миру особые магазины работают с ценами удивительными; вся советская колония в магазин валом валит. А еще в воскресенье лекции читают. Все тоже валом валят. Но не потому, что лекции любят.

Там на лекциях всем крестики ставят: был, не был. Вообще-то никого не заставляют на лекции ходить, дело твое. Но если вдруг покажется кому-то, что Иван Никанорович, к примеру, апатию проявляет и политикой особенно не интересуется, то ему — эвакуация. Внезапно ночью ему в дверь позвонят: папаша ваш не в себе, проститься желает. И конвой Ивану Никаноровичу приставят. Хочешь проститься с родителем, не хочешь, а пошли к самолету.

А еще по воскресеньям в советских посольствах фильмы показывают. Новые и не очень новые. Тоже народ валом валит. Массовость посещения — признак высокой сознательности и нерасторжимой связи с социалистической родиной.

Много народа по выходным дням в посольстве. Машину поставить негде. Но я поставил. У меня на этот случай место особое зарезервировано.

Мы с Навигатором по парку гуляем. Парк огромный. Беседуем. Мы на ворота издали поглядываем. Тут же Петр Егорович Дунаец, вице-консул, да Николай Тарасович Мороз, первый секретарь посольства, прогуливаются. Нас они вроде не замечают. Но не зря они тут гуляют. Готовится эвакуация. Помощник советского военного атташе в Вене капитан ГРУ Владимир Дмитриевич Фомичев — ненадежен. Самолет уже вызван. В эвакуации участвует очень ограниченное число людей: Навигатор — это его решение, я — потому что в проверке участвовал и знаю о ненадежности Фомичева, полковники Дунаец и Мороз — заместитель и первый заместитель резидента.

Вот серый “форд“ Фомичева плавно проплыл через ворота. В кино помощник военного атташе приехал с супругой. Отчего же ты, Володя, утром не прибежал, высунув язык? Отчего ты Библию с собой не принес? Зачем ее спрятал? Ну зачем она тебе нужна? Бога нет, усвоить пора. Выдумки про Бога — гнусная антисоветская стряпня. Рай не после смерти. Рай на земле нужно строить. Если ты думаешь, что рай после смерти наступит, то этим самым самоустранишься от активного строительстварая на земле. Это бабкам неграмотным простят. Тебе — нет. На конвейер пойдешь. Из тебя правду сумсют вырвать. Зачем Библию прятал? Может, ты ее и не прятал совсем. Может, ты боялся неприятностей и поэтому взял и выбросил ее в мусорный ящик, думал, никто не узнает? А мы все знаем, об всем, что с тобой случается, ты обязан докладывать. Молчания тебе ГРУ не простит.

Заместитель командира медленно (гуляет!) побрел к воротам. Войти в посольство можно только одним путем, но и выйти можно только им. Путь этот уже отрезан для помощника военного атташе. У ворот охрана. Она ничего не знает. Охрана так ничего и не узнает, если помощник военного атташе не попытается бежать. А если попытается, то мышеловка захлопнется перед самым его носом. Ко-

мандир и Младший лидер к библиотеке бредут. Не спешат. Они тоже гуляют. Там возле библиотеки запасной вход в бункер.

Я немного еще тут подожду.

Вот Боря, третий шифровальщик, на парковку спешит. Боря в эту тайну не посвящен. Его задача подойти, поздороваться и сказать: “Владимир Дмитриевич, вам шифровка”.

Я издали наблюдаю.

Вот Боря около машины. Вот Фомичев выходит. Выражения лица не видно. Вот он что-то жене говорит. Вот он ее целует слегка. Вот она одна пошла к кинозалу. Эх, не знаешь ты, капитан, что тебя ждет! Преступник ты. Не доложил командиру, что буржуазный мир тебя совратить пытается, сбить с правильного пути. За это, капитан, тебя, конечно, не расстреляют, но в тюрьму посадят — за попытку обмануть резидента. А в тюрьме еще тебе срок добавят. Там таким, как ты, добавляют обязательно. Если ты когда-нибудь из тюрьмы выйдешь (у нас особая тюрьма есть), то жена с тобой вряд ли встретиться пожелает. Она бросит тебя. Я ее лицо видел однажды на дипломатическом приеме близко совсем. Бросит наверняка.

Пора и мне.

Стальная дверь. Коридор. Лестница вниз. Еще дверь. Это та дверь, что с черепом улыбающимся. Снова вниз. В бункер. В забой. Большой рабочий зал. Коридор. Малый рабочий зал. Еще коридор. Двери вправо и влево. Он сейчас в комнате Младшего лидера. Жму на звонок. Лицо Младшего лидера появляется из-за двери. Дверью он, как щитом, прикрывается. Что внутри кабинета — не разглядишь.

— Чего тебе?

— Помощь нужна?

— Да нет. Иди, Виктор Андреевич, кино смотри. Сами справимся.

— До свидания, Николай Тарасович.

— До свидания.

По коридору. По лестницам вверх. Малый рабочий зал...

— Витя! — Младший лидер за мной спешит.

— Слушаю вас.

— Витя, совсем забыл. Дождешься конца фильма. Встретишь его жену Валентину, скажешь, что муж ее на срочном задании на два дня. Пусть не волнуется. Секретное задание, скажешь. Сообразишь так, чтобы она не заподозрила. И домой ее отвезешь. А пока машину его с парковки убери. В подземный гараж спрячь, вот ключи. Все. До завтра.

— До свидания, Николай Тарасович.

Валя Фомичева — женщина особая. На таких оборачиваются.

таким вслед смотрят. Она небольшая совсем, стрижена, как мальчишка. Глаза огромные, чарующие. Улыбка чуть капризная. В уголках рта что-то блудливое витает. Но это только если присмотреться внимательно. Что-то в ней дьявольское есть, несомненно. Но не скажешь, что. Может быть, вся красота ее дьявольская. Зачем ты, Володя, себе такую жену выбрал? Красивая жена — чужая жена. Кто на нее в посольстве только не смотрит? Все смотрят. И в городе тоже. Особенно южные мужчины, французы да итальянцы, высокие, плотные, с легкой сединой. Им эта стройная фигурка покоя не дает. Едем в машине, останавливаемся на перекрестке, взгляды упрекающие меня сверлят: зачем тебе, плюгавый, такая красивая женщина?

А она вовсе и не моя. Я ее домой везу, ибо муж ее уже на конвейере, уже показания дает. Из него еще тут, в Вене, вырвут нужные признания. А потом он в Аквариум попадет, в огромное стеклянное здание на Хорошевском шоссе.

Валя, его жена, об этом пока не догадывается. Ушел в ночь, в обеспечение. Ее это не волнует, привыкла. Она мне о новых блестящих плащах рассказывает, вся Вена такие сейчас носит. Плащи золотом отливают, и вправду красивые. Ей такой плащ очень пойдет. Как Снежная королева, будешь ломать наш покой своим холодным надменным взглядом. Сколько власти в ее сжатых узких ладонях. Несомненно, она повелевает любим, кто встретится на ее пути. Если сжать ее, раздавишь, как хрустальную вазу. С такой женщиной можно провести только одну ночь, а после того бросать и уходить, пусть будет огорчена. В противном случае — закабалит, подчинит, согнет, поставит на колени, я знаю таких, в моей жизни была точно такая женщина. Тоже совсем маленькая и хрупкая. На нее тоже оборачивались. Я ушел от нее сам. Не ждал, когда прогонит, когда обманет, когда поставит на колени.

Глуп ты, капитан, что за такой пошел. Наверняка знаю, что она смеялась тебе в лицо, а ты, ревнивец, следил за ней из-за угла. А потом, повинувшись мимолетному капризу, она согласилась стать твоей женой. Ты и сейчас на конвейере только о ней думаешь. Тебе один вопрос покоя не дает: кто ее сейчас домой везет. Успокойся, капитан, это я, Витя Суворов. Не нужна она мне, обхожу таких стороной. Да и не в Вене этими вещами заниматься. Слишком строго мы друг друга судим, слишком пристально друг за другом следим.

— Суворов, ты почему никогда мне не улыбаешься?

— Разве я один?

— Да. Мне все улыбаются. Боишься меня?

— Нет.

— Боишься, Суворов. Но я заставлю тебя улыбаться.

— Угрожаешь?

— Обещаю.

Остаток пути мы молчим. Я знаю, что это не провокация ГРУ. Такие женщины только так и говорят. Да и не может сейчас ГРУ следить за мной. Операции ГРУ отточены и изящны. Операции ГРУ отличаются от операций любых других разведок простотой. ГРУ никогда не гоняется за двумя зайцами одновременно. И оттого ГРУ столь успешно.

— Надеюсь, Суворов, ты не бросишь меня возле дома. Я красивая женщина, меня на лестнице изнасиловать могут, отвечать ты будешь.

— В Вене этого не бывает.

— Все равно, я боюсь одна.

В этой жизни она ничего не боится, я знаю таких женщин: зверь в юбке.

В лифте мы одни, она смеется:

— Ты уверен, что Володя ночью не вернется?

— Он на задании.

— А ты не боишься меня одну ночью оставлять, меня украсть могут.

Лифт плавно остановился, я открываю перед ней дверь. Она квартирную ключом отпирает.

— Ты что сегодня ночью делаешь?

— Сплю.

— С кем же ты спишь, Суворов?

— Один.

— И я одна, — вздыхает она.

Она переступает порог и вдруг оборачивается ко мне. Глаза жгучие. Лицо чистенькой девочки-отличницы. Это самая коварная порода женщин. Ненавижу таких.

4

Эвакуация всегда производится только самолетом, быстро. И полицейский контроль только один раз.

Эвакуация всегда производится днем: ночью полиция более подозрительна, утром новая смена — свежие силы. Вечером самолеты в основном в дальние рейсы не уходят — поэтому эвакуация днем.

Расписания рейсов Аэрофлота в направлении Москвы из большинства стран составлены так, чтобы самолет уходил днем. Не везде это возможно, но где возможно, сделано именно так. Не каждым рейсом Аэрофлота людей эвакуируют. Но если потребуется, все предусмотрено заранее.

Бывший капитан ГРУ, бывший помощник военного атташе сидит на табуретке. Голова на груди. Он не связан. Он просто сидит. Но у него больше нет желания кричать и буянить. Он уже прошел

первую стадию конвейера. Он признался: да, была Библия в почтовом ящике. Нет, религией не интересовался. Да, проявил халатность. Да, бросил в мусорный ящик. Третий слева. Библия уже на столе лежит. Нашли ее. Доказательство! Библия в целлофановом пакете.

Пока я твою жену возил, из тебя, капитан, в это время первый слой показаний извлекли. Да, обманывал Навигатора и раньше. Посещал проститутку четыре раза. Нет, с западными разведками не связан. Вербовочных предложений от них не получал. Нет, секретных сведений им не передавал.

Эвакуация.

— Спирт.

Вместо медицинского спирта мы обычно джин “Гордон“ используем. Из командирского бара.

— Шприц.

Шприц одноразовый. Точно как в Спецназе. Но это не “Блаженная смерть“, это просто “Блаженство“.

Место укола надо тщательно протереть проспиртованной ваткой, чтобы не было заражения.

Аэропорт. Грохот двигателей. Блестящий пол. Сувениры. Много сувениров. Куклы в национальных нарядах. Зажигалки “Ронсон“. Контроль билетов. Багаж? Нет багажа. Краткосрочная командировка. Предъявите паспорта!

Наши паспорта зеленого цвета. “Именем Союза Советских Социалистических Республик, министр иностранных дел Союза ССР...“ Проходите.

Нас трое. Бывший капитан. Я. Вице-консул. Бывший капитан путешествует. Мы — провожающие лица. Якобы. На самом деле мы — прямое обеспечение. А вон там у киоска с бутылками — генеральный консул СССР. Общее обеспечение. Оградить! Предотвратить! Отмазать!

Теперь к самолету. “Дипломатическая почта“ — это про нас. Проходим.

Через поле — к самолету. Совсем недалеко, даже автобуса не надо. ТУ-134. Два трапа. Задний для всех. Передний — для особо важных персон и для дипломатической почты, для нас то есть. У трапа еще одна стюардесса. Чего зубы скалишь, радуешься? Но откуда ей, стюардессе, знать, что бывший капитан уже не особо важная персона? Откуда ей знать, что улыбается он просто потому, что его “Блаженством“ кольнули.

У трапа — дипломатические курьеры. Двое. Крупные. Они знают, что за груз у них сегодня. Они вооружены и не скрывают этого. Такова международная дипломатическая практика. Таковы

правила, установленные еще Венским конгрессом 1815 года... они помогают бывшему капитану подняться по трапу. У бывшего капитана почему-то ноги на ступени трапа не попадают. Танцуются ноги. Ну это ничего. Поможем. У двери два больших человека чуть развернули бывшего капитана боком: втроем в дверь не войдешь. Я вновь вижу их лица. Бывший советский военный дипломат улыбается тихой доброй улыбкой. Кому улыбается? Может быть, даже мне.

И я улыбаюсь ему.

Глава пятнадцатая

1

— Надевай, — приказывает Навигатор. Я надеваю на голову прозрачный шлем. Он делает то же самое. Теперь мы на космонавтов похожи. Наши шлемы соединены гибкими прозрачными трубами.

Подслушать то, что говорят в командирском кабинете, невозможно. Даже теоретически. Но если в дополнение ко всем системам защиты он приказывает еще воспользоваться и переговорным устройством, то, значит, речь пойдет о чем-то совсем интересном.

— Ты делаешь успехи. Не только в добычании. Недавно ты прошел серию проверок, организованных Аквариумом и мной лично. Ты не догадывался о проверках, но прошел их блестяще. Сейчас ты в доверии нулевой категории...

Если это правда, то ГРУ меня слегка переоценивает. За мной грешки числятся. Я не святой. А может быть, Навигатор мне всей правды не говорит. Не зря его Лукавым зовут.

— ГРУ доверяет тебе проведение операции чрезвычайной важности. В Вену в ближайшее время прибывает Друг. Он важен для нас. Насколько важен, можешь судить сам: им руководит генерал-полковник Мещеряков лично. Кто этот Друг, я не знаю и не имею права знать. А тебе и тем более этого знать не полагается. Понятно, что с таким человеком мы не встречаемся лично. Никогда. Он работает через систему тайников и сигналов. Однако ГРУ готово провести встречу с ним в любой момент. Мы должны быть уверены, что контакт может быть установлен в любых обстоятельствах, в любое время. Поэтому раз в несколько лет проводятся контрольные встречи. Он получает боевой вызов и идет на связь. Но мы в контакт не вступаем. Только смотрим издалека за ним. Его выход — это подтверждение ГРУ, что связь работает нормально. Кроме того, мы проверяем безопасность вокруг него. Сейчас будет проведена такая операция. Приказом начальника ГРУ контрольную операцию при-

казано проводить тебе. Для тебя будет снят номер в отеле. Проверяться будешь двое суток с мощным обеспечением. Исколесишь всю страну. Машину свою бросишь в Инсбруке. Исчезнешь. Растворишься. В Вене появишься, как призрак. Проведешь окончательную проверку. Войдешь в отель через ресторан. Незаметно вверх. Все будет подготовлено. У тебя будет "Минокс" с телеобъективом. Аппарат заряжен пленкой "Микрат 93 Шит". Пленка имеет два слоя: отвлекающий и боевой. На отвлекающем слое сделаны снимки австрийских военных аэродромов. Боевой слой ты будешь использовать для работы. Если тебя арестуют — попытайся пленку вырвать из камеры и засветить ее. Если это не удастся: они проявят ее. Они получают изображения аэродромов, но проявителем уничтожат боевой слой. Пусть они примут тебя за мелкого шпиона. Все понял?

— Да.

— Тогда слушай дальше. Друг в точно определенное время выйдет к витрине обувного магазина. Ты будешь находиться в ста метрах от него и на восемнадцать метров выше. Отснимешь на пленку появление Друга.

Я не знаю, кто это будет. Может быть, женщина, переодетая мужчиной. Может быть, мужчина, переодетый женщиной. Не смущайся, если одежда грязная, а волосы не расчесаны, так лучше для дела. В течение получаса до появления Друга фиксируй на пленку любое движение, которое тебе покажется подозрительным. Как узнать его? Он появится в точно определенное время в точно определенном месте. Свернутая газета в правой руке — опознавательный признак и одновременно сигнал благополучия. Та же газета в левой руке — сигнал опасности. Друг идет на встречу. Он не знает встретим мы его или нет. Но если он под контролем, он может предотвратить встречу. Этим он спасает нашего офицера и одновременно свою шкуру. Если он под контролем полиции, в его интересах сократить количество контактов с нами. Если через пять минут никто не вступит в контакт с ним, он уйдет и будет вновь выходить на связь, когда мы этого потребуем. Возможно, через десять лет и на другой стороне планеты. И возможно, вновь мы только проверим его, не вступая в контакт. Что неясно?

— Все ясно.

— Последнее. Время и место проведения операции я тебе сообщу внезапно, прямо перед самым началом. В оставшееся до операции время ты не имеешь права иметь никаких контактов с иностранцами. О любом вынужденном контакте докладывать мне лично. О деле не знает никто, даже первый шифровальщик. Телеграмма моим личным шифром была закрыта. В номере гостиницы с тобой не должен оказаться никакой другой фотоаппарат, кроме того, что я тебе дам перед операцией. Лишний фотоаппарат может стоить тебе

головы. Будь осторожен с “Миноксом”. Он заряжен в Аквариуме и опечатан. Печати почти не видно. Смотри не повреди ее. О том, как выглядит Друг, ты не имеешь права рассказывать никому, даже мне. Опечатанный “Минокс” дипломатической почтой уйдет в Аквариум, и там пленку проявят особым способом. Все понял?

— Все.

— Тогда повтори все с самого начала.

2

Номер отеля подобран со знанием дела. Моя комната угловая. Я могу обозреть сразу три тихие улочки. Вон там обувной магазин. На прилегающих улицах почти никакого движения. До появления Друга три часа десять минут.

Заботливая рука приготовила все, что может мне потребоваться: телеобъектив к “Миноксу” величиной с батарейку электрического фонарика, большой бинокль “Карл Цейс. Йена”, хронометр “Омега”, набор светофильтров, карта города, термос с горячим кофе. А “Минокс” я с собой принес.

Вот он в ладони. Маленький хромированный прямоугольник с кнопками и окошечками. “Миноксом” работают все разведки мира уже полвека. “Миноксом” работал Филби против британской разведки в интересах советской разведки. “Миноксом” работал полковник Пеньковский против советской разведки в интересах британской разведки. Вот он на моей ладони. Маленький аккуратный “Минокс”. Я присоединяю телеобъектив и пробую снимать. Я только примеряюсь. Для такого маленького аппарата сто метров — большая дистанция. Дрогнет рука — все смажется. “Минокс” не для того придуман. “Минокс” — снимать документы, разложенные на столе.

Время, лениво переваливаясь, нехотя плетется мимо. Крышка термоса, которая мне чашкой служит, дымит тонкой струйкой, как Везувий над Неаполем. Толстая женщина выходит из дома и идет по улице. Ничего интересного. Проехал почтальон на велосипеде. Опять все замерло. По улице черный “мерседес” проехал. На заднем сиденье утопает в подушках человек, одетый в белые простыни. Это представитель бедной страны поехал на совещание требовать денег от богатых стран. Дипломаты богатых стран тоже на совещание едут. Но у богатых машины поскромнее. Говорят, что в будущем разрыв между богатыми и бедными странами будет увеличиваться. Так специалисты говорят, им виднее. Большой разрыв будет означать, что дипломаты бедных стран только на “роллс-ройсах” ездить будут, а дипломаты богатых стран, наверное, на велосипедах пересядут для экономии.

Тоненькая стрелка маленького аккуратного хронометра утомительно идет круг за кругом. Опять толстая женщина прошла. Опять прошелестели шины огромного черного автомобиля с дымчатыми стеклами: беднейший опять за помощью едет. Я вновь “Цейсом” улицы щупаю. Не пропустить ничего. Запомнить номера. Запомнить лица. Их немного. Запомнить любое движение. Любое изменение. “Минокс” — на боевом взводе, как зенитный пулемет в танке. К бою всегда готов. Все подозрительное — на пленку. Кадры в “Миноксе” крошечные. Поэтому на короткой пленке их очень много умещается. А что это?

Что?? Всего я еще не осознал, меня просто переполнило сознание чего-то ужасного и непоправимого. На улице остановился красавец “ситроен”. Я его среди тысяч других узнаю — это “ситроен” Младшего лидера. Из машины выходит женщина, быстро наклоняется к Младшему лидеру и целует его. Именно этот момент снимает мой беленький аккуратный “Минокс”. Женщина садится в спортивный “фиат” и уезжает. А Младшего лидера давно нет на улице.

Я в кресле сижу. Я кусаю губы. Женщина, конечно, не жена Младшего лидера. Его жену я знаю. Женщина эта — не секретный агент. Навигатор знает время и место любой операции и сейчас в моем районе он наверняка запретил любые операции. Значит, ГРУ вновь проверяет меня. Они посадили меня в эту дурацкую комнату и разыграли комедию. Теперь они ждут, доложу я о проступке обожаемого мной человека или скрою это. Для того и аппарат дали, чтобы узнать, колебался ли я хоть мгновение или воспользовался им немедленно. А еще по снимку они увидят, дрожали у меня руки или нет.

Но губы я кусаю неспроста. Еще одна возможность остается. Тихая улочка по всем статьям для тайных встреч подходит. О том, что я на шестом этаже сижу за плотными шторами, мало кому известно. Ему могло быть это и неизвестно, если он в операцию лично не вовлечен. Младший лидер и любовница. Американка? Англичанка? Ясно, что иностранка. Советской женщине за рубежом машину иметь не полагается. Тем более спортивную. Зачем ей спортивная? Все машины советскому государству принадлежат, и ими пользуются только те, кто мощь государства бережет и умножает. Если все это не комедия и не проверка, то Младшему лидеру — конец. Амба. Капут. Кранты. Конвейер. Полный конвейер с очень неприятным финишем. Однако все это может быть проверкой. Мало ли как каждого из нас проверяли?

Именно так я и должен был действовать. Быстро и решительно. Мои пустые глаза смотрят на пустынную улицу. Никто не нарушает ее спокойствия. Только неприятная сутулая фигура с газетой в руке у витрины обувного магазина прозябает. Что ты там, человеке, интересного мог увидеть?

Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю в потолок. И вдруг я вскакиваю, опрокинув термос. Я хватаю "Минокс". Я судорожно жму на спуск. Это же ОН! Так его мать, это ДРУГ! Затвором щелк, щелк. И еще раз. Черт бы побрал всех друзей вместе с генерал-полковником Мещеряковым, вместе с Младшим лидером и его блядью. Время истекло. Друг нехотя бросает газету в урну и исчезает за углом.

Качество кадров может оказаться неудовлетворительным, и это выдаст мое душевное состояние. Это прольет свет на факт, что Младшего лидера я выдавать не хотел, что я колебался.

Я встаю. Отсоединяю телеобъектив. Термос, объектив, бинокль я укладываю в пакет и опускаю в урну. Кто-то после меня все это заберет. "Минокс" в левой руке зажат. Так удобнее вырывать из него пленку при аресте. Ах, если бы меня арестовали. А может, симулировать нападение полиции? Нет, это не пройдет. Генеральный консул в полицию позвонит и узнает, что никто на меня не напал. Тогда меня на конвейер поставят.

Я выхожу на улицу, и яркое солнце ослепляет меня. Нет. В этом радостном мире все не может быть так плохо. Это была обычная проверка. Обычная провокация ГРУ. И я не клюнул. В академии нам и не такие проверки устраивали. Похлеще. Жизнь самых близких нам людей на карте стояла. А потом выяснилось, что это просто комедии наши начальники разыгрывали. Многие этого не выдержали. Я выдержал. А минуты сомнений нам прощали. Мы все-таки тоже люди.

3

— Откуда Друг появился?

Я мгновение размышляю, соврать или нет.

— Я не видел, товарищ генерал.

— У тебя был хронометр? Разве Друг вышел не точно вовремя?

Я молчу.

— Тебя что-то сбило с толку? Что-то было подозрительным? Непонятным? Несообразным? Что-то смутило тебя?

— Ваш первый заместитель...

Нестерпимая тревога в глазах его.

— ...Ваш первый заместитель был на месте встречи за двенадцать минут до появления Друга... с женщиной.

Острые косточки на его кулаках белые-белые. И лицо белое. Он молчит. Он смотрит в стену сквозь меня. Потом он тихо и спокойно спрашивает:

— Ты его, конечно, не успел заснять...

Трудно понять, он спрашивает или утверждает. А может, угрожает.

— Успел...

В глаза я ему боюсь смотреть. Я под ноги себе смотрю. Время тоскливо тянется. Нехотя. Часы на его стенке тикают — тик, тик, тик.

— Что делать будем?

— Не знаю, — жму я плечами.

— Что делать будем? — бьет он по столу кулаком и тут же, брызгая слюной, шипит мне в лицо: — ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?!

— Эвакуацию готовить! — обзлившись, вдруг огрызаюсь я.

Мой крик успокаивает его. Он утихает. Он просто старик-горемыка, на которого свалилось тяжелое горе. Он сильный человек. Но система сильнее каждого из нас. Система сильнее всех нас. Система могущественна. Под ее неумолимый топор любой из нас попасть может. Он смотрит в пустоту.

— Знаешь, Витя, полковник Мороз в шестьдесят четвертом году меня от высшей меры отмазал. Я его после этого по всему свету вел за собой. Он вербовал женщин. Но каких женщин! Эх, жизнь. Любил он их. И они его любили. Я знал, что он налево ударяет. Я знал, что у него в каждом городе любовница. Я прощал ему. И знал я, что попадется он. Знал. Как ты в этой Австрии спрячешься? Ладно. Двоим мы эвакуацию сумеем провести?

— Сумеем.

— Шприц в шкафу возьми.

— Взял.

Он нажимает кнопку переговорного устройства:

— Первый шифровальщик.

— Я, товарищ генерал, — отвечает аппарат.

— Первого заместителя ко мне.

— Есть, — отвечает аппарат.

— Садись, — устало говорит Командир.

Сам он сидит за столом. Левая рука на столе. Правая в ящике стола. Так там и застыла. Я сзади кресла, на котором теперь Младший лидер сидит. Рука Навигатора в ящике стола уже все сказала Младшему лидеру. А мое присутствие сказало ему, что это я его как-то проверял и на чем-то застукал. Он тянется всем телом до хруста в костях. Затем спокойно заводит руки за спинку кресла. Он знает правила игры. Я щелкаю наручниками. Я осторожно поднимаю рукав его пиджака, расстегиваю золотую запонку и открываю его руку. Тонкую белую салфетку (для чистки оптики) я смачиваю джином из зеленой бутылки. Салфеткой я протираю кожу, куда сейчас войдет игла. Тонким штырьком я пробиваю мембрану шприц-тюбика, не касаясь пальцами иглы. Затем, подняв шприц на уровень глаз, нежно двумя пальцами жму на прозрачные стенки флакончика со светлой, мутноватой жидкостью. Иглу под кожу нужно вводить аккуратно, а содержимое тюбика выдавливать плав-

но. Затем, не разжимая пальцев (тюбик, как насос, может втянуть всю жидкость в себя снова), я извлекаю иглу и вновь растираю кожу салфеткой с джином.

Кивком головы Лукавый дает мне знак выйти. Я выхожу из кабинета и, закрывая дверь, слышу его лишенный всяких переживаний голос:

— Рассказывай...

4

Мне плохо.

Мне совсем плохо.

Со мной подобного никогда не случалось. Плохо себя чувствуют только слабые люди. Это они придумали себе тысячи болезней и предаются им, попусту теряя время. Это слабые люди придумали для себя головную боль, приступы слабости, обмороки, угрызения совести. Ничего этого нет. Все эти беды — только в воображении слабых. Я себя к сильным не отношу. Я — нормальный. А нормальный человек не имеет ни головных болей, ни сердечных приступов, ни нервных расстройств. Я никогда не болел, никогда не скулил и никогда не просил ничьей помощи.

Но сегодня мне плохо. Тоска невыносимая. Смертная тоска. Человека б зарезать!

Я сижу в маленькой пивной. В углу. Как волк затравленный. Скатерть, на которой лежат мои локти, клетчатая, красная с белым. Чистая скатерть. Кружка пивная большая. Точеная. Пиво по цвету коньяку сродни. Наверное, и вкуса несравненного. Но не чувствую я вкуса. На граненом боку пивной кружки два льва на задних лапках стоят, передними щит держат. Красивый щит, и львы красивые. Язычки розовые наружу. Я всяких кошек люблю: и леопардов, и пантер, и домашних котов, черных и сереньких. И тех львов, что на пивных кружках, я тоже люблю. Красивый зверь кот. Даже домашний. Чистый. Сильный. От собаки кот независимостью отличается. А сколько в котах гибкости! Отчего люди котам не поклоняются?

Люди в зале веселые. Они, наверное, все друг друга знают. Все друг другу улыбаются. Напротив меня четверо здоровенных мужиков: шляпы с перышками, штаны кожаные по колено на ляпочках. Мужики зело здоровы. Бороды рыжие. Кружкам пустым на их столе уже и места нет. Смеются. Чего зубы скалите? Так бы кружкой и запустил в смеющееся рыло. Хрен с ним, что четверо вас, что кулачища у вас, почти как у моего командира полка, — как пивные кружки, кулачища.

Может, броситься на них? Да пусть они меня тут и убьют. Пусть проломают мне череп табуреткой дубовой или австрийской кружкой резной. Так ведь не убьют же. Выкинут из зала и полицию

вызовут. А может, на полицейского броситься? Или Брежнев скоро в Вену приезжает с Картером наивным встречаться. Может, на Брежнева броситься? Тут уж точно убьют.

Только разве интересно умирать от руки полицейского или от рук тайных брежневских охранников? Другое дело, когда тебя убивают добрые и сильные люди, как эти напротив.

А они все смеются.

Никогда никому не завидовал. А тут вдруг зависть черная гадюкой подколодной в душу тихонько заползла. Ах, мне бы такие штаны по колено да шляпу с пером. А кружка с пивом у меня уже есть. Что еще человеку для полного счастья надо?

А они хохочут, закатываются. Один закашлялся, а хохот его так и душит. Другой встает, кружка полная в руке, пена через край. Тоже хохочет. А я ему в глаза смотрю. Что в моих глазах — не знаю, только, встретившись взглядом со мной, здоровенный австрияк, всей компании голова, смолк сразу, улыбку погасил. Мне тоже в глаза смотрит. Пристально и внимательно. Глаза у него ясные. Чистые глаза. Смотрит на меня. Губы сжал. Голову набок наклонил.

То ли от моего взгляда холодом смертельным веяло, то ли сообразил он, что я хороню себя сейчас. Что он про меня думал, не знаю. Но, встретившись взглядом со мной, этот матерый мужичище потускнел как-то. Хохочут все вокруг него. Хмель в счастливых головах играет, а он угрюмый сидит, в пол смотрит. Мне его даже жалко стало. Зачем я человеку своим взглядом весь вечер испортил?

Долго ли, коротко ли, встали они, к выходу идут. Тот, который самый большой, последним. У самой двери останавливается, исподлобья на меня смотрит, а потом вдруг всей тушей своей гигантской к моему столу двинулся. Грозный, как разгневанный танк. Челюсть моя так и заныла в предчувствии зубодробительного удара. Страха во мне никакого. Бей, австрияк, вечер я тебе крепко испортил. У нас за это неизменно по морде бьют. Традиция такая. Подходит. Весь свет мне исполинским своим животом загородил. Бей, австрияк! Я сопротивляться не буду. Бей, не милуй! Рука его тяжелая, пудовая на мое плечо левое легла и слегка сжала его. Сильная рука, но теплая, добрая, совсем не свинцовая. И по той руке вроде как человеческое участие потекло. Своей правой рукой стиснул я руку его. Сжал благодарно. В глаза ему не смотрю. Не знаю почему. Я голову над столом своим склонил. А он к выходу пошел, неуклюжий, не оборачиваясь. Чужой человек. Другой планеты существо. А ведь тоже человек. Добрый, добрее меня. Стократ добрее.

Что происходит со мной? Что за перемены? Что за скачки? Лучше мне. От пива, наверное. А может, от широкой мозолистой

лапы, что меня по плечу потрепала, на краю пропасти удержала. Однако что же со мной было? Отчего свет белый для меня померк? Может, это было то, что слабые люди угрызениями совести называют? Нет, конечно. Нет во мне совести, не мучает она меня. И чего мучить? С какой стати? Младшего лидера я предал? Хороший он человек. Но не я его, так он бы меня на конвейер поставил. Работа у нас такая. Выдав Младшего лидера, я ГРУ от всяких случайностей оградил. За такие вещи в Центральном Комитете Кир спасибо говорит. Увезут Младшего лидера, нового пришлют. Стоит ли из-за этого расстраиваться? Если бы каждый волю своим чувствам давал, система давно бы рухнула. А так она стоит и крепнет. И сильна она тем, что избавляется немедленно от любого расслабившегося. От любого, кто своим чувствам волю дает.

Однако расслабился ли я? Несомненно. А видел ли кто меня? Возможно. Можно ли было со стороны мои переживания увидеть?

Конечно. Если поза горемыки, если руки плетями, если взгляд потух, это могли обнаружить. Если австрияк понял, что плохо мне, то опытный разведчик, который мог следить за мной, и подавно понял. После эвакуации Младшего лидера Навигатор вполне мог за мной слежку поставить: как сорок первый себя ведет? Не расслабился ли?

Что-то случилось со мной, и на несколько часов я потерял контроль над собой. Если Навигатор об этом узнает, то ночью меня ждет эвакуация. Очередной самолет будет только через три дня. Эти дни я в фотолаборатории в темноте проведу. Но сегодня ночью меня обязательно в эту темноту уволочут. Даже обыкновенный самолет, у которого иногда приборы управления отключаются, к полетам не допускают. А разведчика и подавно. Разведчик, теряющий контроль над собой, опасен. Его убирают немедленно. Из пивной я к своей машине бреду. Если хочешь обнаружить слежку — побольше равнодушия. Почаще под ноги смотри. Успокой следящих. Тогда их и увидишь. Ибо, успокоившись, они ошибаются. Уже много лет я, как летчик-истребитель, все в заднее стекло машины смотрю. Назад смотрю больше, чем вперед. Профессия такая. Но не сейчас. Сейчас я даю возможность тем, кто, возможно, следит за мной, успокоиться и потерять бдительность. Машина моя идет ровно. Никаких фокусов. Никаких попыток уйти в переулки.

По берегу Дуная, через мост, опять вдоль берега. Я не спешу, не делаю рывков, не стараюсь уйти куда-нибудь к железнодорожному полотну. (Хорошо проверяться у железнодорожного полотна.) Я обхожу центр города. Я иду по широким улицам в потоке машин. Хорош для тех, кто следит. И совершенно плохо для того, кто под слежкой. От Шведен-плац я иду в направлении Асперн-плац. Но

вот резко ухожу в первый переулок налево к Хауптпост и вновь резко вправо. Тут меня светофор остановит. Это я знаю. А знает ли про этот светофор тот, кто следит за мной?

Если кто-то следит, то он должен выскочить следом или потерять меня. А обойти меня тут невозможно по параллельным улицам. Тут я все знаю. Я все тротуары тут истоптал.

Я под светофором. Один. Улочка узкая да извилистая. А ну-ка, кто из-за поворота выскочит? Еще секунда, и будет зеленый свет. Из-за поворота вылетает серый побитый “форд”. Тормозами скрипит, молод водитель. Не знал, что светофор за углом. Не думал, что я под светофором стоять могу, его поджидая. А я уже плавно трогаясь. Зеленый свет. Его лицо очкастое я одним взглядом накрываю — в автомобильное зеркальце. Да, брат. Знаю я твою очкастую рожу. Номер на твоей машине не дипломатический. Но ты — советский дипломат. Я тебя видел в делегации по сокращению вооружений в Европе. Не думал, что ты из нашей своры. Я думал, что ты чистый. Но зачем чистому дипломату в рабочее время по городу шнырять? Зачем из-за поворота на бешеной скорости выскакивать, штрафуют же!

Теперь я не спешу. Лицо свое я равнодушием умыл. Не замечаю ничего, не реагирую ни на что. “Форд” больше не появляется. А может, и появлялся, да я не пытаюсь его обнаружить вновь. Для меня и одного раза достаточно. Мне ясно, за мной следят. Ни капли сомнения в этом.

Водитель “форда” сейчас мучается, наверное: увидел я его или нет, узнал ли? Он, конечно, успокаивает себя, что рассеянный я, что совсем назад не смотрю, что не мог я его заметить.

Интересно, сколько за мной машин Лукавый поставил следить? Ясно, что не одну. Если бы только одна машина в слежке была, то в машине по меньшей мере два человека сидели. Если один человек в машине, значит, машин несколько. Это каждому ясно. Слежка может завершиться только эвакуацией.

И нужно понять командование ГРУ. Если человек теряет контроль над собой после пустякового происшествия, значит, он и в будущем может потерять контроль над собой. В самый ответственный момент. А может, он в прошлом уже терял над собой контроль? Может, враждебные организации воспользовались этим?

Заберут меня сегодня ночью. И если бы я был на месте Навигатора, то поступил бы точно так же: во-первых, немедленно после случившегося поставил слежку, во-вторых, убедившись в неблагоприятии, — отдал приказ об эвакуации.

Я не еду в посольство. Посольство — это наручники и укол. Я еду домой. Мне нужно подготовиться к неизбежному. И встретить удар судьбы с достоинством.

Дверь своей квартиры я запер изнутри, а окно чуть приоткрыл. Если мне не хватит мужества встретить их лицом к лицу, я прыгну в окно. Ниже меня — семь этажей. Хватит вполне. Путь через окно — это легкий путь, но и его я обдумываю. Это путь для малодушных. Для тех, кто боится конвейера. Если в последний момент я испугаюсь, то воспользуюсь этим путем. Недавно гордый варяг из ГРУ ушел от конвейера именно так — прямо в центре Парижа бросился из окна на камни. Другой варяг ГРУ, из Лондона, работал в очень важном обеспечении в Швейцарии. Ошибся. На конвейер не захотел. Вскрыл вены. А вот борзой, майор Анатолий Филатов, конвейера не побоялся.

И я не побоюсь.

А вообще-то, черт его знает. Хорошо зарекаюсь сейчас. И все же я не пойду через окно. Я встаю и решительно его закрываю. Это не для меня. На конвейер я не пойду и через окно тоже. Когда постучат, я открою дверь и вцеплюсь кому-то в глотку зубами.

Глянул я на часы. Похолодел. Уже за полночь! Тактику Аквариума я знаю. Эвакуация обычно начинается в 4.00. Аквариум свои удары на рассвете наносит. Самое время сонное. Могут, конечно, и раньше начать, а для этого расстановку людей они должны начать еще раньше. Так что я уже, наверное, опоздал. Вполне возможно, что двое уже ждут своего часа на лестничной площадке этажом выше. Еще пара где-то у выхода. Кто-то, конечно, и в гараже. Основная группа ждет где-то рядом.

Сейчас у меня только одна возможность — осторожно выйти из квартиры, спуститься на два-три этажа вниз и только тут вызывать лифт, а лифтом прямо в подземный гараж, а из гаража выезжать не через выходные ворота, а через входные, если, конечно, их удастся открыть изнутри...

Замок я открыл неслышно.

Тихо жму на ручку двери, главное, чтоб не скрипнула. Я вздыхаю глубоко и тяну дверь на себя. Полоса света из коридора на полу моей комнаты становится все шире. Затаив дыхание, я потянул ее сильнее, а она заскрипела тихо, тоскливо и протяжно.

Моя машина на солидном расстоянии от дома. Моя машина в тени, в гуще других машин на большой стоянке. Но свой дом я вижу отчетливо. Пока ничего подозрительного вокруг не происходит. Все спит. Все спят.

Вдруг в 3.40 во всех окнах моей квартиры вспыхнул свет. Что ж, это именно то, что я предвидел.

Я в лесу. Холодный серый рассвет. Ключья тумана. Ледяная роса. Я еще никуда не бегу. Я тут только для того, чтобы подумать. Я

не люблю, когда мои мысли прерывают внезапным настойчивым стуком или звонком в дверь.

Прежде всего мне предстоит выбор: вернуться, сдаться, добровольно пойти на конвейер или... В самый последний момент, оказавшись один на один с системой, миллионы людей такой вопрос себе задавали. Мне совсем неинтересно, что подумают обо мне другие сейчас и позже. Посторонние меня все равно осудят, как осудили миллионы моих предшественников. В самом деле, если люди шли под коммунистический топор, не протестуя, то их сейчас осуждают: рабские души, не способные протестовать, туда вам и дорога. Но если люди не шли добровольно на убой, они должны были или убежать, или драться. Этим тоже осуждают: изменники, предатели, пособники врага! Если я добровольно сдамся — дурак, холуй, раб. Если не сдамся — предатель.

Считайте меня, братцы, преступником, холуем не считайте. Но и преступником меня считайте не очень большим. Все, кто окружал Ленина, оказались изменниками, предателями и шпионами иностранных разведок, включая Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина и прочих. Кто же тогда Ленин? Ленин — главарь шайки изменников, шпионов и террористов. Как же назвать всех тех, кто верой и правдой Ленину служил? Кто ему сейчас поклоняется? Со Сталиным то же самое получилось. И он был окружен врагами, шпионами, развратниками, антипартийцами. И сам оказался уркой. Как же назвать всех, кто выполнял приказы этого урки? Рано или поздно все наши лидеры войдут в число предателей, волюнтаристов, проходимцев, болтунов и развратников. Убежать от них — конечно, преступление. А оставаться и выполнять их приказы?

Холодно в лесу, зябко. Не привык я долго думать. И философия — не моя область. Но на один вопрос я обязан ответить сам себе: бегу я потому, что ненавижу систему, или потому, что система наступила мне на хвост? На этот вопрос я даю самому себе совершенно четкий ответ: я ненавижу систему давно, я всегда был против нее, я готов был рисковать своей головой ради того, чтобы заменить существующую систему, чем угодно, даже военной диктатурой. Но. Если бы система мне на хвост не наступила, я бы не убежал. Я бы продолжал ей служить верой и правдой и достиг бы больших результатов. Не знаю, начал бы я протестовать позже или нет, но в данный момент я просто спасаю свою шкуру.

Ответ на главный вопрос получился четким и для меня неутешительным. Надо было, Витя, раньше начинать! Надо было бежать при первой возможности. А еще лучше, встретить западную разведку и передавать ей материалы об Аквариуме, как делали Пеньковский, Константинов, Филатов. Не очень хорошо, Витя, получилось. Можно ли ситуацию исправить? Нет. Поздно. А может быть, и не

поздно. Если мне удастся вырваться из Аквариума, я буду жить тихо, не рыпаясь, или я могу... Что же я могу?

Я сижу неподвижно несколько минут, а затем формулирую сам для себя вывод: я предатель и изменник. Я заслуживаю высшей меры за то, что самовольно покидаю систему. Я заслуживаю той же высшей меры за то, что не боролся против нее. Сейчас я спасаю свою шкуру, но, если я вырвусь из этого переплета, я начинаю борьбу против нее, рискуя спасенной шкурой. Если мне удастся бежать, я не буду сидеть молча.

Я буду упорно работать. По многу часов в день. Если мне не удастся сделать что-либо серьезное, я хотя бы напишу несколько книг. По 15 часов в день буду писать. По одной книге в год. Но это второстепенное. Кроме этого, я попытаюсь нанести им настоящий серьезный урон. Я знаю — как. Они меня учили — как. Я буду смелым. Я буду рисковать. И шкурой своей я не очень дорожу.

Остается последний вопрос: куда бежать? Вопрос легкий — в Британию. Британия выгнала однажды 105 советских дипломатов. Резидентуры КГБ и ГРУ в полном составе. На такое никто, кроме Британии, не отважился. Раз они свои интересы могут защищать, может, они и мои смогут защитить. 105! Статистика в пользу Британии.

Теперь нужно решить, как связаться с правительством Великобритании. Путь один — через представителей этого правительства. Чем меньше бюрократических ступеней, тем решение будет принято быстрее. Но к послу меня не пустят. Итак, я иду к любому высокопоставленному английскому дипломату. У британского, американского, французского посольств меня наверняка ждут ребята из Аквариума. Значит, надо идти в частный дом. Лукавый, конечно, и это предусмотрел, но контролировать подходы к домам всех западных дипломатов высокого ранга он не сможет. Кроме того, я пойду пешком, спрятав машину в лесу.

7

Дом у английского дипломата большой, белый, с колоннами. Дорожки мелкими камешками усыпаны. Сад роскошный. Я не брит. Я в черной кожаной куртке. Я без машины. Я совсем не похож на дипломата. А вообще-то я уже и не дипломат. Я больше не представляю своей страны. Наоборот, моя страна сейчас ищет меня везде, где только возможно.

В доме английского дипломата все не так, как в обычных домах. У него звонка нет. Вместо звонка на двери — блестящая бронзовая лисья мордочка. Этой мордочкой нужно об дверь стучать. Мне очень важно, чтобы появился хозяин, а не кто-то из его слуг. Мне везет. Сегодня суббота, он не на работе, и слуг его в доме тоже нет.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Я протягиваю свой дипломатический паспорт. Он полистал его и вернул мне. Заходите.

— У меня послание к правительству Ее Величества.

— В посольство, пожалуйста.

— Я не могу в посольство. Я передаю это письмо через вас.

— Я его не принимаю, — он встал и открыл дверь передо мной. — Я не шпион, и в эти шпионские трюки меня, пожалуйста, не ввязывайте.

— Это не шпионаж... больше. Это письмо правительству Ее Величества. Вы можете его принять или нет, но сейчас я буду звонить в британское посольство и скажу, что письмо правительству находится у вас... Я оставлю его тут, а вы делаете с ним, что хотите.

Он смотрит на меня взглядом, в котором нет ничего для меня хорошего.

— Давайте ваше письмо.

— Дайте мне конверт, пожалуйста.

— У вас даже нет конверта, — возмущается он.

— К сожалению...

Он кладет передо мной пачку бумаги, конверты, ручку. Бумагу я отодвигаю в сторону, из кармана достаю пачку карточек с названиями и адресами кафе и ресторанов. Каждый шпион всегда имеет в запасе десятка два таких карточек. Чтобы не объяснять новому другу место встречи, проще дать ему карточку: я приглашаю вас сюда.

Я быстро просматриваю все. Выбираю одну. И несколько секунд думаю над тем, что же мне писать. Потом беру ручку и пишу три буквы: ГРУ. Карточку вкладываю в конверт. Конверт заклеиваю. Пишу адресата — “Правительству Ее Величества”. На конверте ставлю свою персональную печать “173-В-41”.

— Это все?

— Все. До свидания.

Я снова в лесу. Вот моя машина. Я гоню ее дальше и дальше. Теперь встреча с местной полицией тоже может быть опасной. Советское посольство могло сообщить в полицию, что один советский дипломат сошел с ума и носится по стране. Могут сообщить в Интерпол, что я украл миллион и убежал. Могут заявить протест правительству и сказать, что власти Австрии меня захватили силой и что меня нужно немедленно вернуть — иначе... Они умеют делать громкие заявления. Теперь мне нужна телефонная связь с британским посольством. Я должен объяснить ситуацию, пока какой-нибудь деревенский полицейский пост не остановил меня и не вызвал советского консула. Тогда будет поздно объяснять что-нибудь. Тогда

после первой встречи с консулом у меня вдруг пойдет обильная слюна, я начну смеяться или плакать, и за мной пришлют специальный самолет. Пока слюна еще не пошла, я буду пытаться... Укромные телефоны у меня на примете есть.

— Алло, британское посольство, я направил послание... Я знаю, что меня не соединят с послом, но мне нужен кто-то ответственный... Мне не надо его имя, вы сами там решаете... Я направил послание...

Наконец они кого-то нашли.

— Слушаю... кто говорит?

— Я направил послание. Тот, с кем я его направил, знает мое имя...

— Правда?

— Да. Спросите его.

Трубка молчит некоторое время. Потом оживает.

— Вы представляете свою страну?

— Нет. Я представляю только себя.

Трубка снова молчит.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы сейчас вскрыли пакет и послание передали британскому правительству.

Трубка молчит. В трубке какое-то сопение.

— Я не могу вскрыть конверт, так как он адресован не мне, а правительству...

— Пожалуйста, вскройте пакет. Это я его подписывал. Я так подписал, чтобы его содержание не стало известно многим. Но вам я даю право его вскрыть...

Далеко в телефонных глубинах какое-то шептание.

— Это очень странное послание. Тут какой-то ресторан...

— Да не это... Посмотрите на обороте...

— Но и тут странное послание. Тут только какие-то буквы.

— Вот их и передайте...

— Вы с ума сошли. Послание из трех букв не может быть важным.

— Это будет решать правительство Ее Величества: важное послание или нет...

Трубка молчит. Какое-то потрескивание, не то шипение... Потом она оживает:

— Я нашел компромисс. Я не буду посылать радиосообщение, я перешлю ваше сообщение дипломатической почтой! — в его голосе радость школьника, который решил трудную задачу.

— Черт побери вас с вашими британскими компромиссами. Сообщение может быть важное или нет, не мне решать, но оно срочное. Через час, а может быть, и раньше будет уже слишком поздно. Но знайте, что я настойчивый, и если начал дело, то его не

брошу. Я буду вам звонить еще. Через пятнадцать минут. Пожалуйста, покажите послу мое послание.

— Посла сегодня нет.

— Тогда покажите его кому угодно. Своей секретарше, к примеру. Может, она газеты читает. Может, она подскажет вам решение...

Я бросаю трубку.

Я меняю место. Я обхожу деревни. Я обхожу людей. Во мне звучит жутким ритмом страшная песня "Охота на волков". Совсем недавно я чувствовал себя затравленным зверем, но силы вернулись ко мне. Мертвой хваткой я вцепился в рулевое колесо, как летчик-смертник в штурвал своего самолета. Живым они меня не возьмут. Ах, расшибу любого, кто поперек пути встанет. А на крайний случай у меня отвертка огромная в запасе. Эх, кому-то я ее в горло всажу по самую рукоятку. Жизнь продаю! Подходи, налетай! Но дорого уступлю!

Звоню в британское посольство. Попытка вторая и последняя. Я редко кого дважды просил. А трижды никогда. И никогда впредь. Впрочем, немного мне осталось...

Я обещал позвонить через пятнадцать минут. Но вышло только через сорок три: у намеченного мной телефона людно было.

— Британское посольство?

— Да, — но изменилось решительно все. Короткий ответ звучит резко и четко, как военная команда. Знакомый мужской голос: — У вас все хорошо? Мы волновались. Вы так долго не звонили...

— Мое послание...

— Мы передали ваше послание в Лондон. Это очень важное сообщение. Мы уже получили ответ. Вас ждут. Вы готовы?

— Да.

— Адрес на карточке — это место, где вас надо встретить?

— Да.

— На карточке не указано время. Это означает, что вас надо встретить как можно быстрее?

— Да.

— Мы так и думали. Наши официальные представители уже там.

— Спасибо, — это слово я почему-то произнес по-русски. Не знаю, понял ли он меня.

ТАТЬЯНА БЕК

* * *

Я не желаю тесниться в единой обойме
С тем, кто ловит улыбку любого тиранства...
Только с годами открылось мне в полном объеме
Чернорабочего пира простое пространство.

По малолетству мне нравились быстрые игры —
Салочки, прятки ли, жмурки, лапта и горелки.
...Лес отворялся: дразнили и ранили иглы;
Звезды сверкали; линяли и прыгали белки!..

Это не правда, что люди стареют с годами —
Просто линяют, чтоб слиться с нахлынувшим снего
(Вот: полюбили загадки — и не отгадали!
Лес затворился, и стало дитя человеком.)

Нынешним вечером, больше работать не в силах,
В доме пустынном поставлю пластинку такую,
Чтобы оплакала всех непутевых и сирых,
Чтобы сказала, как я без ушедших тоскую,

Чтобы болезных моих навестила в палате,
Чтобы привадила жалость и выгнала злобу...
Чтобы напомнила первое детское платье
И предсказала последнюю смертную робу!

...Ну, а куда линяют и прыгают белки, —
Надо поехать в Саратов, на родину папы,
И отказаться от замыслов, ежели мелки,
И уколоться опять о словые лапы.

Я повторяю, что я понутру одиночка
И не желаю двора твоего, властолюбца...
Это не пишется: каждая новая строчка
Ветром глухим с перегона доносится,

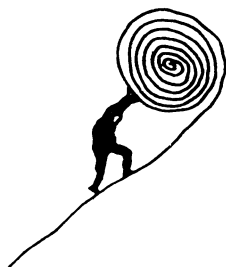
с улиц.



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

КНИГА СТИХОВ

МОЯ НЕСТЕРПИМАЯ БЫЛЬ



“...МОЯ НЕСТЕРПИМАЯ БЫЛЬ”

Юрия Домбровского арестовывали четырежды*; география его ссылок от Алма-Аты до Колымы и Тайшетского Озерлага, который он сам определял просто: “страшный”.

Нормальная, обывденная жизнь была изуродована — она постоянно прерывалась, вычеркивалась, и эти зияния, этот неукоснительно наступающий пунктир не могли не сказаться на формировании писательской судьбы Домбровского. Они придали ей яростную, непреклонную нравственную непримиримость, негибкое желание сказать свое, несмотря ни на что. Тут уместно — безо всяких скидок — лютеровское: “Стою на том и не могу иначе...” Всем внутренним строем своих книг Домбровский говорил с читателем, и современным и будущим, о том, чему сам так хорошо и горько знал цену. Говорил в ту пору, когда за подобные мысли и речи еще не поощряли, не поднимали на щит “духовного вождя”, не делали депутатом, а просто... сажали снова. Он писал об истинном и высоком, самоценном человеческом достоинстве, которое всегда борется (обязано бороться!) с тем, что гнет его и корежит, о несовместимости “гения и злодейства”, Божьего дара и холопства, о верности себе и своему творческому, общественному предназначению.

Пафос его был глубинен; он — внутри этих книг, ибо интонационно они ровны и слержанны. В них много от ученого, от исследователя — хранителя и толмача “древностей”. “Глагол времен”, помянутый Державиным и почти неразличимый для многих в толще всков, был внятен для Домбровского. В прозе его явствен постоянный, пронесенный через всю жизнь интерес к истории и то умноженное на личный, выстраданный опыт ее понимание, когда автор прекрасно отдает себе отчет в том, что минувшее всегда переходит и вырастает в последующее, повторяясь и предостерегая... Потому, например, выдержка из любимого Домбровским Тацита — он постоянно был на его рабочем столе — выдержка, часто вспоминаемая им и приводимая, звучит нынче как прямая издательская аннотация к “Факультету ненужных вещей”. Это слова о том, что гибель

* 1932 год — Алма-Ата (три года ссылки).

1937 год — Алма-Ата (семь месяцев в следственном изоляторе).

1939—1943 годы — Колыма.

1949—1955 годы — Тайшетский Озерлаг.

государства начинается с краха его законов, правосудия, что с человеческом, лишенным их защиты, можно сделать все что угодно...

Эрудиция Домбровского была велика, она — истинная щедрость богатого! — обильно рассыпана в его книгах, от “Державина” и до “Факультета”, и оттого они, мудрые, горько-ироничные, изящно-сдержанные, могли бы ассоциироваться с какой-нибудь старинной, покойной библиотекой, притененными, зашторенными окнами, золотом корешков, кожей древних фолиантов... Но под неторопливо-мерным голосом исследователя рдел негаснущий уголь страсти, любви и ненависти, и кажущееся, обманчивое спокойствие голоса этой прозы — точно высший нагрев металла в кузнечном горне, когда синее железо постепенно делается красным, потом вишнево-багровым, соломенно-желтым и, наконец, — ослепительно белым, пышущим жаром предельного накала. Такой пламень всю библиотеку шутя сожжет — какие уж тут зашторенные окна и древние фолианты!

Так обстоит дело с прозой Юрия Домбровского... Стихи же (а лагерные особенно!) поражают — и в прямом и в переносном смысле — огнем самым что ни на есть подлинным и беспощадным, бегущим от строки к строке, от строфы к строфе, точно по бикфордскому шнуру. Это огонь всё помнящей, ничего не прощающей памяти, справедливой и неумолимой ненависти, мщениия, если угодно.

Домбровскому было за что и с кем расквитываться... Он, похоже, помнил своих мучителей, всех этих следователей, доносчиков, “вертухаев” в лицо и — не мог, не хотел забыть.

В те, ныне столь часто вспоминаемые поры, это было святым, выстраданным правом всех, кто прошел круги лагерного ада, и Домбровский, надо сказать, воспользовался им полностью. В стихах, пожалуй, особенно...

Подробно, с размышлениями, “анализом” говорить о них, предваряя саму публикацию стихов, — дело пустое и зряшное. По тому — только общее впечатление, несколько слов.

Первое, что остается при чтении прочной зарубкой, — это подлинность... Абсолютное отсутствие литературщины, игры в слово, когда автор старательно интригует себя самого и читателя.

Конечно же, сама “тема”, события и ситуации, как бы априорно исключают какую-либо имитацию и позу... Речь — о муках, о выстраданном. Но и с учетом этого важнейшего обстоятельства лагерный стих Домбровского имеет в потоке подобной литературы

(а се нынче публикуется немало) свое лицо, свою статью и стиль самовыражения.

Это все тот же образованнейший, неразрывно выросший в культурную историю человечества Домбровский, которому здесь, в строчках и строфах, словно не до культуры... Она вымерзла в колымских и тайшетских снегах и карцерах, ушла в глубь души, затаилась камешком, выставив яростную защиту — свое нападение, свое обвинение.

Видно бо й ца — человека несмирившегося и несломленного... Он и впрямь был таким, и не случайно Чабуа Амирэджиби, знавший Домбровского со времен Тайшетского Озерлага, где они вместе пребывали, аттестовал мне его так: “Он был похож на летящую стрелу и никогда не менял направления своего полета”.

Подтверждение такой характеристики — все (!), написанное Домбровским... Лагерные стихи — в том числе.

В них биография духа, гордого, сражающегося и упрямо верного себе... Духа, который твердо знал собственную цену и спокойно, непоколебимо верил, что дождется своего времени, дня и часа.

*Пока это жизнь, и считается
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.*

*С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу.
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.*

*Но старясь и телом и чувством
И весь разлетаясь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль.*

Домбровский не ошибся.

Игорь Штокман.

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ

Везли, везли и завезли
На самый, самый край земли.
Тут ночь тиха, тут степь глуха,
Тут ни людей, ни петуха,
Тут дни проходят без вестей:
Один пустой, другой пустей,
А третий — словно черный пруд,
В котором жабы не живут.

Однажды друга принесло,
И стали вспоминать тогда мы
Все приключенья в этой яме
И что когда произошло.
Когда бежал с работы Войтов,
Когда пристрелен был такой-то...
Когда, с ноги стянув сапог,
Солдат — дурак и недородок —
Себе сбрил пулей подбородок,
И мы скребли его с досок.
Когда мы в карцере сидели
И ногти ели, песни пели
И еле-еле не сгорели.
Был карцер выстроен из ели
И так горел, что доски пели!
А раскаленные метели
Метлюю закрутили воздух,
И ели еле-еле-еле
Не улетели с нами в звезды!
Когда ж всё это с нами было?
В каком году, какой весной?
Когда с тобой происходило
Всё происшедшее со мною?
Когда бежал с работы Войтов?
Когда расстрелян был такой-то?
Когда солдат, стянув сапог,
Мозгами ляпнул в потолок?
Когда мы в карцере сидели,
Когда поджечь его сумели?
Когда? Когда? Когда? Когда?
О, бесконечные года!
Почтовый ящик — без вестей,
Что с каждым утром всё пустей.

О, время, скрученное в жгут.
Рассказ мой возникает тут...
Мы все лежали у стены —
Бойцы неведомой войны,
И были ружья всей страны
На нас тогда наведены.
Обратно реки не текут,
Два раза люди не живут,
Но суд бывает сотни раз.
Про этот справедливый суд
И начинаю я сейчас.
Печален будет мой рассказ.
Два раза люди не живут...

* * *

Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых наостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
“Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком...”
— Домбровский, — говорят, — ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!
— Не слышу, — говорю, — пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы.
“Так не отдашь топор мне?” — “Не отдашь!”
— “Ну сам возьму!” — “Возьми!” — “Возьму!..”
— “Попробуй!”
Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И — поминайте как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
“Один дошел, теперь прошу второго!”
И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.

Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рёв конвоя:
“Ложись!” — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее сквозное
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!

Убийце дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай природу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе еще?

Так две недели протекли — и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — всё ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,
Берет он браунинг.

Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.

Ему умом еще не всё обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла.
“Стреляй! Стреляй!” В кого ж теперь стрелять?
“Из горла кровь!” Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто недожили, недопели?
В тайге ходили, черный камень ели,
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!
И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.

1949.

* * *

Генерал с подполковником вместе
Словно куры сидят на насесте,
Взгромоздились на верхние нары
И разводят свои тары-бары,
Тары-бары, до верху амбары,
А товары — одни самовары.
Говорят о белом движенье,
И о странном его пораженьи,
О столах, о балах, о букетах,
О паркетах и туалетах.
Отягчен своей ношей костыльной,
Прохожу я дорогой могильной.
Боже правый, уж скоро полвека
На земле человек, как калека,
В освенцимах при радостных криках
Истребляешь ты самых великих.
Ты детей обрекаешь на муки,
Ты у женщин уродуешь руки...
И спокойно колымская замаять
Погребает их страшную память.
Не ропщу на тебя, но приемлю

Талый снег и кровавую землю.
Но зачем, о всевышний садовник?
Пощажен тобой глупый полковник?
В час, когда догорает эпоха,
Для чего ты прислал скомороха?
Отнимай нашу честь, наше имя,
Но не делай нас, Боже, смешными!
Не казни нас ни сказкой Кассиля,
Ни болванами из водевиля!

УТИЛЬСЫРЬЕ

Он ходит, черный, юркий муравей,
Заморыш с острыми мышинными глазами;
Пойдет на рынок, станет над возами,
Посмотрит на возы, на лошадей,
Поговорит о чем-нибудь с старухой,
Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
В нем деловой непримиримый стиль,
Не терпящий отсрочки и увертки —
И вот летят бутылки и обертки,
И тряпки, превращенные в утиль,
Вновь обретая прежнее название,
Но он велик, он горд своим призваньем:
Выслеживать, ловить их и опять
Вещами и мечтами возвращать!

А было время: в белый кабинет,
Где мой палач синел в истошном крике,
Он вдруг вошел, ничтожный и великий,
И мой палач ему прокаркал: "Нет!"
И он вразвалку подошел ко мне,
И поглядел мышинными глазами
В мои глаза, — а я был словно камень,
Но камень, накаливаемый на огне.
Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был, я плавал в мутном гуле,
Не понимая больше ни аза.
Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что добро, не помнил твердо.
"Нет, нет и нет!" Сто тысяч разных нет
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки

Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно:
— Домбровский, вам приходится писать... —
Пожал плечами: “Это бесполезно!”
Осклабился: “Писатель, вашу мать!..”

О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и нючные шофера,
Бухгалтера и короли утиля!
Линялые гадюки в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей!
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?
Ведь вот идет, и не бегут за ним
По улице собаки и ребята,
И здоровствует он цел и невредим —
Сто раз прожженный, тысячу — проклятый.
И снова дома ждет его жена —
Красавица с высокими бровями.
И вновь ее подушки душат снами,
И ни покрышки нету ей, ни дна!
А мертвые спокойно, тихо спят,
Как “Десять лет без права переписки“...
И гадину свою сжимает гад,
Равно всем омерзительный и близкий.
А мне ни мертвых не вернуть назад,
И ни живого вычеркнуть из списков!

1959

Алма-Ата, рынок.

АМНИСТИЯ

апокриф

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Еюгородица,
Непорочная Дева моя!
Она ходит по круту проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уведится
Неудобного Небу зверья —
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!
Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.
И глядят серафимы печальные,
Золотые прищулив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;
Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли
Исчезает в них скорбью великая
Умудренная сволочь земли.
И глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
Я кричу:
— Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!

Колыма, зима 1940 г.

* * *

Есть дни — они кипят, бегут,
Как водопад весной.
Есть дни, они тихи, как пруд,
Под старую сосной.

Вода в пруду тяжка, темна,
Безлюдье, сон и тишь,

Лишь желтой ряски пелена
Да сказочный камыш.

Да ядовитые цветы
Для жаб и змей растут...
Пока кипишь и рвешься ты,
Я молча жду, как пруд!

В карцере.

* * *

N.N.

Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.

Ты в этой крови не замешан,
Ни в чем проклятом ты не грешен,
Ты был настолько независим,
Что не писал "Открытых писем",
И взвесив всё в раздумье долгом
Не счел донос гражданским долгом.

Ты просто плыл по ресторанам,
Да хохмы сыпал над стаканом,
И понял всё, и всех приветил —
Лишь смерти нашей не заметил.

Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы —
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе —

за мужество и муки?!

* * *

Так мы забываем любимых,
И любим не милых губя,
Так холодно сердцу без грима,
И страшно ему без тебя.
В какой-нибудь маленькой комнате
В далеком и страшном году
Толкнет меня сердце: "А помните..."

И вновь я себя не найду.
Пойду, словно тот неприкаянный,
Тот жалкий, растрепанный тот,
Кто ходит и ищет хозяина,
Своих сумасшедших высот.
Дойду до надежды и гибели,
До тихой и мертвой тоски,
Приди ж, моя радость, и выбели
Мне кости, глаза и виски!
Всё вычислено заранее
Палатою мер и весов —
И встречи, и опоздания,
И судороги поездов.
И страшная тишь забвения,
И кротость бессмертной любви,
И это вот стихотворение,
Построенное на крови...

Публикация *Клары Домбровской-Турумовой* и *Игоря Штокмана*.



ШИФРИН ТЕАТР

Ежемесячно в московском Театре эстрады!
Следите за рекламой!

В оформлении альманаха «Конец века» использованы иллюстрации художника И. А. ШЕЙНА к повести Владимира МАКАНИНА «Лаз».

Технические редакторы Григорьева О. И., Карпова М. Д.
Корректоры Гальперина Н. Б., Звездочетова Н. В., Красильникова С. В.
Техническое обеспечение Маркелов Ю. О., Ножнова Н. Ф.

Подписано к печати 31.10.91. Формат 84×108¹/₃₂. Офсетная печать.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 17,64. Тираж 30 000 экз. Зак. 638.
Издано СП ИВО-Сид.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
«Белорусский Дом печати». 220041. Минск, Ленинский проспект, 79.

К читателям!

В приложении к альманаху “Конец века“ в 1991—1992 годах предполагается выпустить следующие книги и брошюры:

- “Таинственные моменты в жизни русских государей“,
- “Лаз“ Владимира МАКАНИНА,
- “Это я — Эдичка“ Эдуарда ЛИМОНОВА,
- “Москва—ОГПУ—Париж“ Леонида МЛЕЧИНА,
- “Рабинович и Иванов, или Ай гоу ту Хайфа!“ Владимира КУНИНА, автора сценария к нашумевшей “Интердевочке“,
- “Повести и рассказы“ Анатолия ГЛАДИЛИНА,
- “Антисоветский Советский Союз“ Владимира ВОЙНОВИЧА,
- “Жизнь и воззрения супершпиона КГБ“ Филиппа НАЙТЛИ о советском разведчике Киме Филби, Зарубежная фантастика,
- “В поисках жанра“ Василия АКСЕНОВА,
- “В доме на набережной“ Киры АЛЛИЛУЕВОЙ,
- “Аквариум“ Виктора СУВОРОВА,

и многое другое!

Пока идет подписка на 6 номеров альманаха “Конец века“, просим наших читателей не посылать заявки на книги, чтобы не перегружать почтовое отделение, чьими услугами мы пользуемся.

Заявки на книжные приложения мы примем от подписчиков с октября 1991 года, о чем все они будут уведомлены или в одном из ближайших номеров альманаха или именным бланком, дающим право на приобретение книг со скидкой, предусмотренной для тех, кто читает альманах “Конец века“!

Редакция благодарит подписчиков за добрые отзывы об альманахе, а также приносит извинения отдельным читателям за накладку, которые пока, к сожалению, случаются в нашей работе!

Редакция альманаха “КОНЕЦ ВЕКА“.

*Впервые
в истории советско-мексиканских
культурных отношений!*

СП ИВО-СиД совместно с редакцией независимого литературного альманаха "Конец века" организует гастроль в СССР известного мексиканского дирижера

ЭНРИКЕ БАРРИОСА

Его дебют состоялся в 1987 году. С 1990 года он — главный дирижер мексиканского Театра изящных искусств. Обучался в Национальной музыкальной школе, в школе "Жизнь и Движение". Учился в Мадриде, Париже и Гарварде. По окончании Школы дирижеров Пьерре Монтеукса вошел в список "выдающихся дирижеров".

По приглашению Совета культуры Великобритании выступал в известном Ковент Гардене.

"Лучший из молодых мексиканских дирижеров" — так аттестует его пресса Мексики. В справедливости этих слов смогут убедиться любители оперной музыки Москвы и Ленинграда в начале 1992 года, когда состоится гастроль Мастера.

